

Протопресвитер Александр Шмеман

ДНЕВНИКИ

1973-1983

Оглавление

Предисловие.....	2
Тетрадь I (январь 1973 – ноябрь 1974)	3
Тетрадь II (ноябрь 1974 – август 1975).....	94
Тетрадь III (август 1975 – май 1976).....	151

Предисловие

После кончины протопресвитера Александра Шмемана в столе его кабинета в Свято-Владимирской семинарии, где он был деканом, были найдены восемь тетрадок, исписанных его рукой. Этот дневник отец Александр вел с 1973 года с небольшими перерывами вплоть до начала последней болезни. Писал он по-русски, на языке, который был ему родным с детства, проведенного в "русском" Париже.

Дневник отца Александра – нечто гораздо большее, чем простая регистрация событий последних десяти лет его жизни. Он отражает всю его жизнь (кадетский корпус в Версале, французский лицей в Париже, Свято-Сергиевский богословский институт, переезд в Америку, Свято-Владимирская семинария в Крествуде, церковная деятельность...), его интересы (при огромной занятости он поразительно много и широко читал, выписывая в дневник целые абзацы из особенно заинтересовавших его книг), "несет" его мысли, сомнения, разочарования, радости, надежды. Всякий дневник, особенно такой последовательный, как у отца Александра, вызван не внешними побуждениями, а внутренней необходимостью. Перед нами – часто сугубо личные, сокровенные записи. Декан Свято-Владимирской семинарии, под его руководством превратившейся в одну из наиболее крупных богословских школ православного мира, почти бессменный секретарь Совета епископов Американской Митрополии (ставшей, опять же под его воздействием, в сотрудничестве с отцом Иоанном Мейендорфом, автокефальной Православной Церковью в Америке), проповедник и богослов, отец троих детей с многочисленными внуками, отец Александр к тому же находился в беспрестанных разъездах для чтения проповедей и лекций, еженедельно вел ряд программ на радио "Свобода" для России. Трудно себе представить более наполненную жизнь, и дневник в первую очередь был для него возможностью оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой. Сам отец Александр так написал об этом: "Touch base (соприкоснуться с самим собой, – англ.) – вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя, "визит", хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете". И еще: "...записать хочется не для "рассказа", а как всегда, – для души, то есть только то, что она, душа, ощутила, как дар, и что годно, следовательно, для "тела духовного".

Дневник отца Александра неизменно поражает широтой своего охвата. Им увлечется и ценитель литературы, и любитель политики, встретив тонкость суждений на самые разные темы, но прежде всего поражает глубина религиозного осмысления жизни. Все повседневные, частные явления, все многочисленные впечатления и оценки возведены к главному, к тому высшему смыслу, который вложен в замысел Божий о творении. И над всеми противоборствами и огорчениями, над всей критикой и обличениями основная тональность дневника – радость о Господе и благодарность Ему.

В дневнике упоминаются очень многие люди – это и учителя в кадетском корпусе, и профессора Свято-Сергиевского института, его друзья и наставники, коллеги по Свято-Владимирской семинарии, студенты, знакомые, представители всех "трех эмиграции" – круг общения отца Александра был чрезвычайно широк. Ему были интересны все люди. Он следил за событиями в России, радовался начинающемуся там духовному возрождению, которому и сам способствовал – регулярными передачами на радио "Свобода" и, конечно, своими книгами. Свою последнюю книгу, "Евхаристия. Таинство Царства", он сразу писал по-русски как дань земле, которую никогда не видел, но всегда считал своей. И, конечно, дневник позволяет увидеть глазами отца Александра его близких – жену Ульяну Сергеевну (в дневнике он так написал о ней: "В субботу – Льяне пятьдесят лет! Целая жизнь, и какая счастливая жизнь, вместе!"), дочерей Анну, Марию и сына Сергея (опять приведем его слова: "Каких удивительных, хороших детей дал мне Бог") и их семьи, брата Андрея и многих других.

Диагноз смертельной болезни был поставлен отцу Александру в сентябре 1982 года. В течение нескольких месяцев в дневнике не появлялось новых записей, и только 1 июня 1983 года отец Александр последний раз открыл свой дневник. Он написал о той "высоте", на которую подняла его болезнь, о любви и заботе близких и закончил дневник словами: "Какое все это было счастье!" Шесть месяцев спустя, 13 декабря 1983 года, окруженный близкими, отец Александр умер у себя дома в Крествуде. Последние слова, которые он ясно произнес, были: "Аминь, аминь, аминь".

Сергей Шмеман

ДНЕВНИКИ 1973-1983

Тетрадь I (январь 1973 – ноябрь 1974)

Понедельник, 29 января 1973

Вчера в поезде думал: пятьдесят второй год, больше четверти века священства и богословия – но что все это значит? Или – как соединить, как самому себе объяснить, к чему все это сводится, clair et distinct, и возможно ли и нужно ли такое объяснение? Двадцать пять лет назад, когда эта, теперь уж меня определившая жизнь (посвящение, богословие) начиналась, все казалось, что не сегодня-завтра сяду, подумаю и выясню, что это только вопрос досуга. Но вот – двадцать пять лет! И, вне всякого сомнения, большая часть жизни – за спиной, а неясного – на глубине – гораздо больше, чем ясного.

Что нужно, собственно, объяснить? Соединение, всегда меня самого удивляющее, какой-то глубочайшей очевидности той реальности, без которой я не мог бы дня прожить, со всем растущим отвращением к этим безостановочным разговорам и спорам о религии, к этим легким убеждениям, к этой благочестивой эмоциональности и уж, конечно, к "церковности" в смысле всех маленьких, ничтожных интересов... Реальность: еще вчера ее ощутил – идя в церковь к обедне, рано утром, в пустыне зимних деревьев, и затем этот час в пустой церкви, до обедни. Всегда то же ощущение: времени, наполненного вечностью, полноты, тайной радости. Мысль, что Церковь только для того и нужна во всей своей "эмпирии", чтоб этот опыт был, жил. Так, где она перестает быть символом, таинством, она ужас, карикатура.

Пятница, 16 февраля 1973

Искал тетрадку в своем столе. Нашел почти новую – и в ней одна запись, сделанная 1 ноября 1971 года. Почти смешно, до чего сходно с той, что предшествует этой: "религия" – худшее и лучшее в человеке. Не только лучшее, а тоже и худшее. Читал Journal Litteraire Leautaud¹ – странное влечение к такого рода книгам. Может быть, потому, что это как зеркало для верующих: вот какими нас видят правдивые люди. Фальшь, ужасающая фальшь "религиозности". Безрадостность. Бездарная "серьезность". Неужели это возможно, если верить в Бога – в вечное и главное tout est ailleurs² (Julien Green)? Почти невозможность дальше выносить "академическое изучение духовности". Сколько ненужного, пустого, фарисейского.

Все утро дома, за столом! После недели в Калифорнии, после торжеств в Wilkes Barre (хиротония еп. Германа), после поездки в Филадельфию (похороны И.М. Цапа) – какое беспримесное счастье! В столовой Том³, с которым мне всегда светло и хорошо. Снег за окном.

Суббота, 17 февраля 1973

Вчера длинный вечер у Сережи с Иосифом Бродским. Сначала скучнейший прием у R.Рауне. Снобизм. [Сумбурная компания]. Какие-то таинственные девицы в штанах. Для чего им Бродский? Дома – очень простой и милый. По словам Сережи, в Pen-Club, днем, после чтения им его стихов, на вопрос какого-то еврея, почему он христианин, Бродский: "Потому что я не варвар..." Страшно нервный. Впечатление такое, что потерял, не знает, как себя вести. Возвращение домой ночью, страшным морозом, по снегу, со станции.

Сегодня все утро – блаженно! – в кровати за "Чевенгуром" А.Платонова. Удивительная книга!

¹ "Литературный дневник" Леото (фр.)

² Все – там, все – иное (фр.).

³ Прот. Фома Хопко, муж старшей дочери Ани

Воскресенье, 18 февраля 1973

Литургия в East Meadow. Радостное чувство, что американское православие, за которое пришлось столько вытерпеть хулы, – реальность, в тысячу раз больше реальность, чем дешевая псевдодуховность всевозможных [духовных центров]. Но, увы, люди любят дешевку, лишь бы она была прикрыта бородами, крестами и привычными словесами.

Вчера вечером кончил "Чевенгур". Читал, и все в уме сверлила ахматовская строчка: "еще на западе земное солнце светит..."⁴. А тут – погружение в мир, весь сотканный, в сущности, из какой-то бездонной глубины невежества, беспамятства, одержимости неперевавшими мифами. Как будто никогда не было ничего в России кроме дикого поля и бурьяна. Ни истории, ни христианства, никакого логоса. И показано, явлено это потрясающе. И еще приходит в голову: "если свет, который в вас, – тьма..."⁵. Все происходит в какой-то зачарованности, душевном оцепенении, каждый ухватывается за какую-то соломинку... Удивительный ритм, удивительный язык, удивительная книга.

Понедельник, 19 февраля 1973

Вчера длинный вечер у Виктора Кабачника с "новыми" – Юрием Штейном и его женой Вероникой (Туркиной), двоюродной сестрой первой жены Солженицына. Длинный разговор – о Солженицыне, о России, об о. В. Шпиллере (которого они считают попавшимся...) и т.д. Конечно, мы отвыкли от этой раскаленности. Но чувствуется в ней и какая-то растерянность. Одержимость политикой. Трудно найти не то что общий язык, но внутреннее общение – или это, может быть, специально мне. Несколько раз тяжкая мысль – побушуете, побушуете и тоже "успокоитесь". Несчастная судьба эмигрантов: приезжать "открывать глаза" людям, которые смотрят в другую сторону. Еще более горькая: встречаться с предшествующим слоем эмиграции, уже "успокоившейся" и перешедшей к внутренним склокам (легче!). Создание комитетов, таинственные звонки в Лондон и Москву. Вечный путь русской интеллигенции – путь возбужденного отрыва. И, вместе с тем, единственное приемлемое в России. Бродского облепляет чернь – академическая. Эти сами стремятся к "черни" политической, не разбираясь, что это "чернь". В конечном же итоге, мне думается, влияет на историю только одно: говорить свое, без оборота на кого бы то ни было, без расчета. "Сказавших правду в скорбном мире..." Этим мне дорог Солженицын: когда думаю о нем, делается как-то светло и тепло. На мой вопрос Вероника Штейн подтверждает – человек невероятной и упрямой силы... И еще: никогда не бояться, что "история" пройдет мимо, не волноваться, как бы не пропустить ее.

Вероника Штейн рассказывает о семейной драме Солженицына. Она на стороне Солженицына. Эксплуатация всего этого – против Солженицына. Печальное участие в этой эксплуатации о.В.Шпиллера. От его письма Лоуренсу несет удручающей духовной гордыней. Ни на чем в мире так легко играть, как на "религиозности". И сколько людей, что неочищенная, непросветленная религиозность и есть средоточие демонического в мире (доказательство – "Чевенгур", насквозь пронизанный страшной, темной религиозностью).

Вторник, 20 февраля 1973

Узнал сегодня о скоропостижной смерти в Los Angeles (во время юбилейного банкета прихода, при произнесении речи) Иллариона Воронцова. Всего лишь две недели тому назад (7 февраля!) завтракал у него в L.A.! Пятьдесят три года... Он был одним из счастливых, даже пронзительных воспоминаний моего детства: лагерь [на юге Франции] в Naroule, 33-й или 34-й год, наша дружба,

⁴ Из стихотворения "Чем хуже этот век предшествующих? Разве...".

⁵ Ср. Мф.6:23

безоблачное солнце тех лет, юга, моря. Потом, много лет спустя, встреча в Калифорнии. Его удивительная красота, красота всего облика, тихость, любовь к поэзии, одинаковое (для меня) восприятие Церкви, какая-то его вечная неудовлетворенность земным, однако без всякой показной религиозности, без всякой тяги к псевдодуховности. Несколько встреч за эти годы. Две недели назад – его рассказ об Афоне, куда он ездил только что. И опять – без громких фраз, даже с юмором, но все понял, почувствовал, увидел. Его жена: "Он садится в ванну и громко читает стихи". Чувство потери: почти не виделись, не встречались, но каждая встреча была беспримесной радостью. Только что звонил Серафим Гизетти. Говорит, что его речь (15 минут, потом он упал...) была замечательной.

Четверг, 22 февраля 1973

Исповедь. Наставляешь другого: надо начинать с малого, строить, собирать себя, освобождаться. А сам?

Страшная трудность для меня личных разговоров. Почти отталкивание от всяческой "интимности". Мучительная нелюбовь исповедовать. О чем в христианстве можно столько "разговаривать"? И для чего?

Пятница, 23 февраля 1973

Вчера вечером – от усталости, несколько глав Alan Watts, In My Own Way (автобиография, Ваня Ткачук подарил мне ее на Рождество). Меня никогда нисколько не интересовали восточные религии, Зен и т.д. В Watts'e меня интересует только тот факт, что он был священником и ушел ради этого, всегда мне казавшегося неглубоким ориентализма. Поэтому прочитал только те главы, что относятся к его пятилетнему англиканскому священству. Сам Watts представляется мне очень поверхностным мыслителем. Эти ссылки на свой "мистический опыт..."! Но кое-что в его критике христианства заслуживает внимания. О молитве: "...поняли слова св. Павла "непрестанно молитесь" как обращенную к Иисусу бесконечную болтовню, главным образом о своих ужасных грехах" (с.180). "Вера в прощение грехов, кажется, усиливает, а не смягчает чувство вины, и чем больше эти люди каялись и исповедовались, тем сильнее они ощущали неловкость в постоянном обращении к Иисусу за Его прощением. Им очень неудобно и стыдно так опираться на достоинства христианства, какими бесконечными бы они ни были, и они представляли себя хорошими детьми в мире, окруженном отеческой заботой..." (с.181). Хороший ответ на его синкретизм от одного из его друзей: "Есть много религий, но только одно Евангелие..." Watts хороший пример тому, как христианство, растворенное в "религии" и "мистике", теряет свою единственность, свой смысл и силу как суда над религией.

Суббота, 24 февраля 1973

Вчера разговор с Томом [Хопко] о В. Сошлись, что источник его вопиющих недостатков, то есть недостатков его богословия, – в гордыне. Вся "грехология" сводится, в сущности, к двум источникам: плоть и гордыня. Но гордыня гораздо страшнее (она погубила ведь и бесплотные силы). Христиане сосредоточили свое внимание, свою религиозную страсть на плоти, но так легко поддаться гордыне. Духовная гордыня (истина, духовность, максимализм) - самая страшная из всех. Трудность же борьбы с гордыней в том, что, в отличие от плоти, она принимает бесконечное множество образов, и легче всего образ "ангела света". И еще потому, что в смирении видят плод знания человеком своих недостатков и недостойности, тогда как оно самое божественное из всех Божиих свойств. Мы делаемся смиренными не потому, что созерцаем себя (это всегда ведет к гордыне, в той или иной форме, ибо лжесмирение всего лишь вид гордыни, может быть – самый непоправимый из всех), а только если созерцаем Бога и Его смирение.

Понедельник, 26 февраля 1973

Малая и бессмысленная ложь. В субботу вечером М.М. (беденькая, чуть-чуть свихнувшаяся американка, приезжающая ко мне каждые две недели "беседовать" и исповедоваться) уличила меня в такой лжи. На ее вопрос, успел ли я прочитать ее письмо (а в промежутках между посещениями она пишет нескончаемые письма...), я ответил – почему? сам не знаю: "Только наспех и поверхностно..." Через минуту она нашла это письмо на моем столе – случайно! – нераспечатанным. Записываю, потому что сам не могу себе объяснить, зачем я это сказал. Ни малейшей нужды, никакой причины. Какая-то странная боязнь "отрезать", боязнь правды в малом, тогда как в "большом", мне кажется, я не лгу и даже ненавижу всякую ложь. Однако сказано: "в малом был еси верен..."⁶.

Вторник, 27 февраля 1973

Вчера днем в Trinity Church⁷ на Wall Street⁸ о молитве. И сразу же заявление вроде: "А не важнее ли кормить голодных..." Надоевшая американская дешевая жвачка и скука.

Удовольствие попасть в этот удивительный квартал с его суетой, шумом, толпой.

Сегодня утром пакет из Финляндии – финский перевод моего "Великого Поста".

Суббота, 3 марта 1973

Все эти дни давление бесконечного количества малых дел и забот: дело Эванса, дела студентов, звонки из церковной канцелярии, поездка в Тихоновский монастырь к арх. Киприану и т.д., и т.д., и т.д. Душа устает и высыхает от всей этой действительно суеты. Один просвет: два часа поездки в South Canaan вчера, удивительным, солнечным, "предвесенним днем". Так как приехал туда заранее, то целый час ходил по "проселочным" дорогам, среди прозрачных лесов. Тающий снег, вода, солнце, тишина. Так же и обратно. Кроме того, раздробленное время, пустая голова, нервная усталость, "мир сей" в его мелочности и скуке.

Вторник, 6 марта 1973

В субботу исповедь М.Т. Мучительные раздумья: что правильно, что нет. И о том также, как любые схемы разбиваются о действительную уникальность каждой жизни. "Аз же свидетель есмь"⁹.

В воскресенье – служба в Paramus.

Вчера все утро и до четырех часов дома за статьей о литургическом семинаре. Еще раз – убеждение в ложности исключительно "академического" богословия. Голос вопиющего в пустыне.

Ужин у Андерсонов. Диктовка Анне¹⁰ (молитвы в первый, восьмой и сороковой день). Разговор с В., который, как всегда, обезоруживает меня своей логикой, хотя логика эта способна доказать всегда лишь часть настоящей правды, и даже и ее извратить. Ужас логики, ужасавшей Шестова. Ее жизненное бесплодие. Разумный и логичный человек вряд ли способен к раскаянию. Он способен лишь к анализу.

Трагедия в Хартуме (убийство террористами дипломатов). Ненависть ко всем идеологиям.

⁶ Мф.25:21

⁷ Церковь св. Троицы (англ.)

⁸ Уолл-стрит, финансовый район города Нью-Йорка

⁹ Слова священника в молитве перед исповедью

¹⁰ Секретарша о. Александра

Отсюда, наверняка, моя постыдная симпатия к Leautaud, commissaire Maigret¹¹ и... Талейрану. Безвыходный тупик человеческих "убеждений". И подумать только, что они и веру считают "убеждениями", направленными на "ценности". Вред богословия: сведение веры к идейкам и убеждениям, да еще научно (дюжиной немцев) "обоснованным"... (Это тоже думал, слушая в субботу лекцию L. Bouyer об "Apostolic Ministry". Если эта последняя доказывается так, то грош ей цена...)

Только что разговор по телефону с N. Как легко люди падают духом, унывают! И как все тогда кажется безнадежным. Божественная сила терпения. Больше всего для борьбы с дьяволом нужно терпение, а его-то меньше всего в человеке, особенно молодом. Главная опасность молодости – нетерпение. Почему Бог терпит? Потому что Он знает и любит.

Пятница, 9 марта 1973

Письмо от Никиты Струве с замечательной, по-моему, оценкой Платонова: "...Платонов, бесспорно, замечательный писатель, владеющий каким-то доселе неслыханным языком, но, на мой взгляд, писатель не гениальный, потому что "с сумасшедшинкой" и болезненным восприятием мира. Есть в нем и какая-то недосказанность: все в его мироощущении предполагает веру, а была ли у него вера в Бога – неясно. Он не верил в смерть, но тем самым снимал как бы с человеческой судьбы ее трагичность. По правде сказать, я "Чевенгур" недопонимаю. Чевенгурцы какие-то дети природы, обманутые революцией, но остальные все – от кузнеца до убитых буржуев – чем они жили?.. В чисто литературном плане Платонов совершенно лишен дара построения.

"Чевенгур" его единственная большая вещь, и какая-то непостроенная, недоделанная. Я признаю гений его языка, остроумие его сатиры, но чтение его меня не просветляет, от него становится на душе шемяще-неуютно. Это какой-то Достоевский без веры, из видения Версилова – расслабленно доброе, но безвольное человечество. Солженицын с его волевым упором, с его силой и здоровьем куда выше и, главное, куда нужнее..."

Вчера, в поезде и дома, чтение французских еженедельников (L'Express, Le Point). Хотя и совсем другое, но тоже болезненное восприятие мира. Кривляние, псевдоглубина, вошедшие в кровь. Подспудная ненависть к здоровью, к ясности, к смыслу. Удручающее уныние всего этого...

В среду вечером – "малый синод" в Syosset . Затем – встреча с группой из Sea Cliff. Разговоры, рассказы о борьбе с Белосельским, об участии Граббе и его клики в этом и т.д. Страшное гниение русской эмиграции... А подумать только, что люди этим всем буквально живут, в этом видят "деятельность", "борьбу" и "верность Церкви". "Так вот в какой постыдной луже..."¹² .

Трагическое известие о нервном расстройстве в Лос-Анжелесе о. N.N. Значит, признаки, поразившие меня три недели тому назад, были реальными. Боюсь, что причина все та же: "с головой ушел в свою деятельность". А вот этого-то и не нужно. Полная невозможность в какой-то момент увидеть все в перспективе, отрешиться, не дать суете и мелочности съесть душу. И в сущности все та же гордыня (не гордость): все зависит от меня, все отнесено ко мне. Тогда "я" заполняет собой реальность, и начинается распад. Страшная ошибка современного человека: отождествление жизни с действием, мыслью и т.д. и уже почти полная неспособность жить, то есть ощущать, воспринимать, "жить" жизнь как безостановочный дар. Идти на вокзал под мелким, уже весенним дождем, видеть, ощущать, осознавать передвижение солнечного луча по стене – это не только "тоже" событие, это и есть сама реальность жизни. Не условие для действия и для мысли, не их безразличный фон, а то, в

¹¹ Комиссар Мегре, герой романов Жоржа Сименона

¹² Строка из стихотворения В.Ходасевича "Звезды".

сущности, ради чего (чтобы оно было, ощущалось, "жилось") и стоит действовать и мыслить. И это так потому, что только в этом дает нам Себя ощутить и Бог, а не в действии и не в мысли. И вот почему прав Julien Green: "Tout est ailleurs", "Il n'ya de vrai que le balancement des branches mis dans le ciel"¹³ и т.д. То же самое и в общении. Оно не в разговорах, обсуждениях. Чем глубже общение и радость от него, тем меньше зависит оно от слов. Наоборот, тогда почти боишься слов, они нарушат общение, прекратят радость. Это я с особой силой почувствовал в тот новогодний, декабрьский вечер, когда в Париже сидел в мансарде Адамовича. Все говорят, что он предпочитал говорить о пустяках. Верно, Но не потому, что не о чем было говорить, а потому, что таким явным было именно общение. Отсюда моя нелюбовь к "глубоким" и, в особенности, "духовным" беседам. Разговаривал ли Христос со Своими двенадцатью, иля по гагилейским дорогам? Разрешал ли их "проблемы" и "трудности"? Между тем все христианство есть, в последнем счете, продолжение этого общения, его реальность, радость и действенность. "Добро нам зде быти" (Мф.17:4.). Вот таким "добро" был и тот вечер с Адамовичем, да и все, что по-настоящему запомнилось, осталось от жизни как "добро" и радость: ужины и вечера вдвоем у Вейдле в Париже, еще раньше корпусные дружбы. Своеобразная "уникальность", например, Репнина в моей жизни. Нам решительно не о чем разговаривать, и мне всегда так хорошо с ним, хотя вне этих почти мимолетных встреч в Париже, раз в год, я почти не вспоминаю о нем. Брат Андрей: мы трех "серьезных" слов не сказали друг другу за последние двадцать лет, но встречи и общение с ним одна из главных, реальнейших радостей моей (и, я знаю, его) жизни. беспорное, очевидное "добро". И наоборот, там, где в центре как содержание общения – действия, события и мысль, там не выходит и общения. А вот с К.Ф. выходит! Действительно, "il n'ya de vrai...". Слова же должны вынашиваться не в разговорах (где они так часто – чеки без покрытия), а на глубине, вот в этом самом опыте tout est ailleurs, как, в сущности, свидетельство о нем. Тогда они звучат, сами становятся даром, таинством.

Итак, если вспомнить, то оказывается, что наибольшая сила и радость общения были в моей жизни от тех, кто "умственно" меньше всего значил для меня: Репнин, о. Савва Шимкевич (в корпусе, 1933-1935 гг.), о. Киприан.

Сегодня в New York Times статья Натальи Решетовской, первой жены Солженицына – в ответ на недавнюю защиту Солженицына там же Жоресом Медведевым. Статья гнусная, злая, полная интуиции и к тому же несносно "бабья". Эта атака, увы, лишнее подтверждение "инспирированности" письма Шпиллера.

Удивительный, совершенно весенний день! Почти жарко. Весь день дома за столом. Счастье.

Суббота, 10 марта 1973

Вчера – длинная пастырская беседы с женщиной в депрессии. Бросил муж. Сын ушел в hippies¹⁴. Бросил школу, живет неизвестно где. Дочь двенадцати лет тоже начинает впадать в депрессию. Все бессмысленно. Профессия (медицина) опротивела. Полная тьма. Во время разговора ощущал с самоочевидной ясностью "демонизм" депрессии. Состояние хулы. Согласие на хулу. Отсюда – смехотворность психиатрии и психоанализа. Им ли с "ним" тягаться? "Если свет, который в вас, тьма..."? (Ср.: Мф.6:23) Я сказал ей: Вы можете сделать только одно, это – отказаться от хулы, отвергнуть саму себя в этой лжи, в этой сдаче. Больше Вы не можете – но это уже начало всего.

Болезнь современных (да и не только современных) людей – одержимость. А они, а с ними заодно и священники, хотят лечить ее психиатрической болтовней.

¹³ Жюльен Грин: "Все там, все иное", "Правда только в качании веток на фоне неба" (фр.).

¹⁴ хиппи (англ.)

Воскресенье, 11 марта 1973. Прощеное

У Л. уже несколько недель болело плечо и под рукой. Вчера утром д-р Стивенс сказал ей, что нужно немедленно резать, чтобы "узнать"... Какой глубокой, торжественной становится сразу же жизнь при таком известии. Весь день словно тихое "присутствие". Завтра у Л. свидание с хирургом.

Понедельник, 12 марта 1973. "Чистый"

"И покры ны тьма..."¹⁵ Два дня этого "присутствия" в доме. Почти об этом не разговаривали. Но, нет-нет, при взгляде, при том или ином слове – прорывалось.

Боже мой, какую болезненную чувствуешь тогда жалость и нежность. Как все становится прозрачным, хрупким, обреченным. Этих двух дней не забыть. Сегодня звонок из Нью-Йорка от Л.: ее доктор категорически утверждает, что все в абсолютном порядке!

Прощеная вечерня – очень хорошая, очень подлинная. Почему все-таки не удается всегда жить на этой высоте? Сегодня длинная-длинная утренняя. Один в пустом алтаре, все время ощущая все – и "присутствие" (это еще до радостного телефона), и "светлую печаль" Поста, и весь тот вздох, о котором – Пост.

И уже врывается суета: звонки, гора неотвеченных писем, даже заседание. Как при всем этом хранить, созидать внутреннюю, светлую тишину?

Среда, 14 марта 1973

Мучительная раздробленность времени, даже, вот, в эти дни Великого Поста. Выходишь из церкви – заседание. "Когда можно вас повидать..." Хорошо только дома, только одному. Мучительность всех контактов – и чем дальше, тем больше. Невыразимость, непередаваемость главного. Как я устал от своей профессии или, может быть, от того, как она стала пониматься и восприниматься. Такое постоянное чувство фальши, чувство, что играешь какую-то роль. И невозможность выйти из этой роли.

Изумительные, весенние дни. И как только остаюсь один – как вчера, в Harlem, опоздав на поезд, – счастье, полнота, радость.

Пятница, 16 марта 1973

Вчера несколько часов с Г.Б.Удинцевым. Ученый-океанограф, работает в одном из институтов Академии Наук СССР. Здесь в научной командировке, на восемь месяцев. Устроил свидание со мной через Helen Fisher (моя бывшая студентка в Колумбии). "Хотел Вас повидать, потому что еще в Москве прочитал Вашу "Зрячую любовь" (о Солженицыне). Она много там ходила по рукам. Абсолютно согласен..." Необыкновенно милый, сердечный – вот уж именно тот "русский человек", который нам все больше и больше кажется мифическим. Поклонник Солженицына и Сахарова. Из интеллигентной семьи. Спрашиваю его о Церкви. "Засорена, засорена, но... что же, хотя бы так..." Поразительный рост баптизма. О русских националистах: "есть ничего – Солоухин, но есть и зловещее..." Все хочет прочесть до отъезда.

Первая неделя Поста прошла сумбурно. Вчера тревожные звонки с Аляски, от о.Д.Г. и т.д. Статьи об англиканстве, о приходе. Горы неотвеченных писем. От всего этого на душе беспокойно и именно "засорено"...

¹⁵ Пс.54:6: "Страх и трепет прииде на мя, и покры мя тьма"

Понедельник, 19 марта 1973

На заседании Митрополичьего совета в Gramercy Park Hotel, слушал скучнейший дебат о пенсионном фонде. Мучение от уровня всей этой "церковной жизни".

Четверг, 22 марта 1973

Три мучительных, напряженно-суетных, тяжелых дня: Митрополичий совет и архиерейский синод. Описывать всего этого нет сил и охоты. Вечное и страстное желание уйти, отстраниться, не [участвовать] – и объективная невозможность это сделать. Безвыходность этого положения: быть *eminence grise*¹⁶, чтобы по возможности *limiter les degats*¹⁷, и *ipso facto*¹⁸ оказываться все время на том самом уровне, от [нелюбви] к которому во всем этом участвуешь...

Вчера и сегодня у нас маленький Саша Шмеман¹⁹. "Зато слова – ребенок, зверь, цветок..."²⁰.

Там, где нет "печали о Боге", нет тишины, памяти о тайном свете, таинственного "вкуса" радости. – там нет Бога, сколько бы ни было "церковности". Откуда этот страшный нервоз у прицерковных людей, этот пароксизм, эта одержимость?

Понедельник, 26 марта 1973

Еще несколько дней суеты. Вашингтон: лекция, обсуждения. Вчера после Литургии – лекция в Whitestone. Предельная усталость, "выжатость" сознания.

Думал сегодня о мучительно низком уровне церковной жизни, о травле Бродского в русской газете, о фанатизме, нетерпимости, действительном "рабстве" столько людей. На нас надвигается новое средневековье, но не в том смысле, в каком употреблял это понятие Бердяев, а в смысле нового варварства. Православные "церковники", в сущности, выбрали и, что еще хуже, возлюбили - Ферапонта²¹. Он им по душе, с ним все ясно. Главное, ясно то, что все, что выше, непонятнее, сложнее, – все это соблазн, все это нужно сокрушать. В культуре начинается торжество "русинов" – нео-нео-славянофилов. Расцвет упрощенства, антисемитизма. Давно пора понять, что на свете существует очень сильное, очень могучее явление: религия без Бога, религия как средоточие всех идолов, владеющих падшим человеческим "нутром", как оправдание этих идолов. Тут глубочайший соблазн. Ферапонт – действительно аскет, молитвенник, подвижник, традиционалист и т.д. И расхождение между Ферапонтом эмигрантским и Ферапонтом советским – чистая историческая случайность. Большевик уже и сейчас – национальная русская власть, как суть эмигрантского национализма и антикоммунизма – большевистская. И у того, и у другого большевизма только один враг – свободный человек, особенно же свободный "во Христе", то есть единственно подлинно свободный. Подспудная ненависть ко Христу, судящему вечно "Церковь" и "великого инквизитора" в ней.

Отсюда вечный вопрос – что делать? Оставаясь, как теперь говорят, "в системе", волей-неволей принимаешь ее и ее методы. "Уходя" – вставая в позу "пророка" и "обличителя", – скользишь в гордыню. Мучение от этой вечной разорванности.

¹⁶ серым кардиналом (фр.)

¹⁷ уменьшить ущерб (фр.)

¹⁸ в силу самого факта (лат.)

¹⁹ Внук, сын Сергея Шмемана

²⁰ Из стихотворения В.Ходасевича "Стансы". Правильно: "Зато слова: цветок, ребенок, зверь..."

²¹ Ферапонт – темный монах из романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы"

Пятница, 30 марта 1973

Только когда записываешь, понимаешь, сколько в нашей жизни действительно пустого времени, сколько суеты, не заслуживающей никакого внимания, сколько неважного, съдающего, однако, не только время, но и душу. Все эти дни по вечерам – от усталости, может быть, или от внутреннего отвращения к тому, что нужно делать, от невозможности сесть за письменный стол – пассивное сидение у телевизии. Чувство: "La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres"²²...

А вместе с тем, читая лекции, утром, вдохновляешься все так же. Всегда чувство – что все главное мне открылось при чтении лекций. Точно кто-то другой их читает – мне! Так, во вторник – о "полиелее" (!), в среду – о "космизме" почитания Божией Матери, вчера, в четверг, – об исповеди и покаянии. И запись – книги, статьи – никогда не удерживает всего того, что открывается, когда говоришь. Примат, онтологмический, – благовестия – в христианстве. Христос не писал. И все, что записано, – Библия и т.д. – запись "опыта". И не индивидуального, а сверхиндивидуального, именно космического, церковного, "эсхатологического". Ошибка тех, кто думает, что образование – это в плане идей. Нет, это всегда передача опыта. Трагедия, пустота и банальность академизма, игра в примечания... Люди убеждаются не доводами. Они "загораются" или нет...

Вчера по телевизии страшные рассказы американских пленников о пытках во Вьетнаме. Человечность этих рассказов. Все эти люди еще отмеченные, еще озаренные христианством. Христианство разрушает не буржуазия, не капитализм и не армия, а интеллигентская гниль, основанная на беспредельной вере в собственную важность. Ж.-П.Сартр и Ко – плохенькие "иконы" дьявола, его пошлости, его суетливой заботы о том, чтобы Адам в раю не забывал о своих "правах". Там, где говорят о правах, нет Бога. Суета "профессоришек"!.. И пока они суетятся, негодяи, по слову Розанова, овладевают миром.

Понедельник, 2 апреля 1973

Чудовищная занятость. В пятницу – детское говение, а потом лекция в сирийском приходе в Bergenfield. Вчера – в Watervliet. Завтра – в Buffalo. В среду – Toronto. В пятницу – Philadelphia... И минуты рая: вчера за Литургией в Wappingers Falls, затем – когда ехали с Томом под проливным дождем в Watervliet по той самой [дороге] Route, по которой когда-то с детьми ездили в Labelle²³. Смирненное начало весны. Дождливое воскресенье. Тишина, пустота этих маленьких городков. Радость подспудной жизни всего того, что за делами, за активизмом, того, что сам субстрат жизни. И поздно вечером снова тьма, дождь, огни, освещенные окна... Если не чувствовать этого, что могут значить слова: "Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим..."? А это суть религии, и если ее нет, то начинается страшная подмена. Кто выдумал (а мы теперь в этом живем), что религия – это разрешение проблем, это – ответы... Это всегда – переход в другое измерение и, следовательно, не разрешение, а снятие проблем. Проблемы – тоже от дьявола. Боже мой, как он набил своей пошлостью и суетой религию, и она сама стала "проблемой религии в современном мире", все слова, не имеющие ни малейшего отношения к субстрату жизни, к голым рядам яблонь под дождливым весенним небом, к страшной реальности души во всем этом.

Вторник, 3 апреля 1973

Сегодня лекция: о воскресном прокимне за всенощным бдением, о подготовке к чтению и о самом чтении Евангелия и т.д. И снова – сколько сам для себя радостно открываешь в этой попытке

²² Первая строка стихотворения С.Малларме "Плоть опечалена, и книги надоели..." (в переводе О.Мандельштама).

²³ Lac Labelle – озеро в Канаде, на котором о.Александр с семьей проводил лето в течение многих лет

непередаваемое передать другим. Боюсь – неудачно, даже в "православии" люди разучились понимать, чувствовать, сознавать, о чем богослужение, в какую реальность оно вводит, как, прежде чем что-то сообщить, передать, объяснить, оно создает то "измерение", в котором одним все это – сообщение, передача, причастие – могут совершаться. Только для того, чтобы это измерение реально явить, только для этого и существует Церковь. И без него все ее учение, строй, порядок – все это ничего не значит... Но этого-то [часто] и не чувствуют богословы, и потому у меня такое от них тяжелое "похмелье". В святая святых проникли немецкие профессоршкы и все объясняют нам, научно и с примечаниями, его "сущность", "развитие" и "проблемы", и все это, увы, гроша ломаного не стоит. А студент, посидев три года на догматике, патристике и истории Церкви, или просто все это старается поскорее забыть, или же сам становится "немецким профессоршкой" и с бесконечной важностью пишет о "мистическом опыте по Максиму Исповеднику". И игра продолжается...

Четверг, 5 апреля 1973

Вчера в Toronto, после "пассии", – лекция о "духе православного богослужения". О том, что для меня самое очевидное: о богослужении как действительно явлении Царства Божия, явлении, делающем возможным его любить, молиться о его пришествии, ощущать его как "единое на потребу". О красоте как явлению Истины и Добра, о Церкви как "locus" ²⁴ этого явления... Русские лица. Затаенное внимание. Доходит! Но, вот, извращено религиозное сознание чем-то другим, и, "видя, не видят, слыша, не разумеют..." (Мф.13:13) – это о духовенстве, об "учении".

Во время "пассии", стоя в алтаре, думал: какая огромная часть жизни, с самого детства, прошла в этом воздухе, в этом "состоянии" – точно все это один длящийся, вечно тождественный себе момент: алтарь, священник в великопостной ризе, совершающий каждение, тот же радостно-смиренно-горестный напев великопостного "Господи, помилуй". Немножко позже снова то же чувство: пели "Тебе одеющагося", неуверенно, медленно, какая-то почти девочка там усердно управляла. И снова пришло это удивительное: "Увы мне, Свете мой!.." Так вот и останется от жизни в момент смерти: единое видение неизменного алтаря, вечный жест, вечный напев. И, конечно, лучше этого ничего нет: "явление"...

В Buffalo, накануне, неожиданный рассказ о Фаддее Войчика: о женщине в его приходе, простой, трезвой, ничем не замечательной вдове с двумя детьми. Без всякой истерии, надрыва, экстаза. Как, во время богослужения, она на несколько мгновений увидела алтарь и священника светящимися ослепительным светом. И сам Войчик – такой простой, смиренный, ясный. Радость от этого рассказа.

Из Buffalo в Toronto поехал на автобусе, один, три часа. Почти все время вдоль озера – как моря. Дождь. Городки, домики. Здесь и там начинающие цвести ярко-желтые, пасхальные форситии. Смиренная человеческая жизнь, в смирении, простоте, тишине которой только и может быть "явление".

Пятница, 6 апреля 1973

[Вспыхнувший вчера скандал в семинарии ²⁵.] Сначала гнев, почти бешенство. Потом печальные раздумья: какая путаница, даже тьма в этих молодых головах, как убита в них непосредственная нравственная реакция, какой сумбур создала в мире, в душе, в культуре всевозможная "интеллигенция". Бесконечная гордыня всего этого. Гордыня и пошлость. Искусственная взволнованность псевдопроблемами, гордость псевдознанием, важность пустоты. И

²⁴ центре, средоточии (лат.)

²⁵ Имеется в виду Св.-Владимирская духовная семинария (основанная в 1938 году), деканом которой был о.Александр (с 1962 года)

теперь этот злосчастный "академизм", "проблематика", возможность каждому возомнить себя чем-то. И вера в "обсуждения", "выяснения", "коммуникации". Ни один человек в мире не обогатился обсуждениями. Только встречей с реальностью, с правдой, добром, красотой. Чувство полного бессилия – невозможности что бы то ни было во всем этом переменить, будучи при этом деканом. Радикальное непонимание между мною и другими и невозможность его формулировать, в любом рациональном споре каждый из них меня раздавит.

День рождения маленькой [внучки] Веры. Три года с той ночи в госпитале. Как по сравнению с этим жалки и бессмысленны и пусты все эти "обсуждения", вся эта пошленькая, мышьяная суета вокруг "проблем"...

Переписываю в одну статью свои скрипты о солженицынской нобелевской лекции. Вся она, в сущности, как раз на эту тему.

Что такое счастье? Это жить вот так, как мы живем сейчас с Л., втроем, [наслаждаясь] каждым часом (утром – кофе, вечером – два-три часа тишины и т.д.). Никаких особенных "обсуждений". Все ясно и потому – так хорошо! А, наверное, если бы начали "формулировать" сущность этого самоочевидного счастья, сделали бы это по-разному и, того гляди, поссорились бы о словах. Мои казались бы ей не теми и vice-versa²⁶. "Непонимание"! И замутилось бы счастье. Поэтому по мере приближения к "реальности" все меньше нужно слов. В вечности же уже только: "Свят, свят, свят..." Только слова хвалы и благодарения, моление, белизна полноты и радости. Поэтому и слова только те подлинны и нужны, которые не о реальности ("обсуждение"), а сами – реальность: ее символ, присутствие, явление, таинство. Слово Божие. Молитва. Искусство. Когда-то таким словом было и богословие: не только слова о Боге, но божественные слова – "явление". Но прельстилось чечевичной похлебкой обсуждений и доказательств, захотело стать словом научным – и стало пустотой и болтовней. И возомнило о себе, и стало нужным только такому же другому болтуну, но не человеку, не глубине человеческой культуры. Это знает Солженицын, Бродский. Но этого не знают уже больше богословы. Да и как им знать это? О них только что была статейка в научном богословском журнале. Разве это не доказательство их "важности"?

Что такое молитва? Это память о Боге, это ощущение Его присутствия. Это радость от этого присутствия. Всегда, всюду, во всем.

Воскресенье, 8 апреля 1973

Получил позавчера новую книгу Чиннова "Композиция". Наряду с новыми, последними стихами он включил в нее и свою самую первую книгу "Монолог" (1950). Увы, сравнение в пользу "Монолога". А теперь – именно "композиция", умение, трюкачество. Америка не пошла впрок русским литераторам. Они сами уверовали в "литературоведение", сами стали по отношению к себе уже и "литературоведами". Они [готовят] свои стихи так, чтобы о них почти сразу можно было написать дурацкую американскую диссертацию. Мироощущение Чиннова не изменилось ни на йоту: бессмыслица жизни в свете (или тьме) смерти, ирония, подшучивание над всем и т.д. Но раньше это звучало органично, убедительно. Теперь: "Смотрите, как я ловко и умело это делаю". Однако несколько несомненных удач. Например, на смерть Адамовича: "Душехранилище хоронят..."

Сегодня думал (после разговора с Л. о росте цен, налогах и т.д.) о том действительно поразительном пророчестве, что находим у русских. Достоевский не только предсказал, но подлинно явил суть "бесов", завладевших западной душой. Хомяков предсказал крах западного христианства.

²⁶ наоборот (англ.)

Федоров предсказал и определил суть и механизм, злую сущность западной "экономики". Поразительно.

Вторник, 10 апреля 1973

Проглядывал, подчитывал "Свиток" Ульянова и "Русскую литературу за рубежом" Полторацкого. В связи с этим – мысли об эмиграции. Она, в сущности, – моя настоящая родина. Но в Америке – это был правильный инстинкт – нужно было уходить от нее и из нее, спастись от заражения трупным ядом. Во Франции она просто умирает, и не без достоинства. Здесь она гниет. Там останется ее идеальный образ. Здесь – карикатура. Там была высокая печаль, хотя бы у некоторых, у лучших, у ведущих. Здесь – злость и "карьера"...

Хотелось бы когда-нибудь стать совсем свободным и написать о том, как постепенно проявлялась в моем сознании Россия через "негатив" эмиграции. Сначала только и всецело семья – и потому никакого чувства изгнания, бездомности. Россия была в Эстонии, затем – один год – в Сербии; дедушка и бабушка Шишковы-Сеняк, первые впечатления церковные: незабываемое воспоминание о мефимонах²⁷ в русской церкви в Белграде. Ранний Париж. Обо всем этом вспоминаю, как вспоминают эмигранты о летних вечерах на веранде какой-нибудь усадьбы в России. Та же прочность быта, семьи, праздников, каникул... Эта Россия – язык, быт, родство, ритм.

Затем – корпус, может быть самые важные пять лет всей моей жизни (девять-пятнадцать, 1930-1938. Прививка "эмигрантства" как высокой трагедии, как трагического "избранства". Славная, поразительная, единственная Россия, Россия христолюбивого воинства, "распятая на кресте дьявольскими большевиками". Влюбленность в ту Россию. Другой не было, быть не может. Ее нужно спасти и воскресить. Другой цели у жизни нет. Чтения ген. Римского-Корсакова: Денис Давыдов, Аустерлиц, Бородино. "Под шум дубов"²⁸ – и т.д. Мы – дети гвардейских офицеров. "В Ново-Дмитриевской снегом занесены, мокрые, скованы льдом. Шли мы безропотно, дрались весело, грелись холодным штыком..."²⁹.

Четверг, 12 апреля 1973

Потом – сквозь эту военную Россию – постепенное прорастание "других" Россией: православно-церковно-бытовой (через прислуживание в Церкви и "тягу" на все это), литературной ("подвалы" по четвергам в "Последних новостях" Адамовича и Ходасевича), идейной, революционной и т.д. Россия – слава, Россия – трагедия, Россия – удача, Россия – неудача... Потом французский лицей, открытие Франции, Парижа, французской культуры. Постепенное внутреннее открытие, что большинство русских живет какой-нибудь одной из Россией, только ее знает, любит и потому абсолютизирует. Отсутствие широты и щедрости как отличительное свойство эмиграции. Обида, драма, страх, ущербленная память. Вообще – "неинтегрированность", фрагментарность русской памяти и потому России в русском сознании.

В сущности, я полюбил все "России". Каждую в отдельности и все вместе. Я до сих пор убежден, например, что тип русского офицера (первый тип, встреченный в жизни: Римский-Корсаков, Маевский, А.В. Попов, даже папа) – очень высокий, нравственно и человечески, тип, им можно любоваться (Толстой любовался им), как можно любоваться и другими типами: русским священником, интеллигентом и т.д.

²⁷ Мефимоны – в русском церковном обиходе название повечерия с чтением Великого канона Андрея Критского.

²⁸ Роман С.Р. Минцлова

²⁹ из песни добровольческого полка генерала Маркова

Пятница, 13 апреля 1973

"Согласиться не быть любимым – только этой ценой можно оставить свой след в жизни" (из статьи о Michel Debre).

Пятница акафиста. Почти с самого детства я ощущал этот день как *начало*. Сегодня вспомнилась так ясно эта самая пятница в один из годов Lycee Carnot (наверное, 1938 г.). Шел после обеда в лицей и предвкушал, как через четыре часа пойду [в собор] на rue Daugy к акафисту. Почему-то шел по rue Brochant – и все помню: освещение, деревья, только что зазеленевшие, детские крики в сквере. Тогда не знал, конечно, что на этой же самой улице увижу в последний раз папу: летом 1957 г. Я уезжал в Нью-Йорк, он смотрел в окно с четвертого этажа.

Я многое могу, сделав усилие памяти, *вспомнить*; могу восстановить последовательные периоды и т.д. Но интересно было бы знать, почему некоторые вещи (дни, минуты и т.д.) я не вспоминаю, а *помню*, как если бы они сами жили во мне. При этом важно то, что обычно это как раз не "замечательные" события и даже вообще не события, а именно какие-то мгновения, впечатления. Они стали как бы самой тканью сознания, постоянной частью моего "я".

Я убежден, что это, на глубине, те *откровения* ("эпифании"), те прикосновения, явления *иного*, которые затем и определяют изнутри "мироощущение". Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости (которую, действительно, "никто не отнимет от нас" (Ср. Ин.16:22), потому что она стала самой глубиной души) потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и т.д. Например, та Великая Суббота, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великой Субботе, а через нее – в самой сущности христианства, все, что пытался писать об этом, – в сущности всегда внутренняя потребность передать и себе, и другим то, что вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновенье. Говоря о вечности, говоришь об этом. Вечность – не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. "Анамнезис": все христианство это благодатная *память*, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь. Поэтому все религии, всякая духовность, направленные на уничтожение времени, суть лжерелигии и лжедуховность. "Будьте, как дети" – это и означает "будьте открыты вечности". Вся трагедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть "взрослым", от необходимости попирать "детство" в себе. Взрослая религия – не религия, и точка, а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому все время извращаем. "Вы уже не дети – будьте серьезны!" Но только детство – серьезно. Первое убийство детства – это его превращение в молодежь. Вот это действительно кошмарное явление, и потому так кошмарен современный трусливый культ молодежи. Взрослый способен вернуться к детству. Молодежь – это отречение от детства во имя еще не наступившей "взрослости". Христос нам явлен как ребенок и как взрослый, несущий Евангелие, только детям доступное. Но Он не явлен нам как молодежь. Мы ничего не знаем о Христе в 16, 18, 22 года! Детство свободно, радостно, горестно, правдиво. Человек становится человеком, взрослым в хорошем смысле этого слова, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится плохим взрослым, если он эту способность в себе заглушает (Карл Маркс и все верующие в гладкую "науку" и "методологию". "Методология изучения христологии". Брр!). В детстве никогда нет *пошлости*. Человек становится взрослым тогда, когда он любит детство и детей и перестает с волнением прислушиваться к исканиям, мнениям и интересам молодежи. Раньше спасало мир то, что молодежь хотела стать взрослой. А теперь ей сказали, что она именно как молодежь и есть носительница истины и спасения. "Vos valeurs sont mortes!"³⁰ – вопит какой-то лицеист в Париже, и

³⁰ "Ваши ценности мертвы!" (фр.)

все газеты с трепетом перепечатаывают и бьют себя в грудь: действительно, nos valeurs sont mortes!³¹ Молодежь, говорят, правдива, не терпит лицемерия взрослого мира. Ложь! Она только трескучей лжи и верит, это самый идолопоклоннический возраст и, вместе с тем, самый лицемерный. Молодежь "ищет"? Ложь и миф. Ничего она не ищет, она преисполнена острого чувства самой себя, а это чувство исключает искание. Чего я искал, когда был "молодежью"? Показать себя, и больше ничего. И чтобы все мною восхищались и считали чем-то особенным. И спасли меня не те, кто этому потакал, а те, кто этого просто не замечал. В первую очередь – папа своей скромностью, иронией, даром быть самим собой и ничего "напоказ". Об него и разбивалась вся моя молодежная чепуха, и я чем больше живу, тем сильнее чувствую, какую удивительную, действительно подсознательную роль он сыграл в моей жизни. Как будто – никакого влияния, ни малейшего интереса к тому, чем я жил, и ко всем моим "исканиям". И никогда в жизни я с ним не советовался и ни о чем не спрашивал. Но, вот, когда теперь думаю о нем – со все большей благодарностью, со все большей нежностью – так ясно становится, что роль эта в том и заключалась, что никакого кривлянья, никакого молодежного нажима педали с ним не было возможно, что все это от него отскакивало, при нем не звучало. И, конечно, светилось в нем детство, почему и любили так его все, кто его знал. И теперь этим детством светится мне его образ.

В Толстом – гениален ребенок и бесконечно глуп взрослый. Толстой кончает "взрослостью", и в этом его ограниченность и падение. Достоевский начинает с "взрослости" и нестерпим. Он делается великим и гениальным тогда, когда отдается "логике детства". Вся потрясающая глубина его оттого, что дает он в себе волю "ребенку". Но потому и все взрослое его по-настоящему не понимает. Апофеоз "взрослости": Маркс и Фрейд.

Лучезарный, солнечный, весенний день. Он как будто сам звенит молитвой: "Радости приятелище! Тебе подобает радоваться единой!"

Понедельник, 16 апреля 1973

Не забыть: акафист в пятницу вечером и, особенно, Литургию в субботу. Пока мы в алтаре причащались, хор пел первые икосы: "Радуйся, его же радость воссияет...". Пел удивительно хорошо. И все это вместе, как дождь на душу после засухи...

Днем в субботу в Wappingers Falls. Больше всего от невозможности сидеть дома в такой день такого сияния, такой голубизны, такой радости. И вчера за Литургией снова – клубок в горле: пел сборный хор – два-три студента, девочки. Чувство, уверенность: человек "сарах Dei"³². И тут же разговор о С.М., о его депрессии. Такое очевидное, демоническое восстание против света, что делается понятным падение ангелов. И хождение к психиатру! Бездна бездну призывает...

Пикассо так же важен, как Адам и Ева, как звезда, как источник, дерево, скала, волшебная сказка, и останется столь же молодым, столь же старым, как Адам и Ева, как звезда, источник, дерево, волшебная сказка" (Жан Арп). Пикассо: "Ничто не может создаваться без уединения. Я себе создал уединение, о котором никто не подозревает"

Четверг, 19 апреля 1973

Все эти дни – мелкие дела, заботы, спешка, огорчения – от сплетен, от того удручающего уровня, который, увы, так сильно чувствуется и в маленьком семинарском мирке. И от всего этого словно серая пыль на душе. Она делается непроницаемой к радости, к свету. Точно, сжав зубы, стремишься только к одному – выжить, "про-жить" эту волну. Маленькие просветы: лекция в среду о

³¹ наши ценности мертвы (фр.)

³² способен вместить Бога" (лат.).

Божией Матери, одна из тех, когда словно говоришь самому себе. Сегодня внезапно чувство: изжито, пронесло. Один дома (Л. в Buffalo). И хотя с сильной головной болью, но мир, общение с жизнью. Завтра – последний день Поста. Завтра – "душеполезную совершивше сороклетнюю... Заутра Христос приходит". Начало любимых дней. Хочется молиться, чтобы ничто их не омрачало, не искажало. Весь день нарастала и сейчас (пять часов дня) разразилась настоящая весенняя гроза.

Пятница, 20 апреля 1973

Вчера – на сон грядущий – перечитывал страницы из книги J.Schulmberger об А.Gide и его жене (ответ на "И ныне пребывает в Тебе ..."). Как, в общем, мало лет прошло – и как, действительно, в воду канул весь тот мир. Нравственная взволнованность. Умение жить, как Madeleine Gide, "высоко". Что современная молодежь с ее социологией и гедонизмом может понять во всем этом? "Спекуляция на понижение" – во всем: и в религии, и в искусстве. Да, наконец, просто в жизни.

Тоже вчера – две главы из "Дара" Набокова, который перечитывал много раз. Смесь восхищения и возмущения: какое тонкое разлитие во всей этой книге хамство. Хамство в буквальном, библейском смысле этого слова: самодовольное, самовлюбленное издевательство над голым отцом. И бесконечная печаль набоковского творчества в том, что он хам не по природе, а по выбору, гордыне. А гордыня с подлинным величием несовместима. Он не "хамит" с природой, и тут его творчество подчас прекрасно, велико ("И хочется благодарить! А благодарить некого..."). "Хамит" он исключительно с людьми, которых он видит по-"хамски": подобное познается подобным. Гоголь видел "пошлость". Но он не "хамил". Потому у него трагедия. Никакого трагизма, ни малейшего, в творчестве Набокова нет. Откуда же ему взяться в этом хамском и пошлом мире? Набоков тоже в конце концов – "спекуляция на понижение". Беспрецедентное торжество, удача этого "хамства" – чего стоят отчим и мать Зины в "Даре" или Ширин. И полный крах, когда он, как говорят, "выводит положительные типы", то есть тех, кого он любит и с кем не "хамит". Отец, мать (и в "Даре", и в "Других берегах"), Зина, жена, сын. Уж такие они не как все, с такой тонкостью, с такой несводимостью ни к чему обычному, общему. Тут хамству противостоит мелкий "снобизм". Но горе в том, что это не природа Набокова, что и хамство, и снобизм он выбрал. И там, где их нет ("Василий Иванович" и др.), там видно, с какой возможной, данной и заданной ему, полноты он "пал". И, упав, смеется и страшно доволен сам собой. Демоническое в искусстве: ложь, которая так подана, что выглядит, как правда, убеждает, как правда.

Блаженный, ликующий, весенний день. Канун Лазаревой субботы. В этот день всегда вспоминаются о.Киприан и Сергей Михайлович Осоргин.

Вербное Воскресенье, 22 апреля 1973

"Радость церковная". Как она льется из этих двух действительно единственных дней – Лазаревой субботы и Вербного воскресенья. Сегодняшний Апостол: "Радуйтесь, и еще говорю вам – радуйтесь... мир, превосходящий всякое разумение"(Флп.4:4-7). Праздник Царства Божия!

Вчера после всенощной долгий разговор с Верой Эрдели, сестрой Илариона Воронцова, и ее мужем Сашей Эрдели. Иларион говорил, что работать для Церкви – это как бы писать икону. Разговор об их сыне – 30 л., йога, вегетарианство, drop-out³³... все во имя добра и ни йоты смирения. Чего люди хотят от религии? Все того же – утверждения себя, своего. И потому так закрыты "радости церковной". "Скрыл сие от мудрых и открыл младенцам..."(Мф.11:25; Лк.10:21).

³³ недоучка; студент, бросивший учебу (англ.)

Светлый вторник, 1 мая 1973.

Пасха. Страстная. Чуть-чуть омраченные мелким раздражением на суету в алтаре (четыре священника, пять дьяконов!), но в основном светлые, такие, как нужно. И все, что нужно. Я убежден, что если бы люди слышали по-настоящему – Страстную, Пасху, Воскресение, Пятидесятницу, Успение, не нужно было бы богословие. Оно все тут. Все, что нужно духу, душе, уму и сердцу. Почему люди могли веками спорить об justificatio³⁴, об искуплении? Все это в этих службах не то что раскрывается, а просто вливается в душу и в сознание. Но вот удивительно: чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что большинство что-то другое любит и чего-то другого ждет от религии и в религии. Чего-то, что я ощущаю как идолопоклонство, что делает контакт с "религиозными" людьми таким мучительным.

Сегодня под майским солнцем по Пятой Авеню. Lunch hour. Толпа. И вдруг поражаешься: как мало в этой толпе людей с простыми лицами, с человеческой заботой и глубиной. Эта мысль пришла в голову, когда навстречу попалась средних лет женщина, очень просто, почти бедно одетая, именно с таким лицом.

Пятница, 4 мая 1973

Потрясающие "Дневники" Эдуарда Кузнецова. Ведь, вот, кажется, что после Марченко, Гинзбурга и Н. Мандельштам уже нельзя больше "реагировать" на весь этот ужас. Читаешь Кузнецова, и снова нельзя оторваться. Читаю "эмигрантскими" глазами: сколько людей в эмиграции, самых что ни на есть "непримиримых", "верных" и "белых", были бы идеальными чекистами. Самое для меня ужасное в этих книгах – это, конечно, "послушание" всякой советчине. От одной выписки не могу удержаться: "...ничто так не отвращает от религии, как личный – особенно камерный – контакт с верующими" (стр. 68).

Книга Жан Ко "Конюшни Запада". Много очень верного о гниении Запада, о коренной лжи всякого эгалитаризма и гуманизма и т.д. Много также неверного. Отсутствие измерения внутренней жизни. Всегда – история, власть, сила или биение себя в грудь... Но основное верно. Исчезновение в мире "sursum corda" ("*горе имеем сердца*" (лат.)).

Все эти дни – пасхальные Литургии и крестный ход. Пасха как "вечность". Повторение неповторимого.

Прочел интересный сборник (перепечатанный с самиздатовского издания) – "Август Четырнадцатого читают на родине".

Понедельник, 7 мая 1973

В субботу, после последней пасхальной Литургии, уехали, как в прошлом году, в Montauk Point – отдышаться. Ночевали в том же мотеле в Easthampton. Насладились неизмеримо. Утром на скале около маяка. Океан. Солнце. Тишина. Завтрак в немецком ресторане на пристани в Sog Harbor.

В пятницу вечером Митя Поспеловский. Впечатление очень светлое. Что в эмиграции выросли все же такие "русские мальчики" – бесконечно отрадно и утешительно. Теперь профессором в Канаде, начинает академическую карьеру. Только бы не свихнулся в то мелкое честолюбие, всезнайство и мелочную суету, что так типичны для академической среды. Вот [случайно] купил за девяносто пять центов и лениво перечитываю "Пнин" Набокова. Как он верно подметил фальшь американского

³⁴ Оправдание (лат.).

университета, карикатуры на Оксфорд, Гейдельберг и Сорбонну, но карикатуры дешевые. Диссертации, докторат, наука – тут все это вроде зажигалки, которую, не зная, что с ней делать, дикарь вешает себе на нос или на ухо и страшно горд. Эксперты без культуры, мешанина курсов, которые студент выбирает, как овощи на базаре. Библиографии, душный, затхлый воздух "департаментов", напичканных гениями...

Считаешь дни – до Пасхи, до конца учебного года, до блаженного отъезда в Labelle... Если бы вот так, с таким же ожиданием, надеждой, радостью – считать дни до "невечернего дня". А тут – страх, уныние...

Понедельник, 14 мая 1973

"Принципы – это то, что людям заменяет Бога..."

"Религия". Чего только не покрывает это слово! Думал об этом, думая о двухлетнем уже "несении" М.М., ничем не замечательной средних лет американки, которую я вижу каждые две-три недели, как ее духовный отец. Она хочет жить духовной жизнью, но, Боже мой, какая все это мелкая сосредоточенность на себе, как все – муж, сын, соседи, все – ей мешают, как она слепа ко всему окружающему. Какая-то глухая, слепая лейбницевская монада. Так серо, так скучно! И такой же была уже покойная мать С. Что их притягивает или, вернее, чего компенсацией в их жизни является религия?

Скандал в Вашингтоне (Watergate). И одновременно – книга М. Де Ломбьера "Дело Дрейфуса. Ключ к тайне". Страшна религия. Но страшно и все "в себе" – эта, по-видимому, неутолимая жажда власти. Настоящая смертельная опасность только одна: это без остатка быть уловленным каким-то системой зубчатых колес "мира сего" – властью, деньгами, страстью, религией... Отсюда необходимость знать, сознавать, во главу угла всего внутреннего мира поставить: "проходит образ мира сего..." (1Кор.7:31). Вне этого все – узость и теснота, мрак, мучение, и какое мучение! Нет большего мучения, чем "Я". Поэтому таким успехом пользуются все религии, построенные на мнимом освобождении от "я", всякая ориентальщина. Однако христианское отречение от себя совсем иного порядка. Потому что там, в ориентальщине, человек отказывается от "я" все же по соображениям эгоистическим, чтобы не страдать. Здесь же, сразу за предложением отречься от себя, следует призыв взять крест свой и нести его, то есть, в сущности, страдать. Но тут все в любви к Богу, тут все в отказе от "религии" как самоутешения, самоутверждения и т.д. Поэтому и само страдание становится, может становиться – радостью.

"Надо понять..." Достигаешь момента, когда так ясно становится, что понимать-то, в сущности, нечего. Что все "сложности" ("он такой сложный человек, его нужно понять...") суть сложности мнимые. Все это туман, разводимый нами, чтобы не оказаться лицом к лицу с одной реальностью – греха. "Проблемы" современного сознания, молодежи и т.д. Два и только два источника греха: *плоть и гордыня*. И человек все стремится прикрыть это "сложностями", и выходит красиво и глубоко ("у него большие трудности..."). И всегда есть услужливые "духоносцы", готовые помочь в этих трудностях "разобраться" и проблемы "разрешить". *Плоть и гордыня*: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская (1Ин.2:16). И потому в ключе "проблем" и "трудностей", в ключе этих бесконечных обсуждений, шептаний на скучнейших исповедях, всех этих интроспекций, морбидного³⁵ самолюбования, в ключе всего этого – христианство не звучит и не действует. Фальши этой соответствует фальшь "пастырства", понимаемого как этот скучнейший американский

³⁵ От англ. "morbid" – болезненный

"counseling"³⁶, религиозная терапевтика. Настоящая вера есть всегда возврат к простоте – радостной, целостной и освобождающей. Грешник может верить. "Трудности", "сложности" и "проблемы" – пошлейшее алиби самодовольного себялюбца. Ошибочность, ложь нашего современного богословия, построенного, как метод разрешения проблем и трудностей.

Пятница, 18 мая 1973

Все эти дни чудовищная суэта, связанная с концом учебного года (завтра). В понедельник и вторник – в Техасе, на англиканской конвенции. Второй раз убеждаюсь в своеобразной красоте этой природы, ее грандиозной открытости, спокойствию. Точно погрузился в какой-то еще не разрушенный, космический лад...

106-й номер "Вестника". Масса материала. Но читаешь, читаешь – и вспоминаешь слова Паскаля: "Я верю только тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку". Как хочется тишины, бегства от этого болтливости христианства, насквозь пропитанного мелкими и болезненными самолюбиями...

Мрачная, грязная пропасть Watergate.

Ужин оканчивающих студентов и их жен: в общем, милые парни...

Пятница, 25 мая 1973

Перечитывал с наслаждением дневник моего любимого Julien Green. Он пишет: " Без причастия жизнь меняется и вера уходит. Это так почти без исключения ". Как верно! Вот уже два дня радость, что завтра буду служить Литургию. Что еще интересно в Церкви?

Дни академической суеты. Маленький мирок, но сколько в нем страстей и страстишек!

Еще из Green'a: " Где мудрость, которую знание заставило нас потерять? Где знание, которое мы заменили информацией?".

Один дома. Слушаю "Тебе одеющагося светом яко ризою...". Всегда прямо в душу: "Увы мне, Свете мой..."

Вчера у Трубецких в Syosset.

Понедельник, 28 мая 1973 (Memorial Day)

Два дня в Bridgehampton, у Небольсиных, с двумя Аниными старшими детьми. Всегда там вспоминаю о чудных днях, проведенных там каждый июнь с 1952 по 1957 гг. Океан. Дюны. Морской ветер. Это были страшно трудные годы, но Bridgehampton остался весь солнцем, счастьем, красотой мира. Продолжал там Julien Green'a, дневник, одну из самых, пожалуй, любимых моих книг.

Дом Небольсиных построен в 1710 или 1730 г.! Наслаждение от этих комнат, камина, всей жизни, тут прошедшей.

Поль Валери: "Нельзя выйти из тени даже ненадолго без того, чтобы не вызвать ненависти многих".

³⁶ "консультирование"

Думал опять об основном или предварительном вопросе, о котором богословы не думают или который, возможно, они считают разрешенным. Это вопрос о том, что мерит что... Даже богословие, даже православное богословие, в конечном итоге, критерием веры считает разум, во всех его "оформлениях": историзм, экзегеза (научная), философия, психология... Считает даже тогда, когда очень ловко борется с "рационализмом". И пока это так, мы не выходим из порочного круга. Именно об этом пишет Грин: "Потеря чувства тайны Бога – более частое явление, чем можно подумать. Многие христиане заменяют Бога идолом, которого они называют Богом, которого составляют из разных соответствующих составляющих и которому поклоняются".

Когда Бог трогает душу – ничего не надо, но ничего и "доказать" нельзя. Два, три раза в жизни, [в корпусе] в марте 1934 или 1935 года (четырнадцать-пятнадцать лет). После службы, на "плацу". В те же, приблизительно, годы в Экзенском лесу, в Лазареву субботу (гулял с о. Шимкевичем). В Великую Субботу, о которой, кажется, писал уже в этой тетради. Действительно – свет и радость и мир, но что же к этим словам можно прибавить? Не читать же об этом лекции.

Понедельник, 17 сентября 1973

Тетрадка пролежала все лето в столе. Чудное лето. Все более остро, почти как-то мучительно любимый Labelle. Три недели с Андреем. Поездка в Квебек. Утро с Льяной на [озере] Lac Grand Cache. Дети. Внуки. Потом короткая поездка в Швейцарию и Париж (вторая в этом году: две недели в Париже в июне в связи со съездом РСХД³⁷).

Теперь – back to normal³⁸. Семинария. Суета. Но и предосенние, изумительные дни...

Сегодня: 1. завтрак с Бродским – нужно будет записать.

В Париже 2. встречи с Синявским и Паниным.

Поездка с Андреем в [деревню] Fontenailles – в первый раз с 1933 года!

Церковь в Moisenay.

Пятница, 21 сентября 1973

Кончил читать "Хроники растроченного времени" Малькольма Магериджа. Редко, совсем редко книга давала мне такое удовольствие! Согласие почти со всем. Читая, думал о том, почему с одинаковым удовольствием я читаю верующего Muggeridge и неверующего Leautaud. У обоих то же качество честности с собою, с людьми, с жизнью. Отсутствие той фальши, пронизанность которой религии, христианства, церковности меня все больше и больше отвращает. Все это псевдоглубина, псевдопроблемы, псевдодуховность, все эти претензии на высшее понимание! Все эти словоизлияния!

Четверг, 27 сентября 1973

"Встречи с Пастернаком" Александра Гладкова с довольно интересным разнесом "Доктора Живаго". "О поэтах и поэзии" В.Вейдле (с милой надписью). В трех номерах "Нового русского слова" – статьи Корякова обо мне (мой спор со Шпиллером, "Вестник" 106) – непонятные и, по-моему, фальшивоватые, несмотря на сладость.

³⁷ РСХД – Русское студенческое христианское движение, основанное в 1923 году на учредительной конференции в г.Пшеров (Чехословакия)

³⁸ возвращение к нормальной жизни

Каждый сентябрь думаешь, решаешь: устрою жизнь по-другому, без суеты, без нервной трепки, устрою ее с каким-то ритмом, с прослойкой тишины, работы, сосредоточенности. И вот только три недели – и уже все пошло прахом: суета в семинарии, суета в церкви, телефоны, свидания. День за днем уничтожается всем этим. Сегодня, в отчаянии, сказался больным и не пошел никуда. А тогда – угрызения совести...

Отвратительный осадок на душе от вчерашнего [собрания] faculty³⁹. Прочел мой мемо – с попыткой "диагноза" наших ошибок, постепенного превращения семинарии в поверхностную псевдоинтеллектуальную аспирантуру. Полное непонимание. Чувство тупика: с одной стороны, извне семинарию отождествляют больше всего со мной ("шмеанария"), с другой, внутри, – чувство полного бессилия изменить направление, которое я считаю губительным. Так же и во всем другом: Русская Церковь (поездка этим летом И.М. в СССР, его оценка, его тактика), наши собственные церковные дела. Ничего не делается без меня, моего согласия и одобрения (отсюда страшная суета и мучительное чувство ответственности), а вместе с тем я – на глубине – в сущности не согласен и не одобряю, и не умею это выразить в том плане, на том уровне, в которых все это развивается. Чувство полного одиночества среди будто бы единомышленников. Невыносимость этого положения. Л. говорит: "Ты всегда на все соглашаешься". Увы, это и правда, и неправда. Душой кривил я мало – ругался вовсю и с епископами, и с церковью, и с кем угодно, когда другие помалкивали. Поэтому согласие мое не от малодушия; гораздо чаще либо от боязни уж чересчур огорчить, либо от невозможности убедительно изложить то, что я по-настоящему чувствую. "Что же вы хотите взамен?" – Не знаю, не уверен.

Иногда мне думается, что каждый человек призван сказать или сделать что-то одно, может быть, даже и маленькое – но *подлинное* и то, что только он призван сказать или сделать. Но жизнь так устроена, что его вмешивают во *все*, и тогда он теряет себя и свое и не исполняет своего призвания. Он должен все время делать вид, что он действительно все понимает, все может и обо всем имеет что сказать. И все становится поддельным, фальшивым, показным.

Я уверен, например, что я не призван ни к какому личному руководству людьми. Нелюбовь к "интимным" исповедям, ко всяким личным излияниям. Когда я исповедую, у меня всегда чувство, что это не я, а кто-то другой и что все, что я говорю, – безличные прописи, не то, совсем не то. Но от священника ждут, требуют такого руководства, в нем видят суть священства. Может быть, я страшно ошибаюсь, но я как-то никогда не видел никакой особой пользы, вокруг себя, в Церкви – от этого духовничества. Напротив, видел всегда скорее вред: потакание эгоцентризму, тонкой духовной гордыне (с обеих сторон), какому-то сведению веры к себе и своим проблемам. Суть христианства мне всегда, с детства, представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть, они потому и есть, что они неразрешимы. Поэтому христианство есть всегда проповедь – то есть явление того, другого, высшего плана, самой реальности, а не объяснение ее... Мне скажут: а старчество, которым так модно сегодня заниматься? Возможно, даже наверное, что старчество есть особое призвание в Церкви, не совпадающее со священством, с пасторством как таковым. Но ведь и это призвание, если всерьез принять все то, что мы о старчестве знаем, совсем не в этом вот интимном духовничестве, не в объяснениях и разрешениях проблем, а в том же явлении самой реальности. И потому так опасен псевдостарец, столь расплодившийся в наши дни и сущность которого в духовном властолюбии. На это псевдостарчество толкает сама система, делающая из каждого священника "духовника" и маленького "старца". В Православной Церкви почти уже нет монахов, которые бы не считали своим священным долгом через два года после пострига писать трактаты об Иисусовой молитве, о духовности и об аскетизме, учить "умному деланию" и т.д. Нет и священников, которые бы не считали

³⁹ профессорско-преподавательского состава (англ.)

себя способными в пять минут разрешить все проблемы и наставить на путь истинный...

Лично я вообще бы отменил частную исповедь, кроме того случая, когда человек совершил очевидный и конкретный грех и исповедует его, а не свои настроения, сомнения, уныния и искушения. А что же делать со всеми этими обычными "состояниями"? Я убежден, что подлинная проповедь есть всегда (о чем бы она ни была) одновременно и ответ на них, и их исцеление. Ибо она всегда есть проповедь о Христе, а все это "снимается" только Христом, знанием о Нем, встречей с Ним, послушанием Ему, любовью к Нему. Если же проповедь не есть все это, то она и вообще не нужна. И сила ее в том, что подлинный проповедник и к себе обращает проповедь – на свое уныние, маловерие, теплохладность и т.д. И что же к этому могут прибавить разговоры?

Поразительно, как люди, "интересующиеся духовной жизнью", – не любят Христа и Евангелие. И понятно, почему: там ничего не сказано о "духовной жизни", как они ее понимают и любят. Где это я читал, что именно о такой духовности притча Христа об очищенной клетке, занимаемой еще худшими злыми духами? Грешник кается и обращается. Лжедуховный осужден на гибель: это и есть хула на Святого Духа. Как все это страшно! Я со всей силой ощущаю, что одна из главных опасностей всегда и всюду – псевдорелигия, псевдодуховность... Вообще "псевдо" (псевдобогословие, например...).

Еще хочу записать:

Поездка в Fontenailles с Андреем во вторник 4-го сентября. Выехали из Парижа в одиннадцать утра с владыкой Александром (Семеновым-Тян-Шанским), которого должны были завести [в монастырь] в Moisenay. День как на заказ: солнце, чудное голубое французское небо: "dans la lumiere de l'ete"⁴⁰... В Moisenay не был с лета 1943 г., которое мы провели там с Л., ожидавшей Аню. Поразителен храм, построенный почти собственноручно о. Евфимием, - первое чувство: вот тут бы служить! Действительно, храм-эпифания⁴¹. Оставили Владыку и поехали в Fontenailles (двадцать-двадцать пять километров), где провели три лета (1929, 1930 и 1932). Погружение в детство, как в абсолютно чистую, беспримесную радость. Поля. Дорога, все еще обсаженная старыми деревьями. Завтрак в La Chapelle-Gauthier, в средневековом трактире, с метровыми столами, с такой, почти "вкусной", прохладой. Потом еще семь километров – и въезжаем в Fontenailles. Почти все так же, все то же. Только вот нам пятьдесят два года! Ощущение одновременно и страшной реальности времени, и его призрачности: "как будто все, что было и прошло, уже познало радость воскресенья...". Заехали на пруды, где купались когда-то; с ними связано у меня воспоминание праздника. Чудная поездка, и все время чувство полного единства с Андреем, абсолютного общения в том же. Чистая радость.

Разговор с Бродским в ресторане две недели тому назад. Об абсурде как основном чувстве – и в религии. Я: "Где абсурд, там никакого христианства нет и быть не может". Три струи в религии: безличная пантеистическая (одинаково чуждая и мне, и ему), трагическая – а la Шестов, Лютер, Киркегор, которая ему нравится, его привлекает; "благодарственная", та, что я защищаю. "Ведь и Ваша поэзия – благодарственная". Он соглашается. "Но в поэзии я не говорю, не выражаю всего..." Я: "Да и никакой поэзии из абсурда не вышло бы". Он снова соглашается. Надо было уходить. Сережа (он был с нами) вечером, по телефону: "Ты его почти обратил..."

Прочтя четырнадцать (!) больших томов "Journal Litteraire" Leautaud: странное чувство – словно я как-то перед Богом лично ответствен за этого удивительного и почему-то мне бесконечно милого безбожника, развратника и писака. Почему я устаю вчитываться, вглядываться, вживаться в эту жизнь? Почему с Leautaud мне хорошо? Зимой, в Париже, был на выставке, ему посвященной, в

⁴⁰ "в свете лета" (фр.).

⁴¹ Epiphany (англ.) – Богоявление

Arsenal. Откуда это волнение – в совершенно пустой зале с его креслом, рукописями, книгами? Почему из всего этого мне что-то определенно "светит"? Словно, читая его, я делаюсь проще, чище, спокойнее, скромнее. Может быть, противоядие от всякой фальши?

Вторник, 2 октября 1973

Все эти дни – в лихорадочной работе. Мой тето коллегам, занимающий меня изнутри. Лекция о marriage and sexuality⁴² (сегодня вечером), которую думал "продумать" в сорок минут и которая съела весь день вчера. Чувство какого-то наплыва сил и вдохновения. Может быть, из-за борьбы?

Среда, 3 октября 1973

Головная боль, должно быть от переутомления вчера. Идя из семинарии, вдруг так отчетливо вспомнил мой "кризис" 1935-1936 гг. (значит, [мне было тогда] четырнадцать-пятнадцать лет). Кризис заключался в чувстве смерти. Не в страхе смерти, а именно в ее чувстве. Как можно жить, зная, что всё и все умрут? Кажется прописью и банальщиной, но вот несколько месяцев я буквально не жил. Помню, на Clichy, за столом, не хватало сил дальше слушать разговоры. Уходил в другую комнату и, смотря вниз, на av. de Clichy, пребывал в какой-то ужасной, страшной, черной дыре. Также в Villejuif, в больнице, где мне делали вторую операцию в июле 1936 г. Это описать невозможно, но: не отчаяние, не страх, а именно страшное противоречие: вот – дома, люди, жизнь, и все это уже "смертно". Но такого страдания я не испытывал ни до, ни после, никогда. Потом вдруг "оставило" и уже больше никогда не возвращалось. И сейчас – помню не содержание, а ужас этого состояния. И это, может быть, единственное время в моей жизни, когда я по-настоящему молился. Иногда мне кажется, что это действительно было прикосновение смерти, ноябрь 1935, когда у меня был перитонит, я выжил, если не чудом, то, так сказать, in extremis⁴³, – мне это говорил сам хирург Маршак. Смерть тронула и отошла. Не знаю. It makes sense – но вот "покры мя тьма". Как должны мы, в сущности, сознавать все время, что эта тьма реальна, что она тут, готова нас поглотить все время и что Бог действительно спасает нас от нее. Тогда я молился о спасении, ни о чем другом, ибо чувствовал, что долго этой тьмы не выдержу. Злая сила...

Сегодня утром после утрени разговор с новым студентом: униат, "умственно" уже обратившийся в православие, но мучающийся о том, как поступить, о "своих" и т.д. Объяснял ему мое убеждение в трагизме униатства: потеряли православие, не стали католиками. Как часто, поэтому, ошибочно их обращение – если они идут, например, к карловчанам⁴⁴, так это именно от их "католического подхода к православному обряду". В Православии ищут того рабства, которое ослабело в Католичестве, но в котором всегда жило униатство – рабство обряду, рабство легализму... Советовал не торопиться – ждать внутреннего мира свыше.

Эти дни – Послание к Галатам. Какая религиозная гениальность! Им одним можно заменить целый год изучения богословия. Начал книгу Ж.Лакутюр об Андре Мальро "Жизнь в эпохе". Первое впечатление: величина дугая...

Понедельник, 8 октября 1973

Еще книги, прочитанные летом: Е.Е.Морен "Потерянная парадигма: человеческая природа"; Р.Арон "История и диалектика насилия"; Жюльен Грин "Кто мы". Каждая, хотя и отлично от других,

⁴² браке и сексуальности (англ.)

⁴³ в последний момент (лат.)

⁴⁴ Имеется в виду основанная на соборе в г.Сремски-Карловцы (Югославия) Русская Православная Церковь за границей

вызвала работу мысли: чтобы сохранить веру, лучше читать серьезных агностиков, чем богословов...

Продолжаю Lacouture о Malraux. Впечатление все то же: дутая величина.

Думал сегодня: западное богословие как целое, как предприятие – рухнуло, разбилось на куски. Осталась научность – уже никуда не ведущая, и дешевые клоуны: Harvey Cox, Hans Kung и tutti quanti. О чем с ними можно "диалогировать"?

В субботу – Льяне пятьдесят лет! Целая жизнь, и какая счастливая жизнь, вместе!

В субботу же Education Day⁴⁵: солнце, прохладно, масса народу. Литургия в палатке. Четыре архиерея. Суматоха, но и какая-то праздничная радость. Столько народа стоит три часа и молится и хочет этого! Это для меня и есть Церковь. Тут все решается: в этом контакте с реальностью Присутствия. Чудная проповедь о. Павла Лазаря. Вечером у нас двадцать пять человек: Бутеневы, Озеровы, Апраксины, Трубецкие...

Война – опять! – на Ближнем Востоке. Интерес почти как к спорту. У меня нет симпатии – глубокой, человеческой – ни к арабам, ни к Израилю. Тип конфликта насквозь "фальшивого", в ложной и отвратительной риторике построенного. Ирландцы, арабы, евреи... Не говоря уже о наших вождях. Жулики в Вашингтоне (Watergate!). И все эти вожди некогда великих государств, ждущие, как милости и вершины признания, быть принятыми Мао! Мой сосед, все утро стригущий свои кусты, кажется мне верхом человечности на фоне этого убожества. Вчера по телевизии – стычки арабов с евреями в Нью-Йорке. Что за лица! И речи представителей какой-то Верхней Вольты в ООН. Какая все это безобразная, мелкая, никчемная чепуха. И христиане, жаждущие во все это погрузиться. Повторяю: интерес, как к матчу бокса.

Вторник, 9 октября 1973

Письма, письма, груды писем! Неотвеченные с июня, которые, конечно, останутся неотвеченными. Много для всего нужно времени и спокойствия, и ни того, ни другого никогда нет. Вечная из-за этого "забота" на душе. Боязнь стола. Боязнь этих папок, что ездят со мной из Нью-Йорка в Labelle и обратно.

Завтрак сегодня с Зораном Миљкович (по делам семинарии). Разговор о войне на Ближнем Востоке. Как, должно быть, душевно легко людям, которые всегда с такой необычайной простотой и легкостью знают, *за* кого они и *против* кого. Мне иногда кажется, что за всю свою жизнь я никогда не был стопроцентно на какой-либо стороне, в каком-либо лагере. Отвращение от этой "стопроцентности". Большинство людей все время делают вид, что они знают, понимают и имеют мнение. Обычно же они не знают и не понимают.

Вчера кончил книгу о Malraux. Последнюю часть читал все-таки с волнением.

Четверг, 11 октября 1973

Вчера на "Андрее Рублеве" в Lincoln Center. Очень ждал этого фильма после восторженных похвал владыки Александра Семенова-Тян-Шанского и Никиты Струве, людей несомненно со вкусом и внутренним слухом. Увы, разочарование. Фильм меня ни разу по-настоящему не увлек, не вовлек в себя. Понимаю и "целую" все благие намерения Тарковского, но с благими намерениями делаются

⁴⁵ День православного образования – ежегодный праздник в Св.-Владимирской семинарии (в первую субботу октября).

плохие фильмы. Весь его (то есть фильма) символизм уж так интенсивно преподнесен и навязан, уж так все время видны детали, узорчики (смотрите, мол, какая у меня импрессионистическая техника...): хвост лошади и ее зад минуты на две! Жестокость, поданная немного как в Grand Guignol⁴⁶. Отдельные удачи несомненны, талант налицо. Но в целом, по-моему, неудача. Искусство, особенно же зрительное, требует "синэргизма", участия и даже причастия зрителя. Тут все разжевано, подано, переварено – но зритель остается вовне. В театре – сотни знакомых. Мы с Сережей быстро удрали после окончания фильма, но я заранее слышал все эти "потрясающе!"

Пятница, 12 октября 1973

О.Евфимий Вендт: "Острое отталкивание от всех мировоззрений, сделанных ученостью, а не видением..." (цит. о.Геннадием Эйкаловичем в его статье об о.Евфимии в "Вестнике" 107, стр.93).

Людей незачем обращать к Христу, если они не "обратят" своего восприятия мира и жизни. Ибо и Христос оказывается "символом" только того, что мы и без Него любим, чего и без Него хотим. И такое христианство еще страшнее агностицизма и гедонизма. И потому христианский "активизм" в пределах теперешнего "мировоззрения", ощущения жизни – так ложен и даже отвратителен.

Богословы связали свою судьбу – изнутри – с "ученостью". А им гораздо более по пути с поэтами, с искусством. И потому богословие стало пресной академической забавой, не нужной никому ни в Церкви, ни вне ее. Только вот поэзия, подлинная, трудна, а "ученость" бесконечно легка – "...автор хорошо усвоил литературу предмета...". Современный богослов в религии приблизительно то же самое, что "литературовед" в искусстве: какой точно нужде они отвечают?

"Декан", "протопресвитер", "профессор": иногда (особенно, вот, в такое одинокое солнечное утро, как сегодня) острое чувство, что все это не имеет *никакого* отношения к моей личности. Между тем почти только этим определяются 90% моей жизни, общения с людьми и т.д. Снимая маску, "шокируешь" людей: как это он стал самим собой? А маской исправляется все: и то, что говоришь, и то, что делаешь. И как легко растворить личность в маске и полюбить эту маску...

Понедельник, 15 октября 1973

Два дня в Labelle, где почти все листья уже осыпались и все сквозит, и над всем ставшее таким огромным небо. Так хорошо, так прекрасно, чисто, глубоко!

Прочел там страшную книгу: воспоминания жены философа Паулуса Тиллиха о нем ("Время от времени"). Что это за ужас, дешевка, грязь, разложение! Чтобы почувствовать это разложение, достаточно прочесть: "Я стремилась сделаться человеком, но зажигали меня дух и разум. Благодаря Генриху (любовнику!) я стала настолько человеческой, насколько я только способна. Паулус – реализация моего космического сознания. Мы оба сталкивались с демонами. Я боролась со своим подсознанием, стремящимся разрушить мое разумное самосознание. Вероятно, спасало меня то, что всегда я боролась за свое собственное, сознательное "я", постоянно ощущая опасность превратиться в объект использования для разума другого человека... Паулус был космической силой...". Когда целая цивилизация начинает говорить таким языком, что делать? Я прочел в свое время много Тиллиха и помню его лично (экзаменовал меня в Union⁴⁷ в 53-54 гг.). И уже тогда думал: безбожное, демоническое богословие...

Хорошее письмо из Англии от Пети Скорера (его будут рукополагать 28-го в дьякона) о

⁴⁶ Гран Гиньоль (фр.) – парижский театр ужасов, популярный в первой половине XX века

⁴⁷ Union Theological Seminary – протестантская богословская семинария в Нью-Йорке

"неуловимом" в Православии и потому самом важном.

Продолжаю с огромным интересом читать книгу Р. Вугнес о Победоносцеве. Какая трагическая, какая уродливая судьба – не его только, но и всей России. Своеобразная прозорливость – в обоих лагерях – в отрицаниях и полная слепота – в утверждениях.

Среда, 17 октября 1973

Из дневника Бунина: "За мной семьдесят лет. Нет, за мной ничего нет".

Письмо от Н. Струве. Разговор по телефону с Бродским.

Кончил книгу о Победоносцеве: как все это страшно, как близко религия, "религиозные убеждения" – к демонизму. И как легко ею оправдать все что угодно. "Правота" Флоровского, "правота" Победоносцева. Это все та же "правота" – людей, никогда не усомнившихся в себе, правота гордыни, мелочности, страха.

Пятница, 19 октября 1973

Вчера письмо-приветствие из Парижа, подписанное Андреем, Петей, Репниным, Винтером, Нестеровым и Траскиным (кадеты). Чуть ли не половина нашего "первого взвода" в Villiers-le-Bel тридцать пять лет тому назад! Чарнецкий и Бекич умерли. Кирилл Радищев погиб. С Сережей Исаковым контакт оборвался. Другие всегда были "периферичны". Винтер и Нестеров прошли через все ужасы войны, плена, увечий. Все прожили такие разные жизни! А вот встреча – радость, пожалуй, неразрушимая. Коля Нестеров приписывает: "Приезжай ко мне в Берлин..."

"Проклятие труда". Но многие, если не большинство, погружены в бешеную деятельность, потому что боятся остаться лицом к лицу с жизнью, с собою, со смертью. Потому что им скучно, а скука – это царство дьявола. Скучно и страшно – вот они и оглушают себя деятельностью, идеями, идеологией. Но сквозь все в "мире сем" просачивается все та же скука и страх. Тональность нашей культуры: оптимистическая деятельность со зловонными испарениями страха и скуки. Без Бога – "все позволено", но это "все" – бездонно страшно и скучно. И потому первый долг в Церкви: отказаться от какого бы то ни было участия в самой логике, самой тональности этого мира. Мир нельзя "просвещать", не отвергнув его сначала en bloc. Но для этого в современном христианстве нужно много мужества и духовной свободы: не поддаться на удочку "понимания", "involvement", "служения миру".

Война на Ближнем Востоке. И все кричат, включая Папу, о "справедливом и прочном мире". Но откуда ему взяться? Его отродясь не было на земле. Арабы ненавидят евреев. Евреи ненавидят арабов. Вот это единственная правда, и между ними все больше и больше крови. А другие? По телевизии показывают, как американские танки евреев атакуют те же американские танки арабов. И этим все показано. И даже из телевизора идет удушающий запах нефти. А вся болтовня о "праве" – Израиля на существования, арабов на Палестину – все это чепуха. Евреи пришли и взяли, сказав: "Это наше право". А до них арабы пришли и взяли. А до них турки, Византия, Финикия и т.д. И у всех "права". А вопрос всегда и только в силе...

Суббота, 20 октября 1973

Вчера после обеда – у Нератовой, вдовы Анат. Ал. Абрамова-Нератова, иконописца и архитектора, скоропостижно скончавшегося этим летом. Они, а теперь она одна, начали иконостас для церкви в Вашингтоне (которую он строил), а из Вашингтона запросили о моем мнении. Я никогда не

любил особенно его икон (за исключением алтарной апсиды в Сиракузах). Вся философия Абрамова была построена на точном "списывании" с прошлого, с древности, списывании не только "что", но и "как". Органическое мировоззрение, непромокаемое для свободы, для "дыхания" и веяния Духа. Конечно, буду рекомендовать, тем более что было в нем (и есть в ней) что-то высокое, скорбное, бескомпромиссное. Но душа к этой иконописи не лежит.

Как изумительна была поездка по Taconic Parkway в солнечном пожаре осенней листвы. Я думал: почему мы знаем, что кроме "мира сего" – павшего и во зле лежащего – есть, несомненно есть иной, чаемый? Прежде всего через природу, ее "свидетельство", ее раненую красоту. И мне совершенно непонятно и чуждо искушение какого бы то ни было пантеизма. Все свидетельство, вся красота природы – об ином, о Другом.

Богословие изучает Бога, как наука изучает природу. Без "тайны".

Понедельник, 22 октября 1973

Вчера вечером ужин у Сережи и Мани с Бродским и его приятелем, художником Юрием Куперманом. Резкость суждений Бродского: "Keats – г....!, Пруст – единственный французский писатель..." Может быть, от внутренней неуверенности. Но мое впечатление: так же как Синявского, покойного Кишилова и всю эту "группу" тянет на некое психологическое "славянофильство", Бродского тянет на какое-то органическое место в западной культуре. Там – чуть-чуть перетянутое сопротивление. Здесь столь же перетянутое притяжение. И каждый и в России, и на Западе любит лишь то, что кажется ему "созвучным". Дал мне несколько новых стихотворений для "Вестника".

После ужина и глубоко в ночь – передача экстренного заседания Совета Безопасности. Какая это чудовищная фальшь!

До этого весь день за столом, в полной тишине и одиночестве (Л. у Сережи и Мани).

Четверг, 25 октября 1973

Магеридж, стр.133: "Больше всего грусти вызывает у меня, когда я оглядываюсь на свою жизнь, воспоминание – не столько о тех дурных, жестоких и эгоистических поступках, которые я совершал, о боли и обиде, причиненных мною тем, кого любил, – хотя и это сознание достаточно мучительно. Больше всего причиняет мне боль то, как часто я предпочитал худшее, третьесортное, даже "десятисортное", когда мог бы иметь первосортное... "Ничто так не красиво и чудесно, ничто так не постоянно свежо и удивительно, так полно сладкого и бесконечного упоения и восторга, как добро, – пишет Симона Вайль. – И ничто не скучно, однообразно и безотраднo так, как зло". Именно так; однако, как говорит она дальше, в случае воображения, сочинительства – все наоборот: "Вымышленное добро скучно и вяло, а вымышленное зло разнообразно и занимательно, привлекательно, глубоко и полно очарования...".

Пятница, 26 октября 1973

Магеридж об Андре Жиде: "Я отчетливо ощущал в Жиде какое-то зло, и не в том смысле, в каком зло присутствует в каждом человеке, а в определенной концентрации, могущей как привлекать, так и отталкивать. Это не позволило мне по-настоящему оценить его общество... Сегодня не разрешается верить в зло, или же, если зло допускается, оно "возвышается" как имеющее какие-то собственные, неотъемлемые творческие способности, красоту, радость. Однако в Жиде я наблюдал ужасное опустошение зла, полное отчуждение от принципа добра во всем творении; казалось, он был заключен в темноту, как в темницу, как некто ходящий по незнакомой комнате и напрасно ищущий

выключатель, или дверь, или окно... Когда я вспоминаю его серое, холодное лицо и его рафинированную речь, возникающую отсюда как прозрачный источник из каменистой почвы, мне больше, чем когда-либо кажется уместным, что дьявол был падшим ангелом..."

Четверг, 1 ноября 1973

Все эти дни завален работой, заседаниями, собраниями. Но чувство внутреннего спокойствия и бодрости, и это несмотря на все неприятности. Может быть, потому, что на глубине души – писание "Исповеди и Причастия" и эти мысли вдохновляют...

Вчера, по просьбе Russian Institute в Колумбийском университете прочел большую диссертацию какой-то Bernice Roenthal о Мережковском. Умно и дельно написано. Боже мой, сколько было в этом "серебряном веке" – легкомыслия, дешевых схем, ложного максимализма. Да, возможно, "веял над ними какой-то таинственный свет, какое-то легкое пламя...". Но сколько и соблазнительного!

Думал недавно: в сущности, наше время, наши "установки" знают четыре позиции, четыре типа отношения ко всему, четыре мироощущения. Это (слева направо) – радикал, либерал, консерватор и реакционер. Но что делать тому, кому одинаково противны, более того – глубоко омерзительны и узколобый фанатизм радикала, и бескостное всепонимание, всеприятие и поверхностность либерала, и глупость консерватора, и нравственная подлость реакционера?

Пятница, 2 ноября 1973

Вчера вечером – "Дневник" Katherine Mansfield, правда, не очень вчитываясь. У меня чувство, что я чего-то не понимаю, не слышу в англосаксонской "тональности". С одной стороны, она как будто гораздо "духовнее" французской, с другой же – именно сама эта "духовность" меня как-то не убеждает. Что-то вроде тумана, и неясно, есть ли за ним что-то. В дневнике убедительны ее болезни, страдания физические. И как-то не трогают ее искания (завершившиеся, увы, Гурджиевым и Fontaineblau!). Мне кажется, но, может быть, я ошибаюсь, что англосакс легко поддается на дешевку, и именно духовную дешевку. Мир духовного сектантства. Англосакс слишком легко отказывается от рационализма, не платит за это слишком дорого. Но потому и интуиция его, и даже мистика тоже не слишком дорогие...

Вечером же, может быть в виде противоядия, – несколько страничек из "Воспоминания эготиста" Стендаля. Здесь – мир, как будто вообще лишенный вертикального измерения, но зато и реальный. Стендалевского человека не возьмешь на удочку "сублимации" и лукавого оправдания всяких порывов религиозной двусмыслицей. Но этот скепсис в отношении мира, это называние всего своим точным именем, это декартовское опровержение иллюзии, словесного тумана и, потому, обмана – не ближе ли оно к христианской интуиции мира, чем неглубокая мистика, приведшая несчастную, замученную Katherine Mansfield к страшной духовной подделке Гурджиева?

Я глубоко убежден, что подлинное религиозное чувство абсолютно несовместимо ни с каким "украшением", ни с какими благочестивыми словесами. И когда христианство становится украшением, а не красотой, благочестием, а не верой, оно выдыхается.

Воскресенье, 4 ноября 1973

Двадцать семь лет с дьяконского посвящения, на rue Daug, митрополитом Владимиром. Самой службы почти не Фирсовским на Подворье. Помню серый, осенний день. Служили с митр. Владимиром: о.Киприан, о.Николай Сахаров, о.Тихомиров (водил меня кругом престола), о.Уваров. В алтаре был Фирсов – все умерли, умер – в прошлом году – и о.Фирсовский.

В субботу завтрак с Е.Н.Шуматовой, на берегу, Long Island. Изумительный день. Солнце, чайки, цвет воды. Какое-то сплошное ликование! На обратном пути заехали в Roslyn на кладбище, на могилу [родителей Льяны]. И это как-то тоже было в том же радостном ключе.

Сегодня такой же день. После обеда прогулка с Льяной по Крествуду.

Вчера и сегодня – исповедники. Сколько грусти, одиночества, тупиков, жизненных неудач.

Весь день за столом с ужасом от количества того, что нужно сделать. Почему всегда этот ужасающий завал?

Среда, 7 ноября 1973

Грустные размышления о Церкви после заседаний в понедельник с Митрополитом и "администрацией". Мучительный вопрос: нужно ли это постоянное участие в усилиях, от которых, знаю, не придет "обновление" – а оно одно только и нужно. Что сейчас – время пророчества и "кризиса" или же смиренного "приятия" и бесконечного терпения? Можно ли в старые меха влить новое вино? И нужно ли?

Вчера в Radio Liberty⁴⁸ В.К. Завалишин: "По Нью-Йорку ходят слухи, что вы переходите в зарубежную юрисдикцию!" (Это все из-за моего письма о патриархе Пимене в "Новом русском слове".) Я: "Скажите им, что слухи о моей смерти сильно преувеличены".

Страшное желание – и какое давнишнее! – уйти от всего этого. Завтра – именины папы и сорок лет со дня смерти (1933) ген. Римского-Корсакова. Моя первая сознательная встреча со смертью. Ужасный запах, когда мы несли его на простыне (из-за узости коридора) в церковь для положения во гроб.

Суббота, 17 ноября 1973

Всю неделю – с понедельника до четверга вечером – в Питсбурге на Всеамериканском Соборе. Страшная усталость, с одной стороны, а с другой – какое-то нечаянное, почти чудесное просветление. Еще раз прикосновение к тайне Церкви, и это не риторика, не преувеличение. Ехал на Собор с унынием, "безочарованностью": что хорошего из всего этого может выйти? И вот – в конце, после трех дней страшного напряжения (я опять председательствовал), вдруг ясно: жива Церковь несмотря ни на что, и соборные очень "маленьких" людей в нее преображаются. Чудные службы. Сотни причастников, и главное, конечно, это какое-то общее вдохновение... Почти мистический парадокс нашей Церкви: она "держит" епископов (уставом, структурами, невозможностью для них, как раньше, безответственного произвола, оправдываемого "архипастырской" властью), но потому и сама "держится" ими: без них невозможно... Все это пережил очень остро, и все еще держится приподнятое настроение, созданное Собором. Чудо Святого Духа в американском Hilton'e!

До этого перечитывал (взял случайно с полки, но потом, как всегда, убедился, что здесь неизменно действует некий инстинкт: "попадается" то, что где-то, на глубине, нужно) книгу Р. де Дуайе де Сент-Сюзанн "Альфред Луази: Между верой и неверием". Все это подсознательная работа мысли о богословии, о первичности *опыта*. Автор хорошо показывает, что драма Луази не сводится к конфликту веры и науки, как всегда думают, как в начале думал и он сам. Он отверг рациональное богословие, а Церковь ему сказала, что это богословие и есть вера. Между тем – "с полной ясностью и воодушевлением он подтвердил абсолютную автономность религиозного чувства, которое

⁴⁸ Радиостанция "Свобода".

проявляется не в рациональной, не в чувственной категории, а в реальности, постулирующей иную реальность, которая возникает в человеке, являет себя ему, но не движет им, в то время как без нее все теряет смысл" (стр.177). ... "насколько ему трудно было переносить действующий в Церкви интеллектуальный распорядок, настолько легко ему дышалось в духовном климате Церкви". Это я могу сказать – с соответствующими, необходимыми изменениями – о самом себе.

В Питсбурге, в перерывах, и чтобы разрядить нервное напряжение Собора (в таких случаях нужно погружаться во что-то совершенно непричастное к актуальности, в которой живешь), читал Поль Клодель "Воспоминания экспромтом" (составитель Жан Амруш): все тот же "духовный климат Церкви", какое глубинное здоровье и целостность христианства. И как вне его, или в его всевозможных подделках, все превращается в какую-то соблазнительную, тусклую и безрадостную путаницу.

Стр.218: "...вести дневник, смотреть на себя со стороны – это один из способов, приводящих к совершенной фальши. Греки говорили: "Познай себя". Нет, это абсолютно неверно, мы не знаем себя. Никто не знает себя, и в этом-то и заключается самый волнующий момент, что человек непредсказуем и что достаточно тех или иных обстоятельств, чтобы проявились те или иные способности, о которых никто не имел никакого понятия. Это гораздо более восхитительно, чем познавать себя! Что мы знаем? Мумию, что-то ложное, совершенно искусственное! Это лишено всякого интереса, в то время как ощущать в себе предрасположенность к массе удивительных вещей, которые могут неожиданно произойти, и быть готовым воспринять эти вещи в полной незаинтересованности самим собой..."

О буддизме (стр.146): "...метод заключается в том, что мудрец последовательно изгоняет из себя дух восприятия силы и чистого пространства и даже восприятие самого восприятия, доходит в конце концов до небытия и впадает в нирвану. И людей удивляет это слово. Я же нахожу в этом идею небытия в сочетании с наслаждением. Это и есть конечная и сатанинская тайна, молчание сотворенного, полностью ушедшего в себя, кровосмесительный покой души, почивающей на своей глубинной инаковости"

В пятницу 9-го – лекция в Греческой Семинарии в Бостоне, а потом вечер у милейших Померанцевых.

Письмо от Н. Струве (о стихах Бродского). Письмо от о. Николая Бер, из Англии, – в ответ на мой ответ епископам о литургической практике (Quarterly).

И все тот же золотой осенний свет, то же небо, та же заливающая сердце радость от всего этого.

Пятница, 23 ноября 1973

Книга Д. Панина "Записки Сологодина". Все тот же вопль: вот что происходит, происходило все эти годы внутри "цивилизации"!.. Ужас при мысли, что Запад умирает – духовно. Моральное безразличие. Равнодушие. Страх. Подлость.

Вчера -Thanksgiving Day⁴⁹ у Ани и Тома, куда съехались все дети и внуки: 15 человек за столом, включая маленького Сашу. После обедни поехали на могилу Teillhard de Chardin в St. Andrew on the Hundson. Старую иезуитскую семинарию продали... Американский институт кулинарии! Кладбище осталось: ряды одинаковых могил отцов иезуитов, а среди них – ничем, абсолютно ничем не выделяющаяся могила Teillhard'a! Было пусто, тихо, солнечно. Поздняя осень. И это могила человека,

⁴⁹ День благодарения (официальный праздник в память первых колонистов Массачусетса, отмечаемый в последний четверг ноября)

вызвавшего столько и радости, и страстей. Никогда этого посещения не забуду. Оттуда на другую могилу – Рузвельта в Hyde Park. И тоже очень сильное впечатление. Довольно скромный, дворянский дом. Тот совсем особый уют, что живет в таких семейных городах, в этих парках. Музей: собственноручное письмо Сталина. И сразу пахло зловонием этой кошмарной, дьявольской казенщины, лжи, тупости. Этого "аристократ" Рузвельт не понял, не знал, на что он обрекает миллионы людей, отдавая их Сталину. Оттуда, наконец, все по тому же Гудзону – во дворец Вандербильта, построенный им в 1896 г., отданный народу в 1940, после смерти миллиардера. Точно – полвека этой американской "легенды". Тяжелая роскошь всего этого, размах, непомерность. Красота всегда с обрыва над Гудзоном.

Поль Клодель: "Я не стал христианином для того, чтобы наслаждаться, так или иначе, религиозным чувством, своего рода мистическим сладострастием. Я всегда этого терпеть не мог. Я не для того стал христианином: у меня в мыслях никогда не было наслаждаться Богом, получать от этого какое-либо удовольствие" ("Воспоминания экспромтом", стр.124).

Ждешь праздников, думаешь: вот спокойно, блаженно поработаю. Приходит праздник: вот такой абсолютно пустой день, как сегодня. И ничего не делаешь. Ужасная неохота писать. Собираю листья в саду. Перечитывал свою Литургию.

Понедельник, 26 ноября 1973

Вчера после обедни у нас И.О. из Оксфорда, милейшая и симпатичнейшая. Разговоры сплошь об их оксфордской церкви, о греках, о священниках, о той, одним словом, "церковности", к которой я все сильнее испытываю настоящую аллергию. Как можно всем этим жить? Да еще с таким упоением. Потом, по хладнокровном размышлении, понимаешь, конечно: нужна церковь, нужна вся эта черная работа и неизбежно все это "человеческое, слишком человеческое...". Но остается мучительный осадок и привкус. Большая религиозность. И все эти побегы – кто в Византию, кто в "Добротолубие", кто на остров Патмос, кто в иконы... Православие сейчас – это что-то вроде супермаркета. Каждый выбирает, что хочет: эпоху, стиль, identification. Невозможность быть самим собой. Все "стилизовано" – при отсутствии стиля, который всегда создает единство. Грустное чувство: то, что мне в Православии кажется единственно важным и ценным, как-то мало чувствуется другими. А вся историческая чешуя привлекает и принимается с восторгом. "Дети, берегите себя от идолов!" Но иногда кажется, что само Православие заросло идолами. Любовь к прошлому всегда ведет к идолопоклонству, а только этим прошлым или, вернее, множеством "прошлых" православные часто живут. В них прочно сидит старообрядец.

Среда, 28 ноября 1973

Вчера – полуторачасовой разговор с Н. в Harvard Club о "воссоединении" с карловчанами. Разговор, конечно, бессмысленный и бесполезный, но наведший все на те же размышления: о Церкви, о Православии, о той мелочной и даже злобной каше интриг, самолюбий, амбиций, эгоцентризм, в которой приходится в Церкви жить. Н. мелкий прохвост, не заслуживающий внимания. Но то, что такой человек мог "процвести" у карловчан, – крайне показательно. Делец, аферист и притом барон Мюнхаузен... "Зарубежная Церковь" – это почти символ той болезни, что характеризует современное Православие, того идолопоклонства, которое, увы, привлекает людей в "религии".

В прошлом году в эти дни Нью-Йорк весь сиял и светился рождественской иллюминацией. Вчера на Пятой авеню, под дождем – темно, темнее, чем в обычные дни. Погасли небоскребы, затемнены витрины. Энергетический кризис.

Накануне вечером – перечитывал Чехова: "Душечка", "Архиерей" и т.д. Перечитывал с огромным наслаждением.

Перевоорот в Греции – и опять по телевизии какой-то архиерей в омофоре приводит к присяге нового диктатора. На Кипре Макарий низложил трех архиереев, а они – его. Споры о старом и новом стиле! Закрывать или не закрывать Царские Врата! Какой ужас. Какая все это жалкая карикатура. Нам говорят: святые. Но святые есть всюду и везде – в любой религии, любой идеологии. Они как раз, в сущности, "ничего не доказывают". Христианство не может быть манихейством. Демонизм святости без любви, а именно к такой святости стремится современный "духовный" человек.

От всего этого иногда страшное желание: быть свободным для жизни. А эта жизнь – жена и семья (времени нет), друзья (времени нет), природа (времени нет), культура (времени нет), и все это именно от Бога – дар, и к Богу – освящение, благодарность, путь, причастие... Жить так, чтобы каждый отрезок времени был полнотой (а не "суетой") и – потому что полнотой, тем самым – и молитвой, то есть связью, отнесенностью к Богу, прозрачностью для Бога, давшего нам жизнь, а не суету.

Пишу все это в своем кабинете, в семинарии, в тот единственный за весь день час – между утренней и лекциями, когда я почти физически ощущаю отсутствие суеты. За окном очень темное ноябрьское утро и все тихо. А потом до вечера – сумбур, а вечером – нервная усталость, невозможность "засесть" за что бы то ни было серьезное...

Понедельник, 3 декабря 1973

Книга S. Sulzberger (иностраный корреспондент New York Times) – ""Век посредственности". Семьсот страниц – о встречах и разговорах буквально со всеми вершителями судеб мира за последние годы: де Голль, Аденауэр, греческие полковники, Насер и т.д. Больше всего поражает то, что высказывания всех этих людей, держащих в своих руках жизнь и смерть миллионов людей, в сущности на том же уровне, что и любая болтовня о политике людей, читающих газеты. Сплошной guesswork, конъюнктуры, ошибочные предсказания, parti-pris и личные амбиции. У всех без исключения! Под конец мне просто стало страшно: впечатление такое, что очень самолюбивые люди вслепую играют в какую-то азартную, опьяняющую их игру, завися в своих решениях от других таких же слепых людей, снабжающих их "информацией". Жажда власти и страх: больше ничего. Это мир, в котором мы живем. Панин в своей книге пишет о мобилизации "людей доброй воли". Но в том-то все и дело, что к власти приходят не они, а маньяки власти вроде де Голля (какая, в сущности, трагическая фигура!). Такая книга – вся о политических приемах, завтраках и интервью – куда страшнее, чем Кафка. Политически мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. И разница только в том, что современные чингисханы все время говорят в категориях "свободы", "справедливости", "мира", тогда как их предшественники честно говорили о власти и славе. И потому были гораздо "моральнее".

А пока они болтают и обсуждают равновесие сил, страшная, бездарная, кошмарная советчина побеждает: 1920 год: большевизм в России, его можно было смести и ликвидировать тремя дивизиями. 1945 год: он завоевывает пол-Европы и весь Китай, то есть полмира. 1973 год: он завоевывает Ближний Восток. Средиземное море, крепко держит в своих руках Индию. Де Голль вышибает из Франции американцев: сейчас только и говорят, что о "финляндизации" Европы. А "свободолюбцы" все волнуются о Греции, Испании и демократии тут и там... Что за идиотская слепота. И теперь гимны detente⁵⁰, то есть фактически еще одной, может быть последней, капитуляции...

Мне кажется иногда, что "новое средневековье" – в советско-китайском обличье – неизбежно.

⁵⁰ разрядке международной напряженности

Современный мир – "свободный" в ту же меру, что "тоталитарный" – больше всего ненавидит иерархию, элиту. Потому что ненавидит всякую "вертикаль", само ощущение высшего и низшего. Мир возлюбил "низшее", но совсем не за "страдания", не из-за справедливости, а из подсознательной или сознательной ненависти к "высшему" – всякому без исключения, высшему. Диктатор – это приемлемо, потому что он "низший". в нем каждый узнает себя. Он всегда снизу (народ!), а не сверху. Христа возненавидели, в сущности, только за то, что Он "Сына Божия себе сотвори...", что Он – "низший", бездомный, смиренный – все время говорил, что Он сверху, а не снизу. Де Голль только потому и интересен, fascinant, что он – последний! – уверял себя и всех, что он "сверху". Только сам-то он знал – и в этом его трагизм, – что его "сверху" – "la France" – в психологическом контексте нашей эпохи отдавало простым комизмом. И потому в политике он был, в сущности, мелким интриганом и больше ничем. "Последний из гигантов" – замечает Sulzberger по поводу его смерти. По самочувствию, по знанию, что власть, настоящая власть – всегда "сверху", да, на его похороны съехались решительно все, от Никсона до Chou en Lai: все знали, что в его лице в мире снова промелькнула власть "сверху". Но это была эмоция, почти эстетическая взволнованность: реально в это никто не верит, и психологически де Голль не сделал для Франции ничего, и сам это сознавал.

"Властью, от Бога мне данною...": когда это исчезнет в мире, мир превратится в концентрационный лагерь. Он и сейчас уже молится на метафизических пошляков а la Кастро. Смак, с которым западные люди говорят о массах! Прав был Вышеславцев: "трагизм возвышенного и спекуляция на понижение".

Два дня во Флориде: лекции у англикан. Длинные часы свободы и одиночества в отеле. Иное солнце. Пальмы. Чувство первозданной красоты мира, неистребимого счастья. То же самое в Dayton, Ohio, на мариологической конференции (в субботу). Вчера, после обеда, блаженный, солнечный день. Собирали листья в саду. Читал. "Ничего не делал". – "Кто вам сказал, что человек должен что-то сделать на этой земле?" Сегодня: все в иное. Красный, морозный восход солнца.

Пятница, 7 декабря 1973

Вчера праздновали – по новому стилю – святителя Николая. А по старому – Александр Невский, мои именины. Вспомнил, как в этот день, должно быть в 1933 или 1934 году, я проснулся в дортуаре нашего "первого взвода" и нашел на табуретке около кровати подарки – ручку Waterman – от Кирилла Радищева. Помню цвет этой ручки, ее ощущение в руке. В этот же день – уже в институтские годы – 42-43? – рукополагали на rue Daru о. Сергия Мусина-Пушкина. Почему некоторые дни, со всеми их подробностями – погодой, количеством света и т.д., так врезаются в память, так остаются в ней?

Серо. Морозно. Тихо. Наслаждаюсь этой тишиной после трех бурных дней.

Понедельник, 10 декабря 1973

Вчера проповедовал в епископальном соборе св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке "диалог" с Мортонем. Слушая мой любимый англиканский гимн "Да молчит всяка плоть человека...", вспоминал первые поездки в Англию – в 1937 и 1938 гг., особенно недели, проведенные в Стемфорде, когда ходил каждый день в очень high church⁵¹ к обеду. А в лицейские годы каждый день, идя по rue Legendre в Lycee Carnot, заходил на две минуты в St. Charles de Monceau. И всегда в огромной, темной церкви у одного из алтарей шла беззвучная месса. Христианский Запад: это для меня часть моего детства и юности, когда я жил "двойной" жизнью: с одной стороны – очень светской и очень русской, то есть эмигрантской, а с другой – потаенной, религиозной. Я иногда думаю, что именно этот контраст –

⁵¹ высокую Церковь (англ.). Высокая Церковь – течение в англиканстве, тяготеющее к англо-католицизму.

между шумной, базарной, пролетарской rue Legendre и этой, всегда одинаковой, вроде как бы неподвижной мессой (пятно света в темной церкви), один шаг – и ты в совсем другом мире, – что этот контраст изнутри определил мой "религиозный опыт", ту интуицию, что в сущности уже никогда меня не оставляла, – сосуществования двух разнородных миров, "присутствия" в этом мире чего-то совершенно, абсолютно иного, но чем потом все так или иначе светится, к чему все так или иначе относится, Церкви как Царства Божия "среди" и "внутри" нас. Rue Legendre не становилась от этого – и в этом все дело, все мое внутреннее отталкивание от чистого спиритуализма – ненужной, враждебной, несуществующей. Напротив – говоря очень приблизительно, – она приобретала как бы новый шарм, но понятный, очевидный только мне, знавшему ее "отнесенность" к этой fete a l'ecart, к этому "присутствию", являемому в мессе. Мне все делалось страшно интересным: каждая витрина, лицо каждого встречного, конкретность вот этой минуты, этого соотношения погоды, улицы, домов, людей. И это осталось навсегда: невероятно сильное ощущение *жизни* в ее телесности, воплощенности, реальности, неповторимой единичности каждой минуты и соотношения внутри ее всего. А вместе с тем интерес этот всегда был укоренен как раз и только в отнесенности всего этого к тому, о чем не столько свидетельствовала или напоминала беззвучная месса, а чего она сама была присутствием, явлением, радостью. Но что такое, в чем эта "отнесенность"? Мне кажется, что именно этого я никак не могу объяснить и определить, хотя, в сущности, только об этом всю жизнь говорю и пишу (литургическое богословие). Это никак не "идея": отталкивание от "идей", все растущее убеждение, что ими христианства не выразишь. Не идея "христианского мира", "христианского общества", "христианского брака" и т.д. "Отнесенность" – это связь, но не "идейная", а опытная. Это опыт мира и жизни буквально в свете Царствия Божия, являемого, однако, при посредстве всего того, что составляет мир: красок, звуков, движения, времени, пространства, то есть именно конкретности, а не отвлеченности. И когда этот свет, который только в душе, только внутри нас, падает на мир и на жизнь, то им уже все озарено, и сам мир для души становится радостным знаком, символом, ожиданием. Отсюда моя любовь к Парижу, моя внутренняя нужда в нем. Она оттого, что именно в Париже, в моем парижском детстве этот опыт был мне дан, стал моей сущностью. И теперь, когда я там не живу, когда у меня там нет никаких дел и обязанностей, он стал для меня, каждый раз, погружением в этот изначальный опыт, его как бы возобновлением. И мне все кажется, когда я один, без конца, просто хожу по его улицам, что он сам, больше чем что-либо другое в мире, возник, вырос из этого опыта, что тут тайна христианского мира, родившегося, как культура, как стиль, как основной опыт, как раз из опыта "отнесенности". В Риме (который я исходил вдоль и поперек осенью 1963 года) все распадается на "красоты" всех эпох и культур, все напоминает – но прошлое и его бренность. В Афинах мне всегда чудится ненавистное мне язычество, та самая "священная плоть", о которой вопил Мережковский и которая и вызывает, как реактив, чистый спиритуализм, манихейство или же тот священный "православный быт", который есть как бы обратная сторона языческой "священной плоти". Только в Париже, в самой его "ткани" и стиле, я ощущаю, почти в чистом виде, эту соотнесенность, ту меру, которая одновременно есть и граница, грань. Граница, сама собою как бы указывающая на то, что по ту сторону ее, на существование, присутствие другой стороны. В Риме есть трагизм и есть веселье. В Париже есть печаль и есть радость, и они почти всегда сосуществуют, пронизывают одна другую. И красота Парижа – из "отнесенности". Она не самодовлеющая, не торжествующая, не мироутверждающая, не "жирная". В сущности такая, какой только и может быть красота в этом мире, в котором был Христос.

Кончил сегодня толщенную книгу Gay Talese "Царство и власть" – о "Нью-Йорк Таймс". Как в книге Sulzberger'a (The Age of Mediocrity), поражает больше всего и в этой – сила властолюбия. Непрекращающаяся, звериная борьба за власть, за успех. От этого чтения делается просто страшно. В каждом, самом даже маленьком "мирке" – эта борьба движет всем, все собою определяет и все отравляет. Борьба за власть – квинтэссенция падшего мира. Чтобы спастись, нужно бежать власти.

Какой бы то ни было, всякой... видимой и невидимой (например, власти над душами). Я готов думать, что в этом мире всякая власть – от дьявола. Как человечны люди, никакой власти не имеющие и ни на какую власть не претендующие.

Среда, 12 декабря 1973

Вчера – день примечательных встреч. В час – завтрак с о.Георгием Граббе в ресторане отеля Commodore [о возможном соединении с Зарубежной Церковью]. Эта встреча, подготовленная "контактами" с Н.Н., тем не менее, неизмеримо приятнее, чем я, откровенно говоря, ожидал. Тот стиль людей "нашего круга", который все делает неизмеримо легче: знаешь, что не нарвешься на хамство, на грубость. Мы быстро соглашаемся, что препятствия не только к единству, но и к простой detente⁵² огромные. Соглашаемся с Талейраном, что политика – это искусство возможного. И все же что-то определенно "сдвинулось", ибо разговор идет не о дьявольщине Патриархии, не об "апостазии"⁵³ и вообще не о всей привычной "зарубежной" риторике, а о том, как достичь какого-то соглашения без – с одной стороны – совершенно невозможного отказа от автокефалии, а с другой – столь же невозможного отказа от идей Русской Зарубежной Церкви. Договариваемся и до agenda⁵⁴: Москва, "чистое Православие", полемика. Договариваемся, главное, продолжать пытаться "договариваться". Увидим. Теперь нужно будет сильно думать о "формуле". О.Граббе – очевидно не фанатик, что я всегда знал (об о. Константине Зайцеве он говорит: "Это интеллигент, так до конца никогда не воцерковившийся"). Но он консерватор в чистом виде, в смысле нечувствия проблем, кроме формальных (канонических, организационных). Чистое Православие, ему это несомненно, включает всенощную – и точка. "Проблема всенощной" – очевидно уже склонение в модернизм и т.д. "Американцев" – то есть карпатороссов, галичан и пр. – нужно просто учить русскому Православию, то есть в конце концов некоему бытовому стилю. Все это – мои формулировки, но они точно соответствуют психологическому типу о.Граббе. В этом смысле у карловчан действительно есть стиль – а не только "стилизация", но это делает всякий разговор с ними столь трудным, ибо стиль исключает возможность просто понять, услышать то, что вне этого стиля и ставит его под вопрос. Горе, однако, в том, что если для людей поколения Граббе это органический стиль, то для более молодых, попадающих в их орбиту, это "стилизация", неизбежно ведущая к надрыву и нервозу. Может быть, каким-то внутренним чутьем он именно это и чувствует. Не знаю. Но от встречи и беседы не осталось никакого неприятного чувства, никакого осадка.

Из Commodore еду в мизерабельный Hotel Latham, где ждет меня милейший Миша Меерсон, недавно приехавший из Парижа. Я встретился с ним в Париже в июне. Провел несколько часов с ним и с покойным Колей Кишиловым на съезде РСХД. Необычайно светлая личность, но, как и все "новые", Меерсон одержим идеей "миссии", у него свои проекты (центр, журнал и т.д.). Русский мальчик, вносящий поправки – уверенной рукой – в карту звездного неба. Это не самомнение, не гордость и даже не самоуверенность. Это плод подполья, необходимости годами и в одиночестве, в некоем безвоздушном пространстве, вынашивать идеи. Но порыв, чистота, идеализм – поразительные.

Перечитал написанное в понедельник и в свете этого еще раз ощутил смысл того, что в самом деле меня всегда как бы удивляло – с самого детства: странное удовольствие, почти счастье от созерцания, от ощущения мира "со стороны". Именно не просто "ухода" (какое мне, мол, дело!), не равнодушия, а внутреннего отрешения. В детстве – пустота корпуса в субботу и в воскресенье, когда мы не ездили в отпуск. Пустой класс. Пустая церковь. На прогулке в Экуенский лес: оказаться близко от других, но одному и вдруг ощутить, с необычайной силой пережить вот этот лес, эти пустые,

⁵² разрядке напряженности

⁵³ Apostasy (англ.) – вероотступничество, богоотступничество

⁵⁴ повестке дня, программе

мокрые ветки на фоне серого неба, все то, что заглушается людьми, но что живет своей особой жизнью, наполненностью каждой минуты какой-то нераздробленной полнотой. Дальше – в эпоху лица: воспоминание о пустых улицах, о фонарях – между лицеем в субботу вечером и всенощной на rue Daug. Десять минут, как бы всего лишь и только "функциональных" – дойти от лицея до церкви, не имеющих никакого самостоятельного смысла или "ценности". Но почему эти "функциональные" минуты остались и живут в памяти гораздо сильнее и ярче, чем то, что связывали? Сами стали несомненной ценностью, тайной радостью?

Четверг, 13 декабря 1973

Вчера вечером в Princeton Club обед с греками: архиепископ Иаковос, два его vicaria, три священника. Наш митрополит – хозяин. Все было дружно, даже приторно, но думалось – вот в Церкви торжество дипломатии. Встречаемся с задней мыслью: как поймать другого. После таких "дипломатических" встреч всегда осадок грусти. Обед полагал начало "двусторонним переговорам (!)". Буквально как Израиль и арабы.

Продолжение предыдущего: до сего дня ехать куда-нибудь для меня не только так же важно, как доехать, но в сознании отделяется в нечто самостоятельное и самоценное, без отношения к тому, куда едешь.

Пятница, 14 декабря 1973

"Христос никогда не смеялся". Думал об этом вчера во время рождественской вечеринки в семинарии, где смехом, очень хорошо сделанными сценами из семинарской жизни как бы "экзорцировались" все недоразумения, все испарения нашего маленького и потому неизбежно подверженного всяческой мелочности мирка. Разные качества смеха. Но есть, несомненно, смех как форма скромности. Восток почти лишен чувства юмора – отсюда так много гордыни, помпезности, склонности воспринимать все трагически. Меня всегда утомляют люди без чувства юмора, вечно напряженные, вечно обижающиеся, когда их низводят с высот, "моноидеисты". Если "будьте, как дети", то нельзя без смеха. Но, конечно, смех, как и все, – пал и может быть демоническим. По отношению к идолам, однако, смех спасителен и нужен больше, чем что-либо другое.

Вчера, в сумерках, длинный разговор с Л. о детстве, об Андрее, о нашей с ним жизни до свадьбы. Как, в сущности, мы были тогда далеки друг от друга! И как потом стали близки. Когда я вспоминаю свою жизнь, то всегда больше всего ощущаю ее вечный "полицентризм". Ни в один из "миров", в которых я одновременно жил, я никогда не "уходил с головой", ни с одним внутренне до конца себя не отождествлял, всегда имел другой, в который каждую минуту можно было уйти. При этом я знаю, что я никогда не был одиночкой, а напротив – крайне общественным существом. Но мне всегда была очевидной невозможность уйти во что бы то ни было именно "с головой". Голова оставалась свободной и отрешенной. Так было уже в корпусе. Я принимал – без всяких оговорок – тот мир, который он нам передавал: военный, русский, романтически-геройский. И одновременно "уходил" в тогдашний другой полюс – к о.Шимкевичу, в разговоры о Подворье, о Церкви, о богословии, и он даже раздражался на меня – зачем мне нужны все эти детали; а для меня они были жизнью. И так было потом всегда – и в эпоху лица, и "светской жизни" – вечеринок на rue de la Faisanderie, и Подворья, и Движения⁵⁵. Словно вся прелесть каждого "мира" в том как раз, что из него можно уйти, что есть, цитируя Набокова, – "другое, другое, другое..." Или, по Green'y, "tout est ailleurs". Но это никак не "бездомность" и не "богема" – в сущности я обеих не выношу. Я обожаю дом, и для меня уехать из него с ночевкой всегда подобно смерти, возвращение кажется бесконечно

⁵⁵ Имеется в виду Русское студенческое христианское движение

далеки! Наличие в мире *дома* – всех этих бесчисленных освещенных окон, за каждым из которых чем-то "дом" – меня всегда наполняет светлой радостью. Я, как Мегре, почти хотел бы в каждый из них проникнуть, ощутить его единственность, качество его жизненного тепла. Всякий раз, что я вижу мужчину или женщину, идущих с покупками – значит, домой, я думаю – вот он или она идет *домой*, в свою настоящую жизнь. И мне делается хорошо, и они делаются мне какими-то близкими. Больше всего меня занимает – что делают люди, когда они "ничего не делают", то есть именно *живут*. И мне кажется, что только тогда решается их судьба, только тогда их жизнь становится важной. "Мещанское счастье": это выдумали, в это вложили презрение и осуждение активисты всех оттенков, то есть все те, кто, в сущности, лишен чувства *глубины* самой жизни, думающих, что она всецело распадается на *дела*. Великие люди – де Голль, например, – на деле "маленькие" люди, и потому от них так мало остается, или, вернее, интерес, после их ухода, все больше и больше сосредотачивается на "маленьком" в них, на их *жизни*, а не на их делах, которые оказываются в значительной мере призрачными! "Он не имел личной жизни", – говорим мы с похвалой. А на деле это глупо и грустно; и тот, кто не имел личной жизни, в конце концов никому не нужен, ибо людям друг от друга и друг в друге нужна *жизнь*. Бог дает нам *Свою жизнь* ("чтобы имели мы жизнь за жизнь" – Кавасила), а не идеи, доктрины и правила. И общение только в жизни, а не в делах. Поэтому дом и не противоречит "tout est ailleurs", который противоречит почти всякой деятельности. Дома, когда все "сделано" (пришел с работы...), воцаряется сама жизнь, но она-то и открыта одна – "другому, другому, другому". Христос был бездомен не потому, что презирал "мещанское счастье", – у Него было детство, семья, дом, а потому, что Он был "дома" всюду в мире. Его Отцом сотворенном как дом человека. Только "дому" (не государству, не деятельности и т.д.) можно, по Евангелию, сказать: "Мир дому сему". Мы не имеем "зде пребывающего града", то есть не можем отождествить себя ни с чем в мире, потому что все ограничено и всякое отождествление становится – после Христа – идолопоклонством, но мы имеем *дом* – человеческий и дом Божий – Церковь. И, конечно, самое глубокое переживание Церкви – это именно переживание ее как *дома*. Всегда то же самое, всегда и прежде сама *жизнь* (обедня, вечер, утро, праздник), а не деятельность. "Церковная деятельность", "церковный деятель", "общественный деятель" – какие все это, в сущности, грубые понятия и как от них – ни света, ни радости...

Понедельник, 17 декабря 1973

В пятницу – чудный вечер с внуками в Wappingers Falls, а Ани и Тома, где я ночевал и где на следующее утро была архиерейская служба с двумя хиротониями наших студентов. После того как я в то утро написал о доме и о жизни, вечер этот был как бы исполнением написанного, его очевидностью.

Вчера после обедни и до шести часов вечера у нас – Миша Меерсон, и одна нескончаемая беседа – о России, о Православии, о Западе и т.д. Из него просто льются свет и чистота. Для меня особенно радостно – это наше согласие в том, в чем я так остро чувствую свое одиночество в Православии: в отталкивании от тех его "редукций", что нарастают на наших глазах и в России, и вне ее, от этого обожествления – будь то "византизма", будь то "русизма", будь то "духовности" и т.д. Согласие в формуле христианства: "персонализм" и "историчность", их антиномическая сопряженность. Согласие в отрицании традиционного отождествления православности прежде всего с крестьянством, с природой, с "органичностью". Именно крестьянство растворило христианство в язычестве. Чудный разговор: удивительно, что только русские "оттуда" сохранили тайну этой беседы, этого разговора как действительного общения.

Весь день вчера – снег. Сегодня все белое, неподвижное, морозное. Сегодня нашему маленькому Саше – один год!

В свете вчерашнего разговора с Мишей думал сегодня о моей встрече в прошлый вторник с о.Г.Габбе. Он говорит: наша цель – сохранить "чистое Православие". На деле же, конечно, наш спор, наше коренное разногласие совсем о другом. "Чистое Православие" для него это, прежде всего, исключительно, быт. Никакой мысли, никакой "проблематики" или хотя бы способности ее понять у них нет; есть, напротив, органическое отталкивание от нее, ее отрицание. И с их точки зрения отрицание и отталкивание правильное – ибо всякая мысль, всякая "проблема" есть угроза быту. Между тем, весь теперешний кризис христианства в том и состоит, что рухнул "быт", с которым оно связало себя и которому, в сущности, себя подчинило, хотя и окрасило его в христианские тона. Но вопрос совсем не в том, был ли этот быт плох или хорош, – он был одновременно и плох и хорош, а только в том, можно ли и нужно ли за него держаться, как за неперемutable, обязательное условие самого христианства, самого Православия. "Они" на этот вопрос отвечают стопроцентным, утробным да. Поэтому и так легко из быта переходят в "апокалиптику". Парадоксальным образом апокалиптический надрыв рождается именно из "бытовиков", как реакция на гибель быта, органической жизни, обычаев, уклада. Отсюда также их инстинктивный страх таинств (частого причащения и т.д.). Ибо таинство – эсхатологично, оно не умещается только в быт (в который, однако, прекрасно умещается "умилительный обычай ежегодного говения"). Отталкивание от культуры и от богословия. Ибо, опять-таки, и культура, и богословие – эсхатологичны по самой своей природе. Они вносят в быт проблематику, вопрошание, трагизм, искание, борьбу, они все время угрожают статике быта. Культуру "бытовики" принимают только когда она отстоялась и, ставши частью быта, оказывается как бы "обезвреженной", безопасной бритвой. Когда они уже знают, что и как следует о ней думать (или не думать). При жизни Хомякова считали модернистом и ниспровергателем устоев, теперь для "бытовиков" он символ и воплощение консерватизма. И это так потому, что "бытовики" абсолютно неспособны воспринять какое бы то ни было современное творчество, духовно разобраться в нем. И христианство, и Православие только тем и хорошо, и "приемлемо" для них, что оно древнее, что оно в прошлом, само – субстрат и санкция быта. Поэтому всякие слова (творчество) – самые подлинные, самые истинные, но не облеченные в привычную сакрально-бытовую форму – "бытовики" просто не слышат, для них это сразу угроза, опасность, расшатывание чего-то. Но, конечно, мироощущение это в последнем итоге пронизано просто неверием, и в этом его трагизм и греховность. И трагизм этот усугубляется тем, что обращение в такую "бытовую церковность", в такое "чистое Православие" в эпоху, когда этот быт как данность, как нечто реально существующее и тем самым оправданное – рухнул, неизбежно оказывается надрывом и ведет к глубокому духовному заболеванию. Как стилизация в искусстве, рождаясь при распаде стиля, приводит к смерти искусства, так, на гораздо большей духовной глубине, "бытовизм" в религии (возможный теперь только как стилизация) приводит к заболеванию самой веры. Плоды этого духа: страх, узость, ненависть, полная неспособность распознать Духа... И потому живем мы сейчас в эпоху настоящего экзамена и христианству вообще, и Православию в частности. Чем само оно живо и животворит?

Увы, на вопрос этот, кроме ответа "бытовиков" – целостного, убежденного и потому отчасти услышанного, – другого столь же целостного ответа пока что не существует. Вот тут-то и рождаются редукции: византийская, индивидуально-духовная ("читайте Исаака Сирина!"), "исконная", какая угодно. В сущности все это эрзацы "бытовизма", только более утонченные, умственные. Все это такие же уходы от реальности, от самой жизни, от ее вечной открытости и, следовательно, "проблематичности". И вот, как это ни звучит горделиво, я чувствую, что этот ответ у меня есть, что он для самого меня как бы "просвечивает" во всем том, что я пытаюсь сказать, написать, выразить, но что его трудность в том как раз, что ни в какую систему, ни в какой "рецепт" он не укладывается, что из него не следует никакая система правил для жизни, что его ни из чего внешнего не выведешь. Ибо это опять и именно мироощущение, в котором центрально, существенно и решающе как раз "просвечивание", "отнесенность" всего к "другому", эсхатологизм самой жизни и *всего* в ней, который

антиномически делает *все* в ней *ценным* и *значительным*. Источником же этого эсхатологизма, тем, что делает это "просвечивание", эту "отнесенность" возможными, является Таинство Евхаристии, которым поэтому изнутри и определяется Церковь и по отношению к самой себе, и по отношению к миру, и по отношению к каждому отдельному человеку и его жизни. Ошибка "бытовиков" не в том, что они придают исключительное значение внешним формам жизни. В этом они правы против всех тех псевдо-духоносцев, одинаково религиозных и культурных, которые одержимы тем, чтобы прорваться к содержанию помимо формы или путем ее разрушения и разложения (сюрреализм, беспредметная живопись, автоматическое письмо, "харизматики" всех оттенков). Их ошибка в манихейской абсолютизации одной формы, в превращении ее в идол и тем самым в отрицание ее "отнесенности" к *другому*. "Проходит образ мира сего" – это значит не то, что этот образ плох или не нужен, что можно вообще обойтись без "образа" – формы, ритма и т.д., что христианство уводит в какую-то "безбытность", а то, что этот образ во Христе стал "проходящим", динамическим, "отнесенным", открытым. Что, десакрализуя быт (язычество), христианство сделало возможным все сделать "бытом" в высшем смысле этого слова, все сделать "образом". И только в ту меру, в какую он "проходит", то есть сам себя все время "относит" к тому, что за ним, над ним, впереди, – он и становится действительно "образом". А для того, чтобы этот опыт ("проходит образ мира сего") стал возможным и реальным, нужно, чтобы в *этом мире* был дан также и опыт того самого, к чему все "отнесено" и относится, что через все "просвечивает" и всему дает смысл, красоту, глубину и ценность: опыт Царства Божия, таинством которого является Евхаристия. (Не одно только "преложение даров", а та Литургия, которая и являет Царство Божие и исполняется в приобщении за трапезой Христовой в Его Царствии). Церковь оставлена в мире, чтобы совершать Евхаристию и спасать человека, восстанавливая его *евхаристичность*. Но Евхаристия невозможна без Церкви, то есть без общины, знающей свое уникальное, ни к чему в мире не сводимое *назначение* – быть любовью, истиной, верой и миссией, всем тем, что исполняется и явлено в Евхаристии, или еще короче – быть Телом Христовым. Евхаристия "объясняет" Церковь как общину (любовь ко Христу и любовь во Христа), как истину (*кто* Христос? – единственный вопрос всего богословия) и как миссию (обращение всех и каждого ко Христу). Другого назначения, другой цели у Церкви нет, нет своей, отдельной от мира – "религиозной жизни". Иначе она сама делается "идолом". Она есть *дом*, из которого каждый уходит "на работу" и куда каждый возвращается с радостью, чтобы дома найти саму жизнь, само счастье, саму радость, куда каждый приносит плоды своего труда и где все претворяется в праздник, свободу и полноту. Но именно наличие, опыт этого *дома* – уже вневременного, неизменного, уже пронизанного вечностью, уже только вечность и являющего, – только это наличие может дать и смысл, и ценность всему в жизни, все в ней к этому опыту "отнести" и им как бы наполнить. "Проходит образ мира сего". Но только "проходя" и становится мир и все в нем, наконец, самим собой: даром Божиим, счастьем приобщения к тому *содержанию*, формой, образом которого он является.

Четверг, 20 декабря 1973

Во вторник завтрак в Oyster Bay с Александром Николаевичем Артемовым, главой НТС⁵⁶ (по его и о.Кирилла Фотиева инициативе). Милый, искренний, хороший человек, но той специей, что я разглядываю с некоторым недоумением: "зоон политикон". И потому выше чего-то и глубже чего-то разговор не поднимается.

Письмо из Брюсселя от Melitine Fabre (которая переводит на французский мое "Введение в литургическое богословие", единственная мне известная православная почитательница моей книги). Она пишет: "Признаюсь, что меня часто раздражают православные речи и выступления своим

⁵⁶ Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС) – общественно-политическая антибольшевистская организация русской эмиграции, основанная в 1930 г

триумфалистским и многословным стилем. Католические 'интегрисы' нам льстят, а 'прогрессисты' усугубляют наши худшие недостатки своей реакцией против 'секуляризма'" Абсолютно точно, но сколько людей, это понимающих?

Снег. Лед. Мороз. Начали вчера трипесницы предпразднства. "Готовься, Вифлееме!.." В семинарии атмосфера конца, разъезда.

Вчера 19 декабря. Николай Чудотворец по старому стилю – наш "корпусной праздник". Почему-то вспомнился один из самых первых, оставшихся в памяти как некая квинтэссенция "праздничности". Утром, чтобы занять нас, капитан Маевский читал нам – то есть "первому взводу" – "На Новике". Потом обход, гости – генералы Миллер, Ознобишин, Эрдели. Какие-то радостные дамы. Mutatis mutandis, прямо из "Войны и мира". И наше чувство, что мы неотрываемая часть этого мира.

Понедельник, 7 января 1974

С 25-го декабря (вечер Рождества) до 5-го января в Париже с Льяной. Как всегда – много времени с Андреем и мамой. Как всегда – много одиноких, или вдвоем, прогулок по Парижу. В пятницу 28-го в УМСА – бомба! – выход "Архипелага ГУЛаг" Солженицына. Книга буквально и во всех смыслах этого слова – потрясающая! О ней буду писать отдельно – сегодня же – для "Вестника". 29-го традиционный завтрак с Никитой и Машей Струве в "Russin d'Arcadie" на place de la Sorbonne. Новый Год у Кобцевых в Ableiges. Обедня на Olivier de Serres. 3-го ужин у Фиса с Синявским. Длинный apres-midi с Melitine Fabre, переводчицей моего "Введения". У Prunier с Бусей. "Cousins et cousines" у Андрея в полном комплекте: Маги и Ирина, Жорж, Мара с Сережей, Отар с Ниной. St. Lambert. Все как всегда – "и все чудесней – дышать прошедшим на земле"⁵⁷.

Четверг, 10 января 1974

Сегодня нашей Анюте – тридцать лет! А как будто это было вчера. Каких удивительных, хороших детей дал мне Бог. Об этом думал сегодня утром и позавчера – во вторник – после ужина в [ресторане] "Le Bistro" с Маней и Сережей.

Вчера отослал Никите статью об "Архипелаге", родившуюся, неожиданно для меня, быстро – в ответ на эту "сказочную книгу" (так и назвал статью). Все еще под ее впечатлением, вернее – в удивлении, радостном и благодарном, перед самим "феноменом" Солженицына. Мне кажется, что такой внутренней широты – ума, сердца, подхода к жизни – у нас не было с Пушкина (даже у Достоевского и Толстого ее нет, в чем-то, где-то – проглядывает костяк идеологии). И ведь к *какой* жизни *так* подходит Солженицын...

Вчера – трехчасовой разговор с о.А. Лебедевым, молодым (двадцать три года!) "зарубежным" священником из Бриджпорта. Симпатичный, явно искренний, убежденный, по-своему "широкий". Но, Боже мой, какая все-таки путаница, и не только мыслей, но именно опыта, сознания. Какое "маленькое" Православие они любят, сколько у них идолов, фетишей, скованности внутренней. Впечатление такое: если на секунду сойдут со своих рельс – все лопнет, и вот они держатся за эти "рельсы", уже даже и не спрашивая, откуда и куда они ведут. Ужасно тягостное впечатление от этого разговора, главное потому, что в одном-то они правы: в утверждении нашей духовной слабости, половинчатости, минимализма. После этого – обостренное чувство одиночества, невозможности – в этих условиях – сказать главное. Вечное желание – свободы, чтобы быть ответственным. Ненависть к церковной "политике", ко всему этому уровню, на котором всегда приходится спорить и

⁵⁷ Из стихотворения А. Блока "Прошли года, но ты – все та же...": "И все чудесней, все лазурней – / Дышать прошедшим на земле".

разговаривать. В таком настроении – недостойное уныние. Лечусь, читая весь вечер четырнадцатый том Leautaud.

Все в глубоком снегу. Мороз. Хорошо только дома, только с Л. и детьми. Во всем остальном ("дела") только и ждешь того, чтобы наконец кончилось, миновало, отпустило...

Что такое подлинная культура? *Причастие*. Участие в том, что победило время и смерть.

Пятница, 11 января 1974

В Париже ужин с Синявским и его женой. Впечатление необычайно симпатичного, именно симпатичного человека, "рубахи-парня" на высоком уровне. Но, конечно, и с хитрецей. Его книгу – "Голос из хора" – начал читать, прочел страниц тридцать, но тут разорвалась бомба "Архипелага", и я не кончил. Первое впечатление – не убедительное, некий потуг – розановский, но без розановского гения. Все-таки очень "литература".

Длинные разговоры с Мишей Меерсоном, который живет у нас. С одной стороны, я все время поражаюсь тому, что можно с ним – советским мальчиком двадцати девяти лет! – говорить на одном языке, даже в нюансах. С другой – беспокоит этот умственный и эмоциональный Sturm und Drang. Все идеи, идеи, идеи. Снова эта "интеллигентская беспочвенность", эта вера в кружки, надрывные разговоры, журнальные статейки. Впечатление такое, что неспособны они на медленный труд, а только на какой-то фейерверк.

В Париже тоже ужин с Паниным-Сологдиным и его женой. Обратное Синявскому. "Моноидеизм". Idee-fixe. Никакой "легкости". Обреченность таких людей, все "продумывающих" и потому уже абсолютно неспособных "услышать" что-либо другое, даже согласное с их взглядами. Чудное лицо, выражение – "уст, сказавших правду в скорбном мире..."⁵⁸. Жена из тех, кто говорит "мы". Мы думаем, мы считаем...

Понедельник, 14 января 1974

В субботу под вечер поездка в Wappingers Falls (где праздновали Анино тридцатилетие). Страшно холодный, морозный, зимний вечер. Снег. Заснеженные деревья, и над всем этим – грандиозный закат. Я давно не видал такой красоты. И эта красота *говорит*: только мы разучились ее слышать.

Все эти дни – в "творческом подъеме". Пишу – в моем Baptism⁵⁹ – параграф о смерти и крещении (подобие смерти), параграф, который вот уже больше года "блокировал" книгу. Как всегда – точно все это не из меня, а наоборот – мне открывается. Всегда очень удивительное, очень радостное чувство.

Вчера до обедни причащал в госпитале мать Давида Др. – семьдесят два года. Серьезная операция. Явление смиренного, почти бессознательного христианства, самоочевидной веры, ясности, радости. Никаких теорий, но все то, о чем с таким трудом и надрывом, ссорясь друг с другом, пишут богословы. И думаешь: какой страшный грех совершают по отношению к таким людям всевозможные церковники, одержимые своей правотой, "юрисдикциями", ссорами и т.д. Правда, что "таким людям" до всего этого нет никакого дела. Слава Богу!

⁵⁸ 1 Из стихотворения О.Мандельштама "Декабрист". Правильно: "И вычурный чубук у ядовитых губ, / Сказавших правду в скорбном мире".

⁵⁹ Baptism (англ.) – Крещение. Речь идет о книге "Водою и Духом"

Вечером – у родственников. Невероятно милы – и они, и дети. Но всегда острое ощущение духоты, спертости воздуха в этом "зарубежном" мире. Старшие эмигранты вспоминали Россию, эти "сохраняют" уже Россию эмигрантскую, искусственную. Удивительно, что этим можно жить. Жить, в сущности, ничего не зная ни о России, ни об Америке, ни о мире, "только зеркало зеркалу снится..."⁶⁰.

Вторник, 15 января 1974

В письме Никите (посылал статью об "Архипелаге") я спрашиваю – не рехнулся ли я в своем восхищении Солженицыным, не преувеличено ли оно? Меня так удивляет, что люди как будто не видят поразительности его явления, глубины, высоты и ширины этого явления. Вчера у Connie T. (освящение дома) – "резервация" Ив. Мейендорфа по типу: "Да, конечно, но..." Я постарался, на этот раз, понять, вслушаться в эти "резервации". Вопрос о Церкви: Солженицын этого не чувствует, не понимает... Длинноты. И т.д. Я могу понять все эти возражения. Но ни одно меня не убеждает. О Церкви, например: я все больше чувствую, что "кризис" Церкви в том-то и заключается, что центральной темой ее жизни стал вопрос о том, как "спасти" Церковь. Но этот вопрос изменил удельный вес христианства в мире, это все изказило. Солженицын, мне кажется, занят не "спасением Церкви", а человеком. И это более христианская забота, чем "спасение Церкви", во имя которого принимается и оправдывается любая ложь, любой компромисс. Величие Солженицына и его значение в том как раз, что он "меняет" перспективу, меняет вопрос. Но этого как раз больше всего и боятся люди и меньше всего именно это понимают. Церковь, которую нужно все время спасать ценой лжи, что это за Церковь? Как она может проповедовать веру? "Не бойся, только веруй..." (Мк.5:36; Лк.8:50.). Солженицын сам – доказательство того, как нравственная сила побеждает, сама делается "историческим фактором".

Среда, 16 января 1974

Леото: "...крик этого филина в ночи! Какое блаженство, блаженство грусти, тайны, одиночества, жалости к бытию".

Вчера – весь день в "делах": собраниях, разговорах, заседаниях, телефонах. "Департамент внешних сношений", "Малый Синод". Сплошной va et vient⁶¹ в моем кабинете в семинарии. Я возвращаюсь домой совершенно больной от всего этого, буквально измученный. Что-то есть духовно смертоносное в этой суеде и – главное – в этих безостановочно предъявляемых мне требованиях. После этого ничего не остается, как целый вечер лежать на диване, читать Leautaud. Мучительный вопрос: как от всего этого освободиться?

Leautaud: человек, рассказывающий изо дня в день свою жизнь, говорящий только правду о себе. И вот он становится другом. Это не означает ни согласия, ни единомыслия. Это что-то совсем другое, по-своему таинственное: полюбить человека ни за что иное, как только за него самого. Он пишет так, что становится жаль: вот не было "меня" в его жизни. Но что меня не было в жизни Гегеля или Канта, это мне решительно безразлично. Дар жизни, по-видимому, обратно пропорционален дару идей.

Четверг, 17 января 1974

Вчера длинный разговор по телефону с Мариной Трубецкой. Почему-то речь зашла о Святой Земле, о паломничествах, об их месте в христианской вере и жизни. Утомительно быть каким-то иконоборцем (на глубине мне это совершенно чуждо, ибо, в сущности, я ощущаю себя консерватором), но я совершенно убежден, что этот побочный результат христианства гораздо

⁶⁰ Из "Поэмы без героя" А.Ахматовой

⁶¹ хождение туда-сюда (фр.).

вреднее, чем полезнее, что он во многом определил скольжение Церкви от Христа к "благодати", к освятельному богословию, к почти магическому пониманию "освящения", к "де-декатологизации" христианства...

Телефоны с восьми до одиннадцати утра почти без перерыва. Уже разболелась голова, а сознание раздробленно какой-то трясучкой. И вот так почти каждый день. И каждый, кто звонит, чего-то от меня хочет, но никогда не то, что, может быть, я мог и должен бы был дать. Но что нужно сделать – не приложу ни ума, ни совести... "Дар жизни". Но в падшем мире как часто он оборачивается непосильным бременем жизни, саму эту жизнь разрушающим. Это когда в самую душу входит суета. "Скажи мне, Господи, путь, в оньже пойду" (Пс. 142:8.). Однако способен ли я расслышать ответ на эту молитву?

Суббота, 19 января 1974

"Исторический кризис Православия". Никогда, кажется, не ощущал я его так ясно – во всем его объеме и глубине, как в эти дни частых разговоров с живущим у нас М.М. Не из-за самих этих разговоров – ибо все то, что говорит и рассказывает Миша (как, например, вчера о молодом советском иеромонахе, постриженнике Никодима, перешедшим – будто с ведома Никодима - в католичество, сидящим до сих пор где-то, на каком-то старушечьем приходе и постепенно духовно и психологически разлагающемся...), я уже знал, а потому что разговоры эти приводят к раздумью, к "синтезу" всего того, что я так или иначе думал все эти годы.

Исторически Православие всегда было не столько Церковью, сколько "православным миром", своеобразной православной "икумени". Такой православной "икумени" оно оставалось и тогда, когда распалось на множество национальных, этнических мирков. Сузился духовный горизонт, но не основное "самочувствие" Православия. Но самочувствие это всегда исключало категорию истории, перемены и потому способность "реагировать" на перемены, всегда составляющую силу западного христианства. Говоря языком Eliade ("Отрывки из дневника" которого сейчас читаю), оно, то есть Православие, предельно "архетипично", но не исторично". Всякая перемена ситуации, то есть сама история, вызывала и вызывает у православных рефлексию предельно негативную, состоящую, в сущности, в отрицании перемены, в сведении ее ко "злу", искушению, демоническому натиску. Но это совсем не верность вере или, скажем, догматам, неизменным во всех изменениях. Догматами, "содержанием" веры православный мир перестал жить и интересоваться давно. Это именно отрицание *перемены* как категории жизни. Новая ситуация неверна, плоха только потому, что она *новая*. И это априорное ее отрицание не позволяет даже понять ее, оценить в категориях веры и по-настоящему "встретить" ее. Уход и отрицание, но никогда не *понимание*. Исторически центральной и определяющей в Православии всегда была категория не православия по существу, то есть Истины, а именно "православного мира", неизменного потому, что он православный, православного потому, что он неизменный. Поскольку же мир этот неизбежно и даже радикально менялся, то первым симптомом кризиса нужно признать глубокую *шизофрению*, постепенно вошедшую в православную психику: жизнь в нереальном, несуществующем мире, утвердившемся как реальный и существующий. Православное сознание "не заметило" крушения Византии, Петровской реформы, революции, не заметило революции сознания, науки, быта, форм жизни... Короче говоря, оно не заметило истории... Но только это отрицание, это "незамечание" истории, конечно, не прошло, не могло пройти Православию даром. Вместо того, чтобы понять "перемены" и потому справиться с ними, Православие оказалось попросту раздавленным ими. На деле оно изнутри определено и окрашено и подавлено как раз теми "переменами", которые оно отрицает, определено неким "надрывом". Этот надрывной уход каждого – будь то к "Отцам", будь то к Типикону или же в католичество, в эллинизм, в "духовность", в русизм, в быт, в безбытность, но непременно уход, отрицание сильнее, чем утверждение, это

цепляние за стиль, за форму, за букву, этот страх, пронизывающий православный "мир". Этот все ускоряющийся распад Церкви, лишенной "православного мира", эта невозможность для православных что-либо понять, даже друг друга, полное отсутствие православной мысли как понимания и оценки истории: все это брызги, плоды того же основного кризиса – внутреннего, глубинного, "а- и анти-историзма" Православия или, вернее, православного мира, неспособности его справиться изнутри с основной христианской антиномией – "в мире сем, но не от мира сего", неспособности понять, что самый что ни на есть "православный" мир все же именно "от мира сего" и что всякая его абсолютизация есть измена. И пока Православие измену это не осознает, оно будет продолжать разлагаться, как оно сейчас разлагается. Эту страшную цену разложения мы платим за то, что сотворили себе кумира, сотни кумиров. За то, что в основном христианский опыт – "проходит образ мира сего" – не включили или, вернее, из него выключили – свой собственный "православный мир". И когда он, в греховном грохоте, распался, все хотим "восстановить" его и возродить. Эта почтительная, страстная возня с "Византией" и византийскими текстами, занимающими богословие. Эта мышинная суэта юрисдикций, побрякивающих во все стороны канонами. Это желание покорить Запад самым спорным и скверным в нашем прошлом. Эта гордыня, это мелкое самодовольство, это "шапками закидаем". Все это страшно, и, может быть, страшнее всего, что никто этого страшного не видит, не чувствует, не сознает. Если кто чему и ужасается, то только "падению мира" (а падение Православия?!), грехам других православных и т.д. И это в тот момент самой истории, когда суть Православия, его Истина действительно и, может быть, в первый раз – в диалектике этой истории – могут быть услышаны как спасение. Остается только верить, что "Бог поругаем не бывает"(1 Гал.6:7). В личном же плане все тот же мучительный вопрос – что делать?

Понедельник, 21 января 1974

Читая о писателях, об академической среде, пришел к приятному для себя выводу, что я никогда не страдал "карьеризмом": не рассылал "оттисков" и книг с надписями и даже, в сущности, бежал знакомства с "сильными мира сего" – то есть теми, кто способен "помочь" именно в карьере. Правда, я никогда никому ничего не навязывал – ни книг, ни статей, ни выступлений. Пишу об этом не из "гордости", а потому что как раз не приписываю это духовным качествам – смирению, скромности. Приписываю, скорее, своеобразной боязни "связаться", лени, тайной, но постоянной жажде свободы.

Другая мысль, пришедшая мне в голову вчера, в поезде (ехал на очередной доклад в Wilmington), при чтении интересных "Fragments d'un Journal" Mircea Eliade: это полное отсутствие интереса к всевозможным "восточным" религиям, ко всему тому, что так интересуется Элиаде и круг, в котором он вращается. Мой ум и сердце к этому абсолютно непромокаемы. Может быть, все это нужно – эта встреча Запада с Востоком (о чем мечтает Элиаде), и многое из того, что он пишет, мне кажется заслуживающим внимания, но я лично не нахожу ни малейшего вкуса ни к Тибету, ни к Индии и ни к одному из этих "центров притяжения". Мне все это представляется каким-то жутким и душным миром, несмотря на все "космизмы" и "освобождения".

Wilmington, куда я уже езжу четвертый год. До доклада ужин в старомодном отеле. Мне иногда кажется, что моя тайная радость от этих поездок - это эти два часа в этой огромной, старомодной, барской зале. Огромные окна. Старые американские пары за столами: торжественное завершение пустого воскресного дня. Свечи. Старая прислуга. И зимние морозные сумерки за окном.

На лекции больше трехсот человек. Но это, конечно, не я, а Солженицын.

Ночевка в Statler-Hilton, напротив вокзала. Странное чувство: полной потерянности, полного одиночества в мире.

Визит к доктору: безнадежно здоров...

Среда, 23 января 1974

Состояние уныния. Не личного – "лично" я могу смело и безоговорочно считать себя очень счастливым человеком: семья, дети и т.п. А по отношению к Церкви, ее состоянию, моей деятельности. Я становлюсь, мне кажется, "аллергичен" к той церковности и той религиозности, которые наполняют Церковь и церковную жизнь и которые мне все больше и больше представляются глубочайшими извращениями христианства и Православия. Между тем только об этом, только в этом вся моя "деятельность", засасывающая бесконечными звонками, письмами, разговорами, собраниями. Все это вне подлинной реальности: Бога, человека, мира, жизни. Душа буквально плачет о другом. Уныние же оттого, что никакого выхода я не вижу. Уйти? Но куда? Я не могу уйти от Церкви, ибо это моя жизнь. Но, оставаясь в том положении, в котором нахожусь, я не могу служить ей так, как я понимаю это служение. Я верю, что Православие – истина и спасение, и содрогаюсь от того, что предлагают под видом Православия, от того, что любят, чем живут, в чем видят "православие" сами православные, даже лучшие, бескорыстные среди них. "Спаси себя, и спасутся кругом тебя тысячи". Но ведь *спастись* же каждый должен по-своему, спасение каждого в исполнении того, к чему он призван. А если сами условия жизни как раз этого спасения и не позволяют? Если вся деятельность в постоянном отрицании того уровня, на котором одном это спасение возможно?

Все это, как ни странно, усиливается от восхищения Солженицыным! Его величие только подчеркивает нашу мизерность...

Начало занятий. Первая лекция: опять двадцать лиц, слушающих... И мучительное чувство, что главного, что "единого на потребу" не скажешь. Не потому, что кто-то запрещает, а потому, что слушающие не этого хотят и ждут и потому и не услышат. И вот говоришь что-то среднее, что-то хотя, может быть, и верное, но не то.

Четверг, 24 января 1974

Все утро, после лекций, писал письма. Физическое удовлетворение от того, что мучившая меня гора неотвеченных писем на столе стала таять и уменьшаться. Два-три письма, заслуживающих ответа, откладываю, потому что от них не отделаешься торопливыми ответами.

Кончаю книгу М. Eliade (Fragments d'un Journal). Очень сильное впечатление. Много бесконечно верного, а вместе с тем где-то, в чем-то роковая ошибка. Так понимать все о религии, о символах, о сакральном – и не иметь живой, конкретной религии. Судьба современного "интеллектуала". С одной стороны, почти завидуешь его свободе от "церкви", от институции и от всего налипшего на нее. А с другой – сразу же чувствуешь ее *правду*, ее незаменимость. "Куда нам от тебя идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной". (Ин.6:68.) И блажен, кто не соблазнится о Тебе.

В нашем мире всякая религия без Христа (даже христианство, даже православие) есть явление отрицательное и даже страшное, и даже соприкосновение с нею опасно. Ее можно изучать для лучшего уразумения христианства или, лучше сказать, Христа. Но сама по себе она не может быть "спасением", чтобы под этим словом ни разуместь. Этого не видит, не чувствует Элиаде. Как не видит и того, что Христос есть одновременно и исполнение той "сакральности", в которой он справедливо видит явление для человека не "историческое", а онтологическое, основную для него "структуру", – и ее преодоление, без которого религия неизменно "разлагается" в нечто демоническое.

Ранние христиане: Тело Его на престоле, потому что Он среди них. Теперешние христиане: Христос тут, потому что Его Тело на престоле. Как будто бы то же самое, а на деле та основная разница, что отличает раннее христианство от нашего, разница, о которой почему-то не знают,

которую почему-то не понимают богословы. Там все от знания Христа, от любви к Нему. Здесь – от желания "освятиться". Там к причастию приводит следование Христу и из него вытекает следование Христу. Здесь – Христос почти что "ни при чем". Это почти две разные религии.

Недавний разговор с И.М.: о падении современного православия, об его глубочайшем кризисе. Он: но как же тогда знать, где сохранилась Истина? Все та же забота – о внешней гарантии. "Православие сохранило Истину". Но на самом деле надо говорить иначе: ничего внешнее само по себе не "сохраняет" Истину. Истина живет и побеждает только сама собою.

Три часа. Дети идут из школы. И вдруг остро вспоминаю радость этого выхода из Lycee Carnot, этот блаженнейший момент: "quatre heures". Свобода. Солнце на Boulevard Malesherbes, почти болезненное чувство жизни, молодости, счастья.

Понедельник, 28 января 1974

Дни безостановочной суеты, телефонных звонков, бесконечных – иссушающих и расстраивающих душу – разговоров. И потому уныние, тьма. Сегодня, возвращаясь со станции, думал: почему мне не хочется домой, когда я так люблю быть дома? Понял: от телефонной незащищенности, от подсознательного ожидания каждую минуту звонка, и притом *всегда* неприятного. Чувство загнанности, затравленности. Прихожу. Анна (пасущая маленького Сашу): звонил такой-то, такой-то, такой-то. Будут снова звонить. Просят позвонить. И вот уже все пронизано беспокойством. Как быть? Что делать? Вопрос, который я задаю себе тысячи раз, не находя никакого ответа. Чувствую, однако, что долго так продолжаться не может.

Сегодня, ранним утром, пятнадцать кварталов по Park Avenue. Как я люблю эту утреннюю городскую суету, как всегда любил ее.

Уныние, думается, от невозможности быть собою, говорить правду, как видишь. А значит – от малодушия и от маловерия. Минуты молитвы – и все становится просто, как будто душа наполнилась светом. А потом сразу все падает.

Вторник, 29 января 1974

Вчера, ища что-то в подвальных завалах, случайно наткнулся на почти совсем распавшуюся черную записную книжку, озаглавленную: "Заметки Александра Шмемана, 1936-1937", то есть когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет. Это как раз время того "кризиса", о котором я вспоминал в этом году: со второй операции в Villejuif в июле 1936 до марта 1937 года. Поэтому решил сделать выписки. Больше всего меня удивляет то, как все мои теперешние "интуиции", все то, что на глубине определяет мои сознание и мысль, уже так очевидны в этих заметках почти сорокалетней давности. Итак, прав Бернанос: "Я всегда оставался тем двенадцатилетним мальчиком, которым был когда-то". Итак, вот главное.

На обложке: "Вся премудростию сотворил еси".

На обороте обложки: "Церковь Бога Живаго, столп и утверждение Истины".

На заглавном листе, после "Заметки" – гроб (!) и надпись: "Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю..." Еще дальше: "Твое бо есть еже миловати и спасати нас..."

Дальше начинаются сами заметки:

Суббота, 18 июля 1936

Начинаю третью книжку. Вторая окончилась в каком-то стихотворном хаосе. Попробую в этой книжке быть спокойнее и короче. Короче – это главное. (...) Мой кризис, кризис "трех искушений", изжит еще не совсем – но теперь я уверен в нескольких вещах: что бывают чудеса, что я рано или поздно успокоюсь – и на основе Православия, и, наконец, в том, что порядок внешний очень содействует порядку внутреннему. Вообще я чувствую себя внутренне много лучше.

13-го скончался о. Иаков Смирнов...

Чувствую непреодолимое влечение к писательству.

Страшно нравится Бунин. В больнице попались книжки "Совр[еменных] Зап[исок], и там начало "Жизни Арсеньева". Но, к сожалению, нигде нельзя книг достать.

Там также прочел отрывок из "Истории любовной" Шмелева... У меня три эмигрантских классика – Бунин, Шмелев, Зайцев. Кроме того, много любимых.

Досадно и грустно, что книг нету, а читать все новое очень хочется. Сейчас очень хочется достать альманах "Круг" – да денег нету. (О! Блаженная бедность нашего детства! Как я теперь за нее благодарен... – янв. 1974)

Вот как будто бы и все. Жизнь моя не очень разнообразная, но я скучать не умею. Да и скука иногда полезна. В этом отношении я уверен, что госпиталь сыграл большую роль в моей внутренней жизни. Я начал думать об очень многом и совершенно новом.

Вторник, 21 июля (Казанская) 1936

Вчера вечером был у всенощной, сегодня у Литургии... Все думаю о религии и, кажется, прихожу к Истине. Молю Бога да поможет мне обрести покой душевный. Непрерывно тянет в церковь и только в церковь. Боже, помоги мне. Верую, помоги моему неверию.

Среда, 22 июля 1936

Произвел генеральную уборку комнаты и стола. Мое правило – внешний порядок для внутреннего. Тихо. Думаю. Молюсь. Грешу.

Четверг, 23 июля 1936

Был в церкви... Все сомневаюсь и томлюсь. Погода плохая. Все тихо снаружи и, надеюсь, будет внутри.

Пятница, 24 июля 1936

Читаю Иоанна Златоуста... Все тихо... Господи, помоги.

Суббота, 25 июля 1936

Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение. Благодарю Бога за то, что подал мне, недостойному, руку в дни искушения моего. Был у Литургии. Служили молебен (после операции – 1974). Главное – вера в милосердие Божие и любовь к Богу. Любовь совершенная не имеет страха. Господи, дай мне любить

"Мир не был сотворен в один присест; он творится так часто, как появляется настоящий художник: художник не изобретает, он открывает заново" (М.Пруст)

Воскресенье, 26 июля 1936

Надо верить, что у Бога истина, стремиться к ней и не искать ей подтверждений, так как если мы что-либо стараемся подтвердить, то, значит, мы допускаем сомнение в данном предмете, а если мы сомневаемся, мы не верим.

Понедельник, 27 июля 1936

Завтра день ангела ген. Римского-Корсакова. Когда я о нем вспоминаю, мне всегда немножко совестно. Он меня так любил, а я его забываю... Скольким я ему обязан.

...Все в порядке. Слава Богу.

Вознесь же си, смирихся и изнемогах...

Понедельник, 3 августа 1936

Давно, целую неделю, ничего сюда не записывал. Живем на даче. Недалеко от корпуса... Полон надежд. Стараюсь стяжать благодать Духа Св. Начинаю "Жизнь во Христе" о.Иоанна Кронштадтского, "Свет разума" Шмелева. Читаю Бунина, предполагаю прочесть "Отверженные", Ю.Фельзена (?), Степуна... Читаю также много "Современных записок".

О.Иоанн Кронштадтский: "...если истина открыта в Божественном слове, исследована и объяснена богопросвещенным умом святых мужей, прославленных Богом, и познана сердцем в ее свете и животворности, тогда сомневаться в ней есть тяжкий грех".

Подумать и вникнуть: "...немощи немощных носи и тако исполниши закон Христов". О.Иоанн Кронш[адтский] – "т.н. светская литература совершенно чужда христианскому духу. Она даже стыдится духа Христа".

* * *

Пятница, 8 февраля 1974

Шесть дней в солнечной Калифорнии, в Сан-Франциско. Пишу "солнечной", потому что, несмотря на то что был безумно занят (семь лекций о Солженицыне, встречи, ужины, разговоры), "доминантой" в памяти остался этот изумительный, праздничный свет, синева неба, синева океана, белизна города, цветущие японские вишневые деревья. Который раз в Сан-Франциско – и всегда это впечатление рая. А вместе с тем именно там больше всего загадочных убийств, самоубийств, путаницы, сатанизма и т.д.

Масса людей на лекциях. Почти отвык от этой, доживающей свой век, русской эмиграции, а в Сан-Франциско как-то особенно провинциальной. Сколько путаницы, эмоций, упрощенности! И вдруг изумительные, прозрачные, райские люди (как те, у которых жил, особенно она), подлинная русская культура. То, что в этой культуре светит, – всегда "преодоление". Но, встречая таких людей, чувствуешь корни, делающие это "преодоление" возможным.

Понедельник, 11 февраля 1974

Три блаженных, тихих дня дома, почти не выходя. Только вчера под вечер прогулка с Ляной "вокруг блока": мороз, снег, неподвижные огромные деревья в снегу. Это мне всегда что-то "говорит": высокое, успокоительное, торжественное. За эти дни (в аэропланах, по ночам в кровати после невозможных по суете дней) прочел Жоржа Урдена "Бог на свободе". Воспоминания "прогрессивного католика". Много чего я не понимаю во всей этой тональности, но покоряет искренность, широта, ненависть к узости, провинциализму, щедрость души. Как нам далеко до всего этого, какие мы маленькие, узенькие, злые и самодовольные! Дальше – "Переписка Андре Жида с Андре Рувером". Какой закрытый в своей "византийской" утонченности мир! Клод Мориак "Андре Бретон". Меня всегда занимал сюрреализм как "западный симптом". Что-то там все-таки блеснуло, какая-то тоска, жажда. Но и какой тупик!

Звонил Сережа: в пятницу Солженицына вызвали к прокурору.

Сегодня с шести до восьми утра, еще в полной темноте, в очереди за бензином. В сущности, блаженные часы! Как меня пленит всегда этот мир простых людей, утренняя суета, жизнь в ее повседневной пестроте. Взял с собой книгу, но не читал. Своего рода "созерцание".

В Аргентине умерла Наташа, двоюродная сестра. Вспомнил лето 1939 года в Белграде, когда мы, приехав из Парижа, проводили столько времени с ней и Аней. "Dans la lumiere de l'ete". И какая же потом была у нее страшная и грустная жизнь! Почему одним, а не другим так очевидно отказано в земном счастье?

Четверг, 14 февраля 1974

Все эти дни полон Солженицыным. Во вторник вечером в Вашингтоне, куда я прилетел говорить о Солженицыне в American University, узнал о его аресте. А утром, на следующий день, о его высылке в Германию. Вчера вечером по телевидению видел и его самого – выходящего из аэроплана. Почему-то думал, что голос у него низкий, а он высокий. Звонил Никите. Он говорит: "Я как-то раздавлен этими событиями. Грустно за Россию. Теперь нам остается только пить водку. Рад за Солженицына лично. Но какая это зловещая трагедия для России!"

Звонки, звонки, звонки, суета, суета, суета. Одно хорошее английское слово: harassment. Как это изматывает и опустошает душу. Мечты о "покое и воле" – соблазн или призыв совести?

Только бы остался Солженицын сам собой. Что на Западе, да в эмиграции – неизмеримо труднее, чем в России. Страшно за него – в первый раз...

Пятница, 15 февраля 1974

В своем дневнике Green пишет (Грин о Мальро): "О нем можно сказать, что его никогда нельзя было обвести вокруг пальца". Вот формула, которую с обратным знаком можно обратить к "православным". Как все среди них запутано подделками и фальшивками.

Если бы он спросил меня, что ему делать в изгнании, я сказал бы Солженицыну: "Прежде всего, превыше всего, будьте самим собой. Россия, изгнавшая Вас, – не Россия, но и Россия "зарубежная" – не Россия. Будьте выше обеих, над ними, потому что Вы сейчас – голос России. А это трудно и бесконечно ответственно. Далее – не отождествляйте себя ни с чем и ни с кем на Западе. Вас облепит все худшее – карьеристы, интеллектуалы, "mass media" – и потом так же бросят. Короче говоря: "Ты

царь – живи один..."⁶². Надеюсь, что все это он понимает и без моих советов, и все-таки страшно за него – как бы не поскользнулся...

Светлая легкость христианства, но тяжесть Церкви.

Сегодня утром исповедь. Как легко даешь другим те советы, которые, по опыту знаешь, нужно было бы обратиться к себе.

Только в Церкви можно найти полный образ Христа. Это и есть дело богословия – и больше ничего. Но его одинаково заслоняют и "поп", и "богослов". Один поставил ставку (беспроегрешную) на вечную нужду человека в "священности", другой самого Христа превратил в "проблему".

Суббота, 16 февраля 1974

Вчера вечером блины у Штейнов (Вероника Туркина – двоюродная сестра первой жены Солженицына). Несколько "новейших". Необычайно дружественная атмосфера – "русскость" в лучшем своем проявлении. Возвращаясь, думал: какие дикие и ненужные препятствия наставило на пути таких людей наше "православие". Как могло бы оно сейчас очиститься, обновиться, засиять! Но для этого нужно то отречение от идолов, особенно идола прошлого, на которое православные меньше всего способны, ибо именно этих идолов они-то и любят в православии.

Перечитывая дневник J.Green, думал, как каждая религия, в данном случае католичество, одновременно и сообщает главное, и ограничивает его. Green все мучается вопросом о числе избранных, предназначенных к спасению. Он успокаивает себя тем, что, хотя отдельные святые об этом говорят, Церковь по этому вопросу не высказалась. Как православному сам этот подход, само это мучение чужды! И не потому, что тут нет "проблемы" – она есть везде и всюду, а потому, что суть веры в том, что она не разрешает, а снимает проблему. Наличие проблем – обратно пропорционально наличию веры.

Родительская суббота. Стоя сегодня в алтаре, я вдруг остро почувствовал, что я две недели не причащался, почувствовал это как очевидное "отсутствие" в моей жизни.

Бог и религия. Не Бог, а религия ставит "проблему мира", и потому как раз, что она часть мира и потому автоматически ощущает проблему соотношения своего с "целым". Но в те редкие минуты, когда сквозь религию пробиваешься к Богу, никакой проблемы нет, потому что Бог не есть "часть мира". В эти минуты сам "мир" становится жизнью в Нем, встречей с ним, общением с Ним. Не Богом становится мир, а жизнью с Богом, радостной и полной. Это и есть "спасение мира" Богом. Но совершается оно всякий раз, что мы верим. Поэтому подлинная вера есть всегда преодоление "религии". И Церковь – не религиозное учреждение, а наличие в мире "спасенного мира". Но ей ужасно хочется быть "религией", и вот она запутывается в "проблемах", для веры не существующих и вредных. Почему никто этого не видит и не понимает?

Вторник, 19 февраля 1974

Суетливый week-end. Суетливый понедельник – весь в заседаниях, делах, разговорах. Вечером у нас – Миша и Анека. Блины. Сегодня вечером блины у Жени и Нелли Трубецких. В оставшиеся свободные часы ни на что как-то не способен. Сегодня утром – опять час в очереди [за бензином].

"Духовность", "церковность" – какие это двусмысленные и потому опасные понятия.

⁶² Из стихотворения А.С. Пушкина "Поэту"

Удивительное дело, но почти все те, кого я знал как искателей "духовности", были всегда узкими, нетерпимыми и скучными, безрадостными людьми, при этом всех всегда обвинявшими в "недуховности". И всегда в центре их были они сами, не Христос, не Евангелие и не Бог. В их присутствии не расцветает, а, наоборот, как-то духовно "ежишься". Гордыня и эгоцентризм, самодовольство и узорность – но зачем тогда эта пресловутая "духовность"? А эти специалисты по "церковности"!.. Какой это маленький и душный мир. Но мне скажут – это не подлинная духовность, это псевдодуховность. Однако где эта подлинная духовность? Может быть, где-нибудь в пустынях и одиноких кельях. Не знаю. Но то, что "профессионально" выдает себя за нее в Церкви, о чем говорят, как о "духовности", меня не только не убеждает, а, напротив, отвращает. Нет ничего хуже профессиональной религиозности! Все эти перебирания четок во время церковных сплетен, весь этот стиль опущенных глаз и вздохов – все это выдохшаяся ужасающая подделка. Эти мысли пришли после вчерашних разговоров о Солженицыне. Я сказал: я думаю, он не церковный человек, имея в виду его "не-акафистность". Ужас собеседников! "Церковность" – это в наши дни алиби безответственности: христианской, нравственной, жизненной. Словно "церковность" освобождает от заботы о чем бы то ни было другом, главное – о сущности христианства, о его учении, призыве, откровении.

Среда, 20 февраля 1974

Вчера бесконечно для меня радостный, пасхальный день. Около четырех дня телефон из Парижа от Никиты, только что прошедшего два дня с Солженицыным в Цюрихе. Слова Солженицына обо мне: "Он родной мне человек". Похвала моим передачам о ГУЛаге. Желание видеть! Весь вечер – в радостном подъеме. Слова Никиты: "Вы правы, он – superman..." Одна только тень: еще труднее делать все то, что я должен делать и к чему так не лежит сердце.

Четверг, 21 февраля 1974

Соприкоснуться с самим собой – вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя, "визит", хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете. Но на глубине, я знаю, мучит не суета, не занятость сами по себе, а внутреннее сомнение почти во всем, что я делаю, в "роли", которую я вынужден именно играть и которая иногда так мне надоедает, что я сочувствую моим "врагам", начинаю понимать обычно так меня огорчающую ненависть их ко мне. Есть только одно, во что мои "враги" никогда не поверят: что эту роль я и сам ненавижу, не хочу ее, что она мне навязана, что я ее не добивался. (Продолжение через две страницы.)

Среда, 5 августа 1936

Читаю беседу Серафима Саровского с Мотовиловым. Когда же наконец я обрящу покой, Господи?

Понедельник, 10 августа 1936

Никогда, кажется, кризис сомнения не был так силен, как сегодня утром. Я прямо измучился. Господи, доколе отвращаеши лице Твое от мене, доколе не прострешь руку твою спасти меня. Господи, помоги мне. Богородице, помилуй.

...Совершенная любовь страха не имеет, потому что в страхе есть мучение.

"...и падшие встают. Остаются в падении только те, которые не хотят встать..." (абба Феодор Освященный).

"Сказал старец: приобретем главнейшее из благ – любовь. Ничто пост. Ничто бдение. ничто труд при отсутствии любви, ибо писано: Бог любви есть..."

Пятница, 14 августа 1936

Успокоение. Освобождение.

Вторник, 18 августа 1936

Ничего. Солнце. Беспокойство.

14 сентября 1936

Очень долго ничего не писал. Все думал – нечего писать, да и лень. Должен сообщить: религиозные "искушения" еще не прекратились. О них я писать ничего не буду, трудно, да и я о них столько думал, столько мучался, что писать будет очень больно. Верю, Бог поможет. Вчера мне исполнилось пятнадцать лет. Мы вернулись из деревни, и теперь скоро уже тот же серо-розовый [лицей] Carnot, rue Legendre, сочинения. Но нету отвращения. Напротив, даже хочется... Страшно оторваться от обыденщины и посмотреть на *весь мир сразу*. Ужас...

16 сентября 1936

...Вчера вечером был на Сергиевском подворье. Какая благодать и тишина. Правда, чтобы верить в Бога, надо любить Его, а чтобы любить, надо верить. Если веришь, то любишь, если любишь, то веришь.

Воскресенье, 4 октября 1936

Трудный день. "Вся жизнь мудрого есть томление по небесной родине, подготовка к смерти, отрицание мира и всех дел его" (Платон).

"...чтобы спасти погибающий мир, Богу надо было или отнять у людей свободу, разлюбить их (потому что свобода – высший дар любви), или согласиться на то, чтобы Сын Божий пожертвовал Собой за мир... Мертвым догматом будет крест, пока люди не поймут, что на Голгофе свершилась победа не только любви, но и свободы Божественной" (Мережковский "Иисус Неизв.").

Пятница, 7 ноября 1936

Вон сколько времени ничего не писал. Книжечка лежала в столе, и я так и не собрался ее вынуть. Прошло уже целый месяц лица, целый месяц... дождей и compositions[156].

...В отношении внутреннем очень странно. Религиозных мучений, "трех искушений" нету, и я несколько раз очень хорошо молился, но чувствую, что еще не все кончено, что будет еще взрыв, и еще глубже чувствую, что успокоюсь на Церкви.

Тянет писать стихи. И хотя все это не "то", не настоящее, но все-таки стихи. Прочел Бодлера и Верлена.

Вся жизнь есть борьба с пошлостью во всех ее проявлениях...

* * *

Четверг, 21 февраля 1974

Страх смерти – от суеты, не от счастья. Именно когда суетишься и вдруг вспомнишь о смерти, она кажется невыносимым абсурдом, ужасом. Но когда в душе тишина и счастье – и о смерти думаешь и ее воспринимаешь иначе. Ибо она сама на уровне высокого, "важного", и ужасает в ней несоответствие ее только мелочному, ничтожному. В счастье, подлинном счастье – всегда прикосновение вечности к душе, и потому оно открыто смерти: подобное познается подобным. В суете же нет вечности, и потому она ужасается смерти. "Во блаженном успении" – это значит: в смерти, воспринимаемой счастливым человеком.

"Церковность" должна была бы освобождать. Но в теперешней ее тональности она не освобождает, а поработывает, сужает, обедняет. Человек начинает интересоваться "старым" и "новым" стилем, епископскими склоками или же всяческой елейностью. И духовность он начинает воспринимать как необходимость читать скверные книги, ужасающие по своей бедности и риторике, всякие брошюры о чудесах и чудотворных иконах, всякую сомнительную "поповщину", все время болтать на религиозные темы. Вместо того, чтобы учить его по-своему смотреть на мир, на жизнь, Церковь учит его смотреть на саму себя. Вместо того, чтобы по-новому принять самого себя и свою жизнь, он считает своим долгом натягивать на себя какой-то безличный, закопченный, постным маслом пропахший камзол так называемого "благочестия". Вместо того, чтобы хотя бы знать, что есть радость, свет, смысл, вечность, он становится раздражительным, узким, нетерпимым и очень часто просто злым и уже даже не раскаивается в этом, ибо все это от "церковности". Яков в "Убийстве" Чехова – как все это верно и страшно. "Благочестивому" человеку внушили, что Бог там, где "религия", и потому все, что не "религия", он начинает отбрасывать с презрением и самодовольством, не понимая, что смысл религии только в том, чтобы "все это" наполнить светом, "отнести" к Богу, сделать общением с Богом. В сущности все это любовь лесковских купцов к "громкости в служении". Ужас "приходской залы" с портретами архиереев и объявлениями о приходских блинах...

Пятница, 22 февраля 1974

Дождь. Порывы ветра. В доме – все дети Тома и Ани. Чувство покоя и счастья. Вчера все "после-обеда" – на заседании Митрополичьего Совета. Как хорош и светел человек, когда он "не ищет своего...".

Суббота, 23 февраля 1974

Вчера письмо от Никиты, на бумаге Hotel International Zurich. Переписываю его:

"...Всего несколько слов, чтобы поделиться с Вами первым (после жены, по телефону) той фантастикой, которую сейчас переживаю в трехдневном общении с А[лександром].И[саевичем]. после стольких лет тайного сотрудничества и засекреченной переписки, настолько, что он продолжает называть меня прежним, подпольным именем. Впечатление, как Вы можете себе представить, ошеломляющее. Он – как огонь, в вечной мысли, внимании, устремлении при невероятной доброте, ласковости и простоте. Не было у меня встречи в жизни более простой, чем с ним... (он сначала мне позвонил, и телефон меня смутил: я как-то не мог склеить голос, образ и книги). Много говорил о Вас, он уже слышал Вашу радиопередачу о Гулаге и выделил пункт, где Вы говорите о "художественном исследовании". Вообще сказал: "Удивительно, выросли врозь, а вот как мы с о.А. и Вами единомышленники". А прощаясь: "О.Александр – он мне родной..." ... Бодр он удивительно, не унывает и не собирается унывать. Страны еще не выбрал: колеблется между Швейцарией и Норвегией (других вариантов и не обсуждает). То, что Вы мне писали в прошлом письме, совершенно подтверждается. Такого человека в русской литературе *не* было, он и не Пушкин (нет и не может быть

той надмирной гармонии), он и не Достоевский (нет той философски-космической глубины в подвалы человека и вверх ко Христу), он Солженицын – нечто новое и огромное, призванное произвести какой-то всемирный *катарсис* очищения истории и человеческого сознания от всевозможных миазмов. Видите, как и Вы, я помешался, и будем же и вперед с Вами двумя такими сумасшедшими... P.S. Ум невероятный: он все заранее понимает, даже то, что ему еще не сказали. В некотором роде он визионер..."

Понедельник, 25 февраля 1974

"Чистый понедельник". Великий Пост. В субботу и вчера – в приходе в Endicott, N.Y. Неожиданно радостное впечатление – и от людей, и от службы. Это – после недель "бунта" (внутреннего) против Церкви, такое ясное указание: не бунтуй, куда от нее уйти, она плоть и кровь твоя, ты с нею "обвенчан" священством.

Вечером вечерня и обряд прощения в семинарии.

Вторник, 26 февраля 1974

Читаю "За рубежом" Н.М. Зернова: второй – зарубежный – том истории зерновской семьи. В общем, хорошая и полезная книга, своей широтой, доброжелательностью, культурностью. Вклад несомненный в историю эмиграции. О первых годах Движения, Института. Снова поражает сила мракобесия, все это отрицавшего и поносившего – что продолжается и до сего дня. И вдруг – удар в сердце – на ранней, белградской фотографии – милый о. Киприан [Керн], еще студентом. Ощутил, как я его любил, сколько он значил в моей жизни. И укол, и совесть – как легко забывается, как легко целые пласты выпадают из памяти... Думал о спорах тех лет: "Церковь" или "культура". Личное благочестие, духовный уют – или "ответственность". Русская тема в Православии 20-го века, видимо, не случайная, а очень глубокая, – о ней, в сущности, и Солженицын. Этот кризис обойти Православие не может, это вопрос о веках совершенно отрешенной церковности, о духовном крахе сначала Византии, а потом – России. Но как силен образ этого отрешенного Православия, какое сильное алиби он делает людям, как легко и "благочестиво" – гарантируя чистую совесть – дает он православным "право", в конце концов, мириться со всяким злом, просто не замечать его или же бороться совершенно неверной борьбой, впадать в чистейшее манихейство. Слишком сильна прививка "благочестия", слишком, по-видимому, прекрасно оно в качестве "опиума для народа". И получается удивительная, по своему противоречию Евангелию, двойственность: благочестие и жизнь. К этой последней благочестие не имеет никакого отношения. В благочестии – логика благочестия, а в жизни – логика зла: вот к чему все это неизбежно приводит. Самое же, конечно, удивительное и трагическое во всем этом – это то, что на деле, в глубине, в истоках своих "благочестие" – это именно о жизни и для жизни, что для того, чтобы стать манихейским, оно должно восприниматься сознанием иначе, вопреки тому, свидетельством о чем, призывом к чему оно является. Люди не понимают, какая глубокая "псевдоморфоза" определяет собой историческое Православие. Не понимают глубочайшей "еретичности" своего восприятия и переживания "православия". Православие с маленькой буквы не дает им увидеть, услышать подлинное Православие. Это тема русской литературы, но, за исключением единиц, Православная Церковь ее не услышала. Услышит ли?

Среда, 27 февраля 1974

Вчера – очередная операция десен и, после того, весь день сильная боль. Лежал, читал Зерновых. Несмотря на некоторую расхлябанность тона, на некое излишнее самолюбование – это, в сущности, хорошая и мужественная книга. Трагедия эмиграции. Останется от нее только то, что совершила она в культурном плане. В книге Зерновых особый привкус – "интеллигентского

возвращения в Церковь": повышенный интерес к "духовникам", "старцам", послушникам с удивительными глазами, знамениям и т.д. "Движенщина", которой я почти уже не застал в РСХД. Что ни собрание, что ни съезд, что ни встреча – все "решающий опыт". Очевидно, что на этой экзальтации долго не прожить. А вместе с тем мужественность Н.М. в отстаивании – среди мракобесия и узости – экуменизма. Еще более удивительное мужество С.М. в защите русских, травимых после войны. Все это вызывает глубокое уважение, даже восхищение. Понятно тоже и то, что им хотелось запечатлеть аромат их, по-видимому, необычайно дружной семьи, ее радость. Только для этого нужен большой художник, а то – ненужная сладость и сентиментальность. Здесь, как это ни странно, экзамен лучше всех выдерживает наименее замечательный, наиболее прозаический из них всех – В.М., доктор. Книга погрузила меня в мою "родину" – эмиграцию тридцатых годов, в ее совсем особенную, ни на что не похожую атмосферу.

Булгаков, Зеньковский, Карташев. Запада, в сущности, они не знали и не понимали, знали западную (преимущественно немецкую) науку и философию. Отсюда все-таки несомненная ограниченность их творчества, их вклада. Пушкин и Тургенев – гораздо более всемирны, чем они. Зернов прав – русская церковная элита, в отличие от греков, сербов и т.п., всегда сознавала вселенскость Православия. А вместе с тем жила все же в "византийской" и "русской" перспективе, с вечным оборотом на русскую "особенную статью". В том-то и все дело, однако, что ни Византия, ни Россия сами по себе не "всемирны". Пушкин "всемирен" потому, что все его творчество – до "историософского" соблазна и падения русского сознания. Всякий оборот на себя, всякая попытка а priori отождествить "свое" с вселенским и всемирным сразу же ограничивает, а на глубине ведет и к духовному заболеванию. Все то же вечное правило: "не сотвори себе кумира."

Вчера в церкви за утреней пели целиком вторую часть канона [Андрея Критского]. И еще раз поразил контраст между этой божественно-грандиозной поэзией, где гремит, сокрушает, действует, царствует, спасает Бог, и вкрапленными в нее византийскими тропарями с их платонической сосредоточенностью на "душе моя", с полным нечувствием истории как Божественного "театра". Там грех – не видеть во всем и всюду Бога. Здесь – "нечистота". Там – измена, здесь – "осквернение" помыслами. Там в каждой строчке – весь мир, все творение, здесь – одинокая душа. Два мира, две тональности. Но православные слышат и любят в основном вторую.

Четверг, 28 февраля 1974

Вчера – первая Преждеосвященная. До этого – полтора часа исповедей! Все то же впечатление: сужение "благодатью" человеческого сознания и отсюда – исповедание не грехов, а каких-то, в сущности, не заслуживающих внимания "трудностей". Мой вечный призыв – живите "выше", "шире", "глубже" – в этой перспективе не звучит. Утром вчера как раз лекция о грехе ("реконструкция" таинства покаяния). Его настоящие "измерения" – теоцентрическое, эклизиологическое, эсхатологическое. Но как все это далеко от привычной установки, приводящей к серому копанью в себе. Сколько в Церкви попросту ненужного, но занимающего всю сцену. И как мало воздуха, тишины, света... Сегодня за лекцией толковал изумительный Апостол на Вербное Воскресенье, Флп.4:4-9 ["Радуйтесь всегда в Господе, и паки реку – радуйтесь..."]. Какой это призыв! И как мало звучит он в "историческом" Православии.

"Чтоб полной грудью мы вдохнули О луговине той, где время не бежит..." (О. Мандельштам)

Где это – в церкви?

Залитые солнцем, предвесенние, сияющие дни.

Пятница, 1 марта 1974

"Любить до смерти кого-то, кого ни следа никогда не видел, ни голоса не слышал, – в этом все христианство. Человек стоит у окна и смотрит на падающий снег, и вдруг в нем разгорается радость, невыразимая человеческим языком. В глубине этой единственной минуты он испытывает таинственное спокойствие, которое не затрагивают никакие его внутренние волнения: тут и есть пристанище, единственное, потому что рай это не что иное, как любовь к Богу, и нет худшего ада, чем остаться без Него" (Жюльен Грин. Дневник II. 1940-1945. Плон, 41-42).

Вчера вечером кончали (чтением Митрополита) канон Андрея Критского. Снова то же впечатление – некоей внутренней неловкости от этого насквозь риторического произведения, что особенно очевидно, когда читаешь в переводе (в оригинале или по-славянски есть хотя бы словесная музыка, поэзия). Вся эта "редукция" Библии к оригенистическому морализму... И не в том дело, что упор все время на одиночной душе (Библия – книга и о мире, и обо всем человечестве, и о каждой душе), а в характере этого упора, в его диапазоне. Я вспоминаю, как в какой-то момент моей жизни, после нескольких лет увлечения (под влиянием о. Киприана, конечно) "византизмом", Византия стала для меня скучной и пресной. Я почувствовал, что отождествление Православия с византизмом – губительно, грозит сужением православного сознания. Православие нуждается не в возврате к византизму, а в оценке этого последнего, в оценке его места в истории и жизни Церкви. А вместо этого произошел как раз "возврат", превративший Византию в идола. Типичное идолопоклонство: либо перед Западом, либо перед Византией. А евразийцы прямо махнули к Тамерлану и Чингис-хану. Не дается русским самостоятельность, свобода – ни мысли, ни души. Всегда они в "пленении" каким-нибудь очередным идолом, максимализмом, чьей-то чужой "целостностью". Так же и интеллигенция "возвращалась" к Церкви и Православию как к чему-то внешнему и сразу же, оказавшись внутри Церкви, отказывалась и от мысли, и от свободы, сразу простиралась перед "Типиконом". И во имя этого вновь обретенного "Типикона" с упоением начинала отрицать и оплевывать все лучшее в себе. "Дар всемирного понимания", "Нам внятно все": на вершинах и взлетах русской культуры это несомненно так. Но слаб в ней "логос" и сильна "эмоция". Русские не любят, а влюбляются – даже в Гегеля и Маркса. В "Запад", в "Византию", в "Восток". И влюбление сразу же ослепляет, лишает как раз "внятности" и понимания. Мучительные страницы в "Автобиографических записках" Булгакова о том, как он "влюбился" в Государя. Но он, собственно, всю жизнь во что-нибудь влюблялся и сразу же строил теорию на этом шатком основании. А другие влюблялись в "Отцов", в "икону", в "быт". И всякая "часть" – таков закон этой русской влюбчивости – моментально превращается в "целое", тогда как единственный смысл всех этих "объектов" влюбления, что только как части они и осмысленны, не "идолы". Пушкин России нужен гораздо больше, чем "Типикон". Во имя Пушкина нельзя ненавидеть, резать и сажать в тюрьму. А во имя "Типикона" очень даже можно.

Понедельник, 4 марта 1974

Вчера весь день в Бостоне. Служба в соборе, завтрак в ресторане (где, в гарвардские годы, мы часто бывали с Сережей) с Померанцевыми, лекция о Солженицыне, ужин у Померанцевых с милейшей парой "новоприезжих" – Шиллеры. Утром, в аэроplane, новая солженицынская "бомба": его сентябрьское письмо правительству с программой – отказа от коммунизма, "расчленения" Советского Союза, отказа от индустриализации и т.д. Текст сам в N.Y. Times не напечатан, комментарии в правильных категориях (национализм, мессианизм, славянофил и т.д.). Нужно подождать русского текста. Но чувствую, что снова – не уложить этого удивительного человека в эти устаревшие категории, что здесь опять что-то новое, требующее для того, чтобы быть понятным и услышанным, отказа от этого привычного "редукционизма".

И это в то время как раз, когда газеты полны статьями о кризисе демократии, о развале Европы, о неслыханном недомогании западного сознания. Мне чудится (хотя, повторяю, нужно подождать текста), что и тут Солженицын окажется пророком, а не ретроградом. Разваливают демократии, в сущности, не идеологии, а экономика индустриализации, непрерывного роста и соответствующее перерождение общества. Не зовет ли Солженицын к концу "гигантизма", к отречению от него, то есть к чему-то совершенно новому, к подлинному перевороту в сознании?

Вторник, 5 марта 1974

Уже по-весеннему тепло, сыро, пасмурно. Сегодня на два дня уезжаю в Syosset на собор епископов, и, как всегда в этих случаях, внутреннее раздражение и мучительное сомнение: нужна ли, правильна ли вся эта сторона моей жизни? Я не верю в христианство вне Церкви, верю в Церковь, но для меня все мучительнее контакт с "профессионалами" церковности, как, впрочем, и с профессионалами благочестия. Страшно душно в этом "церковном" мире. Но что делать – не знаю. И потому раздражение и уныние.

Читал вчера дневники Green'a за военные годы (1940-1945). В Америке – тоска по Парижу. В Париже – по Америке. Как мне это понятно.

Четверг, 7 марта 1974

Два дня на соборе епископов. Запомнится только Преждеосвященная Литургия, которую пели сами владыки. Пели по-дьяковски, вместе с тем очень хорошо, привычно. Поражает эта твердокаменная приверженность, верность, своего рода смирение: не понимаем, не думаем, но вот храним и радуемся, как хорошо храним. Ветхий Завет, а вместе с тем важность этого хранения: потом это "хранемое" ударяет кому-то в сердце своей глубиной, огнем. Не было бы этого "сохраненного", нечем и нечего было бы "зажигать".

Получил вчера в Radio Liberty и затем прочел солженицынское "Письмо к вождям Советского Союза". Снова ощущение той же силы и простоты правды. Эта правда сначала поражает, как наивность, как "чепуха" (не меня, но "искушенного", "современного" читателя). А на деле это, конечно, пророчество, это подлинное различие духов. И это в миллион раз более реалистично, чем все, о чем болтают политики и эксперты. Удивительный, грандиозный человек. По сравнению с этим пророчеством все остальное выглядит, как потемки, растерянность и детский лепет...

Пятница, 8 марта 1974

Только что разговор с М.М.: полное отрицание солженицынского письма, разочарование. "Не в свое дело сунулся", "Жалко", "Смешно" и т.д. Я не удивлен: я с самого начала был уверен, что эмоциональному единокорию и восторгу вокруг С. очень скоро наступит конец. Теперь его будут травить (попервоначально почтительно, а затем уже и открыто) и слева – "демократия", "конвергенция" и т.д., и справа – "единая неделимая, режь, жги и вешай". Но услышать, понять не захотят. Все это вчера сказал по телефону Никите, с которым наше согласие нерушимо. "Меня эта книга веселит", – говорит он. Страшная плененность людей привычными категориями мысли, неспособность взглянуть по-новому, между тем как призыв к этому "новому" и составляет сущность пророчества. Написал Солженицыну письмо.

Вчера собрание у нас семинарских женщин – матушек и будущих матушек. Ведь вот, тьма в мире (газеты, телевизия), а сколько хороших людей, простых, доброжелательных, скромных. И как легко все это испортить.

Суббота, 9 марта 1974

Литургия в семинарии с еп. Григорием (Афонским) с Аляски. Вчера после дня спокойной работы дома – ужин у Сережи и Мани. Поздно вечером у нас Аня и Том со всеми детьми. "Несрочная весна". Правда и красота малых дел, с виду малых радостей. Обо всем этом думал сегодня, идя в церковь и почему-то вспоминая чей-то стих: "И март весенний, грустный, ранний, меня поддерживаешь ты..."

Вторник, 12 марта 1974

"Господь посетит мя и ничтоже ми лишит..."(Пс.22:1). Сила молитвы, когда говоришь Богу: "Я не могу, но Ты можешь... Помоги". Когда всем существом узнаешь, что "без Меня не можете творить ничего" (Ин.15:5).

Вчера в New York Review of Books длинная и очень хорошая статья о "Гулаге" George Kennan'a. А также автобиография Андрея Сахарова.

Уныние от суеты, завала дел и телефонных звонков. Утром настоящая боязнь идти в семинарию, погружаться в эту суету, растерять то, что само "созидается" в часы одиночества.

Среда, 13 марта 1974

Вчера длинный разговор с А.Б. Два человека – девочка, которую он любил, и еще кто-то – порвали с ним, потому что он не верит "по-православному". Объяснял свое отталкивание от Церкви, невозможность верить "по-церковному", "непромокаемость" к "учению". При этом лучезарный мальчик, светящийся добром и любовью к людям. Что можно сказать таким людям? Или, вернее, как "защищать" все то, через что уже почти не просвечивает христианство? Опять та же мысль: тем, кому дан *дар жизни* – и это значит: "религиозное" ее ощущение, гораздо меньше нужна "религия", которая почти всегда от недостатка, а не от избытка, от страха перед жизнью, а не от благодарности за нее. И эта безрадостная, безжизненная религия отталкивает. Отталкивает прежде всего потому, что обращена к жизни осуждением и злобой. "Всегда радуйтесь, за все благодарите"(1Фес.5:16,18): это разве звучит в нашем измученном собственной историей христианстве?

Читаю книгу M.Green "Сестры фон Рихтхотен". Духовная история столетия 1870-1970. Всех взрывов, поляризации, восстаний, тупиков. D.H.Lawrence и Max Weber. Маркс и Фрейд. "Патриархат" и "матриархат".

Разум и инстинкт. И, конечно, страшнее всего в этой истории – почти полное отсутствие христианства как видения, как *term of reference*⁶³, как возможного выхода из всех этих тупиков. Второй после Возрождения распад христианской интуиции мира. Возрождение: восстание против него во имя "личности". Наше столетие: восстание против него во имя всего "безличного", всех "глубин" жизни. И здесь, и там, следовательно, во имя того, что христианство "открыло" и "привило" человеческому сознанию и с чем само не справилось, ставши казенной религией (лютеранство и бисмарковская Германия, православие и византино-славянский мир, католичество и Западная Европа), ставши формой, санкцией, опорой, социально-политическим "тотемом". Поэтому, начиная с Возрождения, все то, что определяло собой историю, что вдохновляло, взрывало, меняло человеческую судьбу, уже не было христианским, а на глубине было восстанием против него. И еще на большей глубине – восстанием против измены христианства самому себе.

⁶³ того, к чему все "относится" (англ.)

Четверг, 14 марта 1974

Что это "казенное" христианство выдохлось, кончается, выпадает из истории – в этом, пожалуй, нельзя, да и не нужно сомневаться. Это кризис, но в положительном, библейском смысле слова. "Проходит образ мира сего", и казенное христианство, связавшее себя с одним его образом, как будто "не преходящим", потому-то и должно, потому-то и не может не освободиться от этой своей казенщины. Но для этого оно должно "всего лишь" стать самим собой. Сейчас налицо – две реакции на кризис. Те, для кого мир кончается потому, что один "образ" его, самим же христианством абсолютизированный, пришел к концу. Те, кто уже готов абсолютизировать новый его "образ", к тому же еще неведомый, становящийся. И здесь, и там отсутствие "пророчества" как различения, понимания, предвидения, чтения воли Божией и воли дьявольской. Одни романтически смотрят в прошлое, другие, столь же романтически, – в будущее. Но прошлое как прошлое – то есть не понимаемое, абсолютизированное, не претворяемое в настоящее, – только груз, только идол, яд, отравляющий организм своим собственным разложением. А будущее как только будущее есть бегство из настоящего, "мечтание" и "прелесть". Для христиан то, что преодолевает прошлое как прошлое и будущее как будущее, что дает им реальность, но и освобождает от них, это – Христос, Который "вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр.13:8).

"Ересь" Ф. – абсолютизирование им "эллинских" категорий в христианстве – только градусом отличается от "ереси" старообрядчества. Как раз "категории" не могут быть абсолютными, потому что они-то и являют "преходящесть" образа мира сего. Категории преодолеваются творчеством: какие "категории" у Шекспира или Пушкина? И если они есть – в чем их интерес? Не в том ли и все дело, что, каковы бы они ни были, творчество их "претворило" и торжествует над временем, то есть над всеми категориями? Но творчество всегда из жизни и о жизни, никогда о "категориях". Отсюда вечное, непреходящее торжество Библии. Она откровение, но Самого Бога, самой жизни, самого мира, а никак не "категорий".

"Он пришел к Церкви..." Двусмысленность, опасность этого выражения. К Церкви можно прийти по тысячам причин, из коих многие совсем не положительные, даже опасные. Нужно "прийти ко Христу". Павел обратился к Христу, а не к "церкви", и потому Церковь для него была только и всецело жизнью со Христом и во Христе. Но вот росла, росла и выросла в истории "Церковь" сама по себе, которую можно любить (даже "влюбленно"), к которой можно "обращаться", которой можно жить, но отлично от Христа...

Воскресенье, 17 марта 1974

Все эти дни – писание, пускай даже и урывками, моего "Of Water and Spirit", вдохновляющее и радостное. В каком я счастливом настроении, когда могу работать над любимым, прикасаться к "единому на потребу"!

Вчера съезд в Yonkers. Ужасно не хотелось, встал в плохом настроении. Но на пути – дождь, ставшее мне за двадцать с лишним лет близким, даже родным, уродство американских рабочих пригородов (где неизменно ютились наши пролетарские, славянские церкви) – как-то чудесно "обратился". Вдруг почувствовал грех этого нежелания, измену. Ведь это мое дело: "во благовремении и не благовремении..." И вот, было хорошо и светло – и во время съезда, и весь день после.

Вечером – вынос креста. Продолжающийся внутренний подъем и свет. Тут – вся правда, тут единственная победа!

А утром сегодня (не пошел в церковь, так как уезжаю на "миссию" в Пенсильванию), пиша

очередной скрипт для радио "Свобода", – опять освобождающая радость от солженицынского "Гулага". "Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением" (стр. 175).

Понедельник, 18 марта 1974

Лучезарный, ветреный, весенний день. На Пятой авеню на ярком солнце развеваются и хлопают от ветра огромные флаги. Чувство праздника.

В сущности, приезд Солженицына знаменует закрытие "эмигрантского сезона". Эмиграция как целое, как "другая" Россия – кончена и должна была бы это признать, чего она, конечно, не сделает, и гниение ее будет продолжаться.

Четверг, 21 марта 1974

Вчера Преждеосвященная в East Meadow. Проповедь. Лекция о Солженицыне. Полная церковь. Причастие из двух чаш. Внутренний подъем от всего этого погружения в самую реальность Церкви. Утром лекция о покаянии, одна из тех, редких, когда получаешь внутреннее удовлетворение. Днем – несколько часов писания "Крещения", тоже с радостью. Наконец, поздно вечером, после лекции, – полчаса у Коблошей с ними и с Губьяками. Радостное чувство братства, единства, любви. Почему нужно все это записывать? Чтобы знать, сознавать, сколько все время дает Бог, и греховность нашего уныния, ворчания, нерадости.

Смотря на толпу в церкви, думал: "Скрыл от мудрых и открыл младенцам" (Мф.11:25). Сложность, снобизм, дешевая сентиментальность эмигрантского подхода к Церкви, простота этих, презираемых эмигрантами, "американцев".

Воскресенье, 24 марта 1974

В пятницу радостное письмо от Никиты: "...вокруг Троицы он (А.И.Солженицын) Вас приглашает к себе отслужить Литургию и приобщить всю семью. До этого он "церковной" жизни не начнет..." Теперь жду письма от *самого*.

Вчера пришел запоздавший "Вестник" (108-109-110!). Читал до двух утра, как говорится – "с неослабевающим интересом". Это единственное во всем православном мире издание, которое берешь в руки с радостью, которое возвышает и вдохновляет, а не вызывает некую духовную изжогу.

Среда, 27 марта 1974

В воскресенье вечером и в понедельник хорошо отпраздновали Благовещение. Полнота радости. Прорыв к нам – из сияющей вечности – "архангельского гласа". Но как трудно сохранить праздник, его светом жить. Точно, "отпраздновав", все начинают стремиться как можно скорее заглушить эту тишину, радость, свет, поскорее погрузиться в привычную суету.

Вчера с Льяной в Нью-Йорке. Покупки. Детское чувство свободы и праздника.

Четверг, 28 марта 1974

"Усложнение словесное, искусственное, своеобразие надуманное и примененное, ложная глубина, настоящее интеллектуальное отчуждение...". Эти слова Leautaud, написанные им в 1949 г. (J.L. 18, 11), можно было бы отнести, в еще большей мере, ко всему тону современной культуры. Думаю это по прочтении двух номеров Express'a. Голый король!..

Etat de reverie. Этому французскому выражению нет настоящего русского перевода, выражения, которое бы соответствовало ему полностью. Не "мечтательность" и не "мечтание". Думал сегодня: "греховно" ли оно, хорошо – то есть состояние reverie – или же нет? Ибо мне ясно, что это мое излюбленное состояние: полураздумье, полусозерцание. Погружаюсь я в него чрезвычайно легко и при каждом удобном случае, отрываюсь от него – всегда с трудом и усилием.

Сегодня рано утром – Мариино Стояние. Вчера вечером Преждеосвященная, которую служил архиепископ Иаков, в сослужении со мной и о.Иоанном Мейендорфом.

Достигать полного и настоящего, а не показного, равнодушия к тому, что о тебе говорят. Раньше я был очень чувствительным к этому: меня угнетало непонимание, несправедливость, вражда – всегда, по моему убеждению, незаслуженная. Но я с радостью убеждаюсь в том, что освобождаюсь от этой чувствительности. Особой заслуги нет: тут, как и всюду, привычка. К этому приучает Сам Бог. В эти дни умирает Аркадий Борман, поливавший меня грязью все эти годы. Ни малейшего чувства враждебности. Только жалость ко всей этой бесполезной страсти.

Один за другим – лучезарные, холодные дни. И вот уже завтра: "Радуйся егоже радость возсияет: радуйся, заре таинственного дня..." С детства – любимейший день.

Суббота, 30 марта 1974

Весь день вчера – снежная буря. Весь день – дома, "в тепле и холе", как говорит Мегре. Вечером – акафист, порыв радостного любования, бескорыстной хвалы. По телевизии – приезд в Цюрих семьи Солженицына, он, несущий на руках своих мальчиков. Виденье чего-то простого, вечного, светлого: той жизни, которую калечит, извращает и демонически разрушает суэта и злоба "мира сего". Но "все мнутся земнороднии..." Только это и живет и пребывает.

Размышления о стиле. Читая Leautaud, например, совсем забываешь, вернее – не сознаешь все время, что он пишет по-французски. Язык и человек сливаются до конца, и язык полностью, до конца выражает человека. Но это очень редко. Обычно расхождение остается. И чем он больше, тем "ограниченнее" писатель, тем больше чувствуется он, как только русский, только француз или, что еще хуже, – только писатель. Принцип перевода: писать так на этом языке (на который переводишь), как писал бы на нем писатель, которого переводишь, если бы именно этот язык был его языком. Проникновенье, иными словами, в писателя, а не в его "язык", или в язык, как его язык. Перевод передает не "стиль", а мироощущение автора. Засим вполне допустимо, что мироощущение это, тем не менее, *только* французское (как, думается, в случае Leautaud). Но тогда и переводить "не стоит", ибо во "французское" (а не "всечеловеческое") мироощущение доступ один: язык.

Вторник, 2 апреля 1974

В воскресенье русская лекция в Бостоне. Ж.П.: "Как я рада, что они Вас слушали, если бы Вы знали, что о Вас говорят..." Сперва меня это всегда удивляет: откуда эта ненависть, эти самые невозможные небылицы, эта – у некоторых – буквальная "одержимость" мною? Но скоро убеждаюсь, с радостью, что это перестало, как раньше, выбивать меня из колеи, лишать спокойствия. Постепенно начинаешь всему "знать цену", главное же – человеческим пристрастиям, "популярности", "непопулярности".

Вчера днем – на короткое время в Wappingers [к дочери Ане], а потом вдвоем в Kent. "Ностальгическое" путешествие: как мы любили эти поездки к Сереже в его годы учения в Kent School, 1957-1963. Ехали по маленьким дорогам, через горы, этот особый уют Новой Англии. Ужинали в ресторане, куда ходили с детьми. Все голо, но в воздухе несомненно чувствуется, пробивается весна.

Пятница, 5 апреля 1974

Письмо от Солженицына: "30.3.74 Дорогой отец Александр!

Простите, что до сих пор не написал Вам: очень трудно жить, пока освоишься, – не то что до серьезной работы, не то что на письма отвечать, но даже распаковать их и рассортировать не хватает сил (уже за 2000, наверно).

Мне говорил Никита Алексеевич, что Вы собираетесь к Троице в Европу. Если так, то спишемся – и приезжайте-ка Вы к нам в Цюрих на денек-другой. Много набралось, о чем поговорить. Здесь на Западе, в частности, остро встал не совсем понятный для меня вопрос о множественности православных церквей за рубежом. Уже были у меня кое-какие встречи, и я хотел бы получить от Вас разъяснения. Но раньше того и сердечней того хотелось бы мне у Вас исповедоваться и причаститься. Да и семья вся, наверно. Возможно ли это? Обнимаю Вас! Душевно Ваш. А.Солженицын"

Радость от этого письма, от его простоты, скромности, непосредственности.

Эти дни:

Во вторник: разговор на радио "Свобода" с В.Б., одним из "новейших". Об отталкивании его от "новообращенных", об их гордыне, жестокости, самодовольстве. О поисках в религии нового порабощения. Впечатление очень тяжелое.

В среду утром – полет в Монреаль. Чудный весенний день. Так как никуда не торопился, то с аэродрома сел на автобус в город, потом в метро. Любимое чувство: одиночество и свобода, в солнечное утро, в чужом городе, живущем своей будничной жизнью, а для меня – праздничной. Лекция в [университете] McGill. Вечером удивительная Преждеосвященная – хор молодежи под управлением Лизаньки Виноградовой. Умиление до слез этой молодежью, которая, несмотря на все, несмотря на тупое сопротивление "старших" (безысходный грех русской эмиграции), тянется к подлинному, находит его и снова зажигает все светом.

Смерть в Париже Помпиду. Страшное волнение, внутреннее "участие": как все-таки Франция и все, к ней относящееся, мне близки. Сколько "родин" может иметь человек?

Маленькая Вера⁶⁴. Рай, открытый детям, из них сияющий.

Сегодня – последняя великопостная утренняя. Нарастание Лазаревой Субботы, всего высокого, во что вступаем...

"Несрочная весна..."

Лазарева Суббота, 6 апреля 1974

Какой удивительный праздник! "Общее воскресение прежде твоя страсти уверяя..." Действительно – "удостоверяет", действительно – поглощает смерть победой. Вершина Православия в его последней подлинности, в его глубинном опыте. Причастие детей.

Вчера вечером – телефон от В.Н.Чалидзе. Полное возмущение на солженицынское "Письмо вождям". Так же, будто бы, и Сахаров. Это, конечно, за приятие в России "авторитарного режима". Только у Солженицына реализм – от жизни, от опыта, от "зрячей любви", а тут – идеи. Высокие, прекрасные, но ненужные. Россия и демократия. Правовое сознание. Но оно предполагает некую интуицию человека, без нее оно не живет.

⁶⁴ Вера Ткачук, внучка о.Александра

Великий Понедельник, 8 апреля 1974

Хорошо отпраздновали Вербное Воскресенье. Торжественные службы. Масса народу в церкви. Вчера весь день в доме – внуки, и Анины, и Сережины. Вечером – "Се Жених..." Все сады вокруг нас светятся цветущими форситиями.

Чехов ("Письмо"): "...наказующие и без тебя найдутся, а ты бы... милующих поискал!"

Светлый Вторник, 16 апреля

Страстная и Пасха с обычной для них напряженностью, нарастанием, полнотой. Всегда волнуюсь о том, чтобы все прошло хорошо, и, слава Богу, всегда тот же подарок с неба. И опять то же чувство: как легко все это – всю эту красоту, полноту, глубину – превратить в "самоцель", в "идола". Ибо как только применишь это к жизни – страшное сознание, что в жизни это – крест. То, чему учит, что раскрывает Страстная и Пасха, – это такой замысел о жизни и победе, который действительно, как оружие, "проходит сердце".

Два дня суматохи в доме – дети, внуки.

В пятницу, после выноса Плащаницы, – полтора часа с Коржавиным. Сегодня – Чалидзе и Литвинов.

Вчера в New York Times ответ Сахарова Солженицыну. Растущее кругом раздражение на Солженицына. И, как всегда, не знаю, что ответить "рационально". Умом я понимаю это раздражение, понимаю все возражения Сахарова – умеренные, обоснованные, разумные. Но сердцем и интуицией – на стороне Солженицына. Он пробивает стену, он бьет по голове, он взрывает сознание. Вечный конфликт "пророчества" и "левитства". Но пророк всегда беззащитен, потому что против него весь арсенал готовых, проверенных идей. Трагедия пророчества в том, что оно не укладывается в готовые рамки и их сокрушает. Только этого и не прощают пророку. Борясь с ним, его идеи излагают в тех категориях, которые они – эти идеи – и ставят под вопрос. И он выходит каким-то дураком. Вот почему нужно "истолкование пророчества" – в этом, может быть, и состоит назначение культуры.

Светлая Среда, 17 апреля 1974

Вчера вечер с В.Н.Чалидзе и П.М.Литвиновым. Этот последний мне очень понравился: светлый, открытый и – чувствуется – глубокий. Оба настроены крайне отрицательно по отношению к солженицынскому "Письму". Мне кажется, что от "единого фронта" этих диссидентов далеко, так наболело у каждого и так каждый бурлит своим, "выношенным". Все за свободу, но каждый остро и жестоко "анафематствует" каждого... Грустно.

Таких дней, такой ясности, такого солнца, кажется, никогда не видел. И каждое утро – пасхальная обедня и крестный ход. Если бы "это" предложить всем или, вернее, то, что – с такой победной силой – льется из всего этого.

Тоже вчера – завтрак с милым о. Кириллом Фотиевым в ресторане, потом длинная прогулка по Нью-Йорку.

Чтение французских журналов: "L'Express", "Le Point". Предвыборная лихорадка. Правота "консерваторов": ощущение народа как целого. Ошибка "левых": сдача перед "классами" и "экономикой". Ошибка "правых": подчинение мифу "величия". Правота "левых": отрицание этих мифов. А в общем – две мифологии.

Перечитываю свою записную книжку 1936 года:

... в доверии к Богу, к себе, к людям...

Понедельник, 30 ноября 1936

Ничего не пишу, потому что забываю. Да в общем ничего важного и не случилось. Два раза в месяц езжу на собрания по изучению Православия, Католичества и Англиканства, а летом, наверное, в Англию.

Слушал Зеньковского и о. Михаила Осоргина. Последний в особенности очень хорошо говорил. Прочел "Иисуса Неизвестного". Я думаю, что самые животрепещущие, страшные и великие вопросы в христианстве: о Евхаристии, о предопределении, о чуде.

Четверг, 10 декабря 1936

Был у о. Михаила Осоргина. Разговаривали о предопределении, о пресуществлении.

Тишина – гармония звуков. Предопределение – как спасение всех. Великий человек может спастись, если хочет. Предведение Божие (апостол Павел – ревнитель о Господе и гонитель христианства). Понять все душою, а не умом (Литургия). Главное – любовь к Богу, любовь к ближним. Любить. Понял, но еще не душою. Ждать просветления. Сомнения бывают только у верующих людей. Подчинение ума – духу.

Пятница, 11 декабря 1936

Вчера был у о. Михаила Осоргина в Clamart. Много нового, хорошего – такой от него исходит покой.

Еще не совсем разрешил предопределение.

Пишу стихи.

Погода серая и туманная, и Париж тоскует.

Кончается год.

Об обеде – очень ясно говорили. Трудно, но можно...

<...>

К таким вопросам, как Евхаристия и предопределение, нельзя подходить умом, логикой: "если – значит...". Надо душой. В каком-то восторге, экстазе, напряжении открывается и познается все. Без любви к Богу – нельзя. Не говорить: "Сначала пойму, потом полюблю". Надо: "сначала полюблю, потом пойму". В этом – весь секрет Богопознания. Главное благо – единственное и незаменимое – это мир душевный, и этот мир не противоречит вышеуказанному "восторгу".

* * *

Вторник, 23 апреля 1974

Внезапная, всех поразившая смерть Сережи Бутенева в прошлый четверг [пятьдесят два года]. Я приобщил его в госпитале в среду ночью. Отпевали в Светлую Субботу – удивительным, радостным, торжествующим пасхальным чином. Как случилось, что Церковь – за исключением этой одной недели – просто потеряла то, что должно было бы быть христианским погребением? Предпочла тональность, морбидность, мрачную "делектацию"⁶⁵ своих теперешних, не-христианских похорон? Маленький Петя Бутенев своей матери: "Я понял связь между Пасхой и смертью". Но ведь связь эта и есть христианство. Педагогика страха и ада: но она не действует. И вот, не понимают больше: "Поглощена смерть победой". И выдыхается христианство со всеми своими догматиками...

В субботу – пасхальная открыточка от Солженицына.

В пятницу – крещение Лили Штейн.

Вчера – Mary Washington College в Fredericksburg, Virginia. Лекция о Солженицыне.

Усталость от напряжения всех этих дней, от массы мелких забот. А, может быть, от того, что после субботнего прорыва – этого пасхального погребения, службы, как бы несшей всех нас в своем ликующем утверждении, – трудно возвращаться к маленьким заботам и суете, которых так много в моей жизни. Осталось три недели!

Текст сахаровского заявления по поводу "Письма вождям". Замечательный по тону, по убедительности. И все, конечно, рукоплещут (вчера на радио "Свобода") и готовы обрушиться на Солженицына (давно хотелось!) Но вот не видят того, что именно вся "правда" Сахарова – весь этот рациональный, умеренный, проверенный подход – что все это как раз и обанкротилось в два страшных "века разума". Что это тупик. Что Солженицын с мелвежской неуклюжестью и своеобразной "слепотой" ломает стену, призывает нас взглянуть не туда, по-другому, по-новому. Сказал вчера Корякову по этому поводу: "Да, слепы люди, низки тучи – и где нам ведать торжества!"⁶⁶.

Пока писал эту страничку – четыре телефона!

Среда, 24 апреля 1974

Весь день в семинарии: утренняя, потом лекции, потом писание писем, аж до головной боли! И все время кто-то заходит, "дела", то-сё... И поражаешься, в каком маленьком и душном мире все это живет, какими страстишками волнуется, как от всего этого хочется бежать. Лишний раз чувствую всю ограниченность, ложь всякого "клерикализма", всех этих "церковных интересов". "Интерес к религии", но не к жизни преизбыточествующей, не к радости, не к полноте.

Пятница, 26 апреля 1974

Переворот в Португалии, приближающиеся выборы во Франции, Watergate и impeachment здесь. В высшей степени подозрительное – ибо возбужденное, упрощенное, поверхностное – "религиозное возрождение", с тягой на мистику, экзорцизмы, "технику молитвы" и т.д. Вчера рассказ Тома о посещении его двумя бенедиктинцами-монахами, ищущими "эксперта" по Пахомию Великому для чтения им лекций, якобы необходимых для их "молитвенной жизни". Какое все это безумие! Чувствую, что единственное правило в жизни – чуждаться всякой моды, всякой волны, всего того, что

⁶⁵ От англ. delectation – наслаждение

⁶⁶ Из стихотворения А.Блока "На смерть Коммиссаржевской"

на гребне волны.

Вчера совет профессоров – вот уже свыше двадцати лет я удивляюсь – как можно так не понимать! Так не слышать!

Прочел книгу "левого" журналиста Jean Lacouture. Все то же чувство – мне одинаково противны – и уже давно – и правые, и левые.

Суббота, 27 апреля 1974

Утром свадьба М. Оболенского в пустой церкви. Насколько осмысленней наших торжественных и опустошенных "светских" свадеб!

Потом отвозил венцы в Yonkers: бедные домишки, садики, мастерские, люди, идущие за покупками. Как будто свежий воздух, сама жизнь!

Лучезарный, почти летний день. После обеда два часа сидел на солнце, перечитывая "Le Revolver de Maigret". Сплошное счастье, несмотря на уколы совести (стол, заваленный незаконченной работой...)

Но зато как хороша церковь в эти пустые утренние часы, с солнечными лучами на иконах. "Царство Божие посреди вас есть". О чем читать лекции? И вести диалоги? И какие проблемы решать? Христианство "болтающее" – это, в сущности, новая глава в его истории. Когда люди поставили "проблемы", они перестали радоваться, благодарить и молиться.

Понедельник, 29 апреля 1974

Убирая и переставляя книги, случайно перелистал Воспоминания детства" Э.Ренана. О Сан-Сюльпис: "Эхо страстных дискуссий иногда доносилось из-за стен дома, беседы господина Мангина особенно действовали на молодых. Однажды один из них прочитал ректору, господину Дюкло, отрывок из доклада, который показался ему устрашающе жестоким. Старый священник, полупогруженный в нирвану, едва слушал его. В конце, очнувшись и пожимая руку молодому человеку: "Понятно ведь, друг мой, – сказал он, – что люди эти не молятся". Эти старые совершенные мудрецы ничему не удивлялись. Однажды на площади Сан-Сюльпис раздался шум. "Пойдёмте в часовню, чтобы умереть всем вместе!" – воскликнул прелестный молодой человек, который был готов на всё. "Я не вижу в этом необходимости", – ответил один из старших, и прогулка по внутреннему дворику продолжалась" (фр.). (Нелсон, с.159).

"...основательное учение, отвергающее омерзительный блеск успеха" (там же, стр.162)

Сегодня рано утром в Нью-Йорк (приехал с Л. и было рано идти на радио "Свобода"), зашел в католический собор св. Патрика. Там кончалась месса, человек сорок причастников. Много людей, погруженных в молитву, рассеянных по всему храму. Эти люди, молящиеся в будничное утро, в самом сердце "Вавилона", всегда увлекают меня за собой. Прикосновение к душе "мира и радости в Духе Святом".

Совсем лето. Наш Crestwood утопает в цветущих деревьях. Вчера весь день дома: уборка моей комнаты (в ее хаосе уже больше нельзя было работать), прогулка с Л., два радиоскрипта о "Гулаге".

В метро, в давке, думал сегодня утром о "рабочем вопросе". Тупик в том, что они хотят точно того же самого, чего хотят их "эксплуататоры", та же шкала ценностей. Если бы они хотели другого!

Но того, что они хотят, достичь, по всей вероятности, можно только при капитализме и экономическом неравенстве. Порочный круг. И обман демагогов, уверяющих, что "равенство" возможно. Утомительная ложь и пустота всего этого.

Среда, 1 мая 1974

"Когда поэт умирает, настоящая вера не за горами" (Фрэнсис Жансон "Сартр в жизни", Стр.191)

Четверг, 2 мая 1974

Книга Jeanson о Сартре. Jeanson (сам атеист и восторженный поклонник Сартра) хорошо показывает, что, в конечном итоге, все – и в жизни, и в мысли Сартра – исходит из *веры*. И предпосылки – *свобода* и, конечная цель, *человек* – суть прыжки, прыжки веры, они ни из чего не вытекают, ничем не доказаны, суть "абсолют" веры. Это надрывный атеизм, это вера в атеизм, выбор атеизма, ненависть к религии, но религиозная. Поэтому от мысли Сартра ничего не остается, но остается трагическая судьба человека, всю жизнь хватавшегося за любой "абсолют", лишь бы это не был Бог, христианство, Христос. Единственный настоящий вопрос потому – это вопрос о причинах, истоках этого страстного, действительно фанатического отказа и отречения. Одна причина, так сказать "положительная", – это радикализм, привитый христианством новой культуре, человеческому сознанию. Радикализм – то есть эсхатология, то есть отрицание "мира сего" как демонического "образа" во имя подлинного творения, божественного космоса. Вторая же причина, "отрицательная" (и даже демоническая), – это, конечно, гордыня, восстание уже личное против Бога. Сартр готов поработиться чему угодно – истории, "молодежи" и т.д., готов бичевать себя, но все это остается пронизанным неслыханной гордыней.

Трагичнее же всего, конечно, это ответственность Церкви – и за отчуждение радикализма от христианства, и за антихристову печать этого нового, не христианством вскормленного радикализма: ответственность, укорененная не в грехах и слабостях, а в отречении от эсхатологизма, в принятии "религиозной функции", в замене веры – благочестием, Церкви – "освящением", панихидами и молебнами, Христа – "сладчайшим Иисусом", Божией Матери – сентиментальным причитанием, свободы сынов Божиих – рабским страхом нарушить Типикон, спорами о "каноничности" и измерением "благодати", в замене богословия – "богословской наукой"...

Вот читаешь такую книгу о Сартре – и всем существом осознаешь и ощущаешь, что все тут – страшный, слепой, мучительный вопль о христианстве и к христианству. Атеизм, пронизанный религиозной жаждой, с одной стороны; религия, пронизанная атеизмом, – с другой: вот контекст, в котором нужно жить и работать!

Гордыня. Она оттого (хотя бы отчасти), что человек думает (и его так учат все "религиозники"), что смирения требует Бог или, иными словами, что Бог, потому что Он Бог, может быть "гордым", а нам – ничтожной твари – подобает быть "смирненными". Отсюда вывод – религия "унижает" человека и т.д. На деле же, конечно, смирение как раз Божественно, и его как Божественное, как суть Божества являет Христос. Слава и величие Божие – в Его смирении. И вот характерно, например, что у Сартра настоящая жажда смирения, настоящая в смысле подлинности. Он отвергает Бога, потому что он думает, что Бог – это гордыня и гордость, требующая порабощения, то есть признания гордости, смирения как онтологического закона Божия, утвержденного религией. И это подтверждается тем, что Бердяев называл "гордостью смиренных" и что является, увы, основным извращением христианского благочестия, действительного рабьего и рабской психологией пропитанного. Но если бы он – Сартр – понял, или не понял, а ощутил каким-то для него, как и для всей нашей культуры, недоступным "озарением", что смирение Божественно, а гордость – от маленького и мизерного дьявола, который

первый "обиделся" на Бога и подумал, что Бог – "горд", то, может быть, все переменялось бы. Но это основное духовное недоразумение – об онтологии смирения – больше всего питается самой религией, больше того, есть исходная предпосылка религии, разрушенная Христом, но вечно возрождающаяся в религии, в присущем ей "антропологическом минимализме".

Суббота, 4 мая 1974

Завтра – выборы во Франции. Купил французские журналы – L'Express, Le Monde – и весь вечер вчера читал. Ужасающая слепота Запада, это дешевое увлечение всем, что "слева", разлив демагогии. И все это после страшного опыта всех этих десятилетий, после "Гулага". Действительно – ушами будут слышать и не услышат, глазами смотреть – и не увидят (Мф.13:15) ... Стихийный закат Запада.

В четверг вечером – лекция о Солженицыне в Lafayette College, в Пенсильвании. Поездка туда – весенним вечером, через поля, фермы. Удивительная красота и радость ранней весны. Хороший вечер, милые люди. Все зло от "идеологий", от идеологизма. Цель и критерий власти: "общее благо", и только. Но оно как раз не "идеологично".

Понедельник, 6 мая 1974

В Binghampton, у о. Бориса Власенко. Проповедовал на утрени, проповедовал на Литургии, две "беседы" с прихожанами, потом – с двух до пяти: собрание с местным духовенством. В общем полюбил эти "погружения в базу", и меня совсем не смущает чудовищная примитивность вопросов, волнующих людей (нужно ли женщинам покрывать голову в церкви, календарь, обряды), – в них все же больше подлинности, чем в разговорах о "духовности".

Среда, 8 мая 1974

Преполовение. Ранняя Литургия. Цветущее блаженство мая: день за днем такое сияние, такое цветение, что диву даешься. Завтра – последние лекции в этом учебном году. Письмо от [брата] Андрея.

Понедельник, 13 мая 1974

В субботу открытка от Солженицына (в ответ на мое письмо об отелях и т.д.):

"Дорогой о. Александр!

На аэродроме Вы возьмете такси и немедленно приедете ко мне. Отсюда мы тотчас выедем с Вами в горы, где Вы и проведете у меня сутки-другие (и выспитесь отлично). Там и наговоримся. Я настоящий собеседник – только вне города. В последний день вернемся домой, и тут отслужите.

Поверьте – это лучшая программа, которую я не предлагаю никому. Никаких отелей! Обнимаю Вас и жду..."

Вторник, 14 мая 1974

На прошлой неделе – два дня в Rochester. Лекция. Две телевидии. Прием. Журналисты. В субботу – лекция семинаристам-грекам, тихоновцам и нашим. Исповеди. Всенощная. В воскресенье – Бостон. Вчера – радио "Свобода". Письмо и речь Митрополита на завтрашнем Синоде. И т.д. И при этом – ларингит (без голоса) и качающиеся зубы... И от всего этого загромождения – опустошается душа...

После разговора с D.D. в аэроплане (из Бостона) думал о своей жизни. Я ощущаю себя неизменно "созерцателем" – не в смысле, конечно, какой-то напряженной "духовной жизни" (о нет!), а в житейском смысле. Я люблю читать, думать, писать. Люблю друзей и спокойствие и бесконечно счастлив один, дома, с семьей. А вместе с тем вся моя жизнь – одна сплошная обреченность на "действие" – в церкви, в семинарии и т.д., на "решения" и на "ответственность". Как бы сказать? Меня постоянно *вмешивают* в дела, в которые я совсем – нутром – не хочу вмешиваться. Многие, если не все, считают меня, наверное, необычайно властолюбивым, амбициозным человеком, "активистом". Но, по совести, я знаю, что я этого не хочу и не ищу. Откуда же это и почему – всегда приходит? Я вмешан решительно во все и всюду, во всем оказываюсь своего рода "ответственным", если не козлом отпущения. И вот в 52 года я так и не могу решить: что мне делать? Принять это "вмешивание" и нести его – при всем внутреннем нежелании, отталкивании – или же пытаться освободиться? Что правильно, а что малодушие? "Каждый должен следовать своей наклонной, лишь бы она шла по восходящей". Но что делать, когда неясно, в чем именно моя "pente"?"

Вторник, 21 мая 1974

Все эти дни – в суматохе и делах – ничего не записывал. Хочу, поэтому, отметить только главное:

В прошлый вторник вечером (14-го) – у Штейнов с Коржавиным, Борисом Зубок и Балашовым (только что из СССР). Их страстные споры между собой.

В среду 15-го – синод в Сайоссете, избрание владыки Сильвестра Временно Управляющим и т.д.

В четверг 16-го – ужин у нас оканчивающих студентов.

В пятницу 17-го – бесконечный совет профессоров.

В субботу 18-го – выпуск. Литургия с вл. Феодосием. Попечительский совет, обычные церемонии.

Наконец вчера – 20-го – поездка в Тихоновский монастырь для разговора с вл. Германом и вл. Киприаном. Главное – сама поездка, из-за невозможной красоты дня, цветущих лесов, залитых солнцем полей. Как будто принял ванну одиночества, счастья, тишины. После всех этих суетных дней это было острое блаженство.

Известие об аресте в Москве о. Дмитрия Дудко.

Среда, 22 мая 1974. Отдание Пасхи

Вчера – весь день в Нью-Йорке. Разговор с таксистом-поляком: "В Америке слишком много свободы..." А в России – слишком мало. И то, и другое правда, но как решается это уравнение? И опять мне кажется, что прав Солженицын: свобода без нравственного этажа – сама себя разлагает. Этой свободе "учат" в университетах: страшная судьба женщин, погибших в Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией, – все как одна "радикализировались" в университете.

Четверг, 23 мая 1974. Вознесение (до Литургии)

Вчера, после всенощной, исповеди. Каждому то же самое: освободиться от пут мелочности. Мелочность – души, отношений, интересов, "забот" – не только мешает Богу в душе, она и есть сущность демонического. Падший мир – это, прежде всего, мир "мелочный", мир, в котором не звучит

высокое. В нем и религия непременно становится мелочной. Искажение христианства не от "ересей", а от "падения". Падение – вниз, а внизу – мелочное.

Я хотел бы написать для себя, по возможности – абсолютно правдиво, в чем моя вера. Осознать тот строй символов – слов, настроений и т.д., что ее – во мне и для меня – выражают. Единственный важный вопрос: как объективная вера становится субъективной, прорастает в душе как вера личная? Как общие слова становятся *своими*? "Вера Церкви", "вера Отцов" – но ведь тогда только и живет она, когда становится *своей*.

Суббота, 25 мая 1974

Два дня до отъезда к Солженицыну. Нарастание внутреннего волнения – "каково будет целование сие..." (Лк.1:29). А тут еще звонок за звонком – скажите С., передайте С., внушите С., попытайтесь убедить С., спросите С. Письмо от Никиты: "С. издерганный..." Изгнание для него гораздо труднее, чем могло казаться сначала. Нетерпеливый. Требовательный.

И все же – хорошая тишина внутри, мир. Будет то, что нужно и как нужно.

Понедельник, 17 июня 1974

Вчера вернулся из Европы. Сначала – с 28 по 31 мая – у Солженицына в его горном уединении, вдвоем с ним все время. Перепишу сюда записки из моей книжечки, которые я набрасывал там, каждый вечер. И уж только потом, может быть, смогу подводить "итоги" этим – самым знаменательным – дням моей жизни.

Потом – Париж, съезд Движения, неделя суеты, встреч, разговоров.

А с 10 по 15 июня с Льяной в Венеции, в золотом свете этого удивительного города. Такой "anticlimax" солженицынским дням... В Венеции же прочел второй том "Гулага".

"ГОРНАЯ ВСТРЕЧА" (*переписано из записной книжки, которую я брал с собой в Цюрих*)

"Горная встреча" – из надписи, сделанной С. на подаренном мне карманном "Гулаге": "Дорогому о. А.Ш. в дни нашей горной встречи, к которой мы давно приближались взаимным угадыванием..."

Вторник, 28 мая 1974

В десять утра начинаем спускаться к Цюриху. Идет проливной дождь. Несмотря на бессонную ночь в аэроплане, чувствую себя бодро, но странно: "регистрирую" все мелочи, все вижу, а дальше все упирается в: "сейчас еду к Солженицыну!" Сейчас. И потому – запомнить все, по отдельным кускам времени: как я стою в ожидании багажа, как я жду такси, и вот – едем... Дождь, улицы, улицы, повороты. И вдруг: Stapterstrasse 45. Запущенный садик, незапертая калитка. Огибаю дом. Звоню. И вот: открывает дверь А.И., и сразу ясно одно: как все просто в нем...

Среда, 29 мая 1974

Sternberg. Zurcher Oberland

Вчера глаза слипались, заснул. Сейчас семь утра. Наверху копошится А.И. Перед окном горы и небо. Вчера – в Цюрихе, при встрече, – все подошли под благословение, особенно усердно Ермолай. Чаепитие. Я: "У меня такое чувство, что я всех вас так хорошо знаю". Жена Наташа: "А уж как мы Вас

знаем..." Мать жены – Екатерина Фердинандовна, тоже простая и милая.

Первое впечатление от А.И. (после простоты) – энергия, хлопотливость, забота. Сразу же: "Едем!" Забегал, носит свертки, чемоданчики. Чудная улыбка. Едем минут сорок в горы. Примитивный домик, беспорядок. Вещи – и в кухне, и на письменном столе – разбросаны. В этом отношении А.И. явный русский интеллигент. Никаких удобств: кресла, шкапа. Все сведено к абсолютному минимуму. Также и одежда: то, в чем выехал из России. Какая-то кепка. Офицерские сапоги. Валенки.

"Мне нужно столько с Вами обсудить" (обсуждение подготовлено, продумано: список вопросов на бумажке).

О Церкви: "Знаете что: я буду "популяризатором" Ваших идей".

Об "Узлах"⁶⁷: прочитать (в рукописи) все, что написано о Церкви. "А я исправлю, если нужно..."

Об эмигрантских церковных подразделениях.

О "Вестнике".

О еврейском вопросе.

Четверг, 30 мая 1974

Вчера – весь день вместе. Длинная прогулка на гору. Удивительный, незабываемый день. Вечером, лежа в кровати, думал о "несбыточности" всего этого, о сказочности. Но только потом пойму, вещу все это...

Дал мне прочитать – в рукописи – главы второго узла: пятую, шестую, седьмую, восьмую. Разговор Сани Лаженицына со священником: о старообрядчестве, о церковных реформах, о сущности Церкви, о христианстве и других религиях... Пятая глава мне сначала не понравилась: как-то отвлеченно, неживо, книжно... Сразу же сказал А.И. Принял. Но шестая, седьмая, восьмая – чем дальше, тем больше захватывают. Он все чувствует нутром, все вопросы ставит "напробой", в основном, без мелочей. Потом последняя глава – шестьдесят четвертая. Исповедь. "Это все, Вы увидите, Ваши идеи..." (Насчет моих идей – не знаю, но глава прекрасная.)

Страстное сопротивление тому, что он называет "еврейской идеологией". (Евреи были огромным фактором в революции. Теперь же, что режим ударил по ним, они отождествляют советское с исконно и природно русским.) Попервоначально можно принять за антисемитизм. Потом начинаешь чувствовать, что и тут – все тот же порыв к *правде*, затуманенной, осложненной, запутанной "словесами лукавствия". (Все это потом развить.)

Дает читать статьи для нового сборника с Шафаревичем. Новая перспектива о России и ее истории... Народ. Все заново, все по-новому. Что-то стихийное.

Страшно внимательный. Обо всем заботится. (Неумело) готовит, режет, поджаривает. Что-то бесконечно человечески-трогательное. Напор и энергия.

⁶⁷ Солженицын А.И. Красное колесо. Повествование в отмеренных сроках. Узлы I-IV

О России все говорит: "тут". Запад для него не существует. Никакого интереса.

Не любит всего петровского периода. Не любит Петербурга.

Пастернак: "Не имеет никакого отношения к России..."

"Любимый мой праздник – Троица..."

Хочет жить в Канаде. Устроить "маленькую Россию". "Только так смогу писать..."

"Всю мою жизнь за успех в главном я платил неудачами в личной жизни". Рассказ о первом браке.

"Я знаю, что вернусь в Россию". Ожидание близких перемен. Уверенность в них.

Абсолютное отрицание демократии.

Признание монархии. Романовы, однако, "кончились еще до революции".

Невероятное нравственное здоровье. Простота. Целеустремленность.

Носитель – не культуры, не учения. Нет. *Самой* России.

"Подлинный подход ко всему – в самоограничении..."

"Религия – критерий всего" (но это "утилитарно" – для "спасения" России...).

"Вестник РСХД" (108-110) – с его карандашными пометками. На стр. 30, в моей статье о Евхаристии (о перерождении эсхатологии) – приписано сбоку во всю длину абзаца: "поразительная картина".

Целеустремленность человека, сделавшего выбор. Этим выбором определяется то, *что* он слушает, а что пропускает мимо ушей. Слушает, берет, хватает то, что ему нужно. На остальное – закрывается.

Зато – внимание к конкретному: постелить кровать, что будете есть, возьмите яблоко...

Несомненное сознание своей миссии, но именно из этой несомненности – подлинное смирение.

Никакого всезнайства. Скорее – интуитивное всепонимание.

Отвращение к "жеманной" культуре.

Такими, наверное, были пророки. Это отметание всего второстепенного, сосредоточенность на главном. Но не "отвлеченная", не "идейная", а жизненная (развить: см. гл. 64 второго узла).

Живя с ним (даже только два дня), чувствуешь себя маленьким, скованным благополучием, ненужными заботами и интересами. Рядом с тобою – человек, принявший все бремя *служения*, целиком *отдавший* себя, ничем не пользующийся для себя. Это поразительно. Для него прогулка – не отдых и не развлечение, а священный акт.

Его вера – горами двигает!

Какая цельность!

Чудный смех и улыбка.

"Представьте себе, мой адвокат все время отдыхает". Искренне удивлен. Не понимает (как можно вообще "отдыхать"...).

"Мы с женой решили: ничего не бояться". И звучит абсолютно просто. Так решили, так и живут... Никакой сентиментальности по отношению к семье и детям... Но говорит с женой по телефону так нежно, так заботливо – в мелочах...

Сажу за его столом, на котором хаос несусветный. Подернутые утренним туманом горы. Колокольчики коров. Блеянье овец. Цветущая сирень. Все это для него не Швейцария, не Запад, он целиком – "там" ("тут", как он говорит). Эта точка – анонимная на земном шаре: горы, небо, звери. Это даже не кусок России. Там, где он, – там сама Россия. Для него это так ясно, что ясным становится и мне.

Легкость, с которой он отбрасывает все ненужное, все обременяющее.

В том же костюме, в котором его выслали. Никаких удобств – лампы, кресла, полок. Но сам прибывает мне гвоздик для полотенца. Но он не "презирает быт". У него все – внутри.

В феноменологии "великого человека", прежде всего, чувство *стихии*. В эту стихию вовлечено все, что его окружает, все мелочи (парное молоко, зеленый лук...).

Ничего от "интеллигента".

Не вширь, а вглубь и ввысь...

О людях:

Синявский: "Он как-то сбоку, несущественен..." (о "Голосе из хора").

Набоков: ""Лолита" даже неинтересна. Все же нужно будет встретиться. <...> Если бы с таким талантом!.."

Архиереи: Антоний Блюм – понравился. Антоний Женевский – не понравился. Иоанн Шаховской – бесцеремонно ворвался, как и его сестра. Ничего не видит в его писаниях. Антоний Блюм – понравился, но "разве его протесты достаточны?" Антоний Ж. Георгия Граббе не принял (или не пришел?). Нравится карловатский батюшка в Цюрихе.

Возмущение булгаковской статьей о еврействе в "Вестнике" – "разве это богословие?.."

Длинная прогулка по лесу и по холмам. Длинный разговор – уже по душам – обо всем: о вере, о жизни...

Вдруг острое чувство, вопрос: сгорит он или не сгорит? Как долго можно жить таким пожаром?

Говоря, собирает цветы: полевые желтые тюльпаны, дома долго ищет, куда бы поставить (на следующий день не забудет отвезти жене).

С гордостью показывает свой огородик (укроп, редиска, зеленый лук...).

Подробный рассказ о своем Фонде, завещании. Мечта употребить деньги на Россию. Ему действительно ничего не нужно, и в этом – никакой позы.

Слова о Канаде: как будет там ездить верхом на лошади.

И снова – со страстью – о евреях! Почти *idée fixe*: не дать им еще раз заговорить нас своей идеологией. Но, вот, надо признать, что и тут – правда и простота. Когда евреи увидели, что ими в значительной степени созданный режим не удался и по ним же – в лице Сталина – ударил, они "перестроились": это режим русский, это русское рабство, это русская жестокость... Отсюда – недоверие к "новым": все они антирусские в первую очередь.

Вечером – длинная исповедь наверху в его комнате. Закат за окном.

"Пройдемся в последний раз". Так дружески. Так любовно.

Удивительные по свету и радости, действительно – "горные" дни.

"... у меня в "узлах" три прототипа (то есть в них я вкладываю себя, пишу о себе) – Воротынцев, Саня Лаженицын (был еще Саша Ленартович, да безнадежно разошлись...) и... Ленин! У нас много общего. Только принципы разные. В минуты гордыни я ощущаю себя действительно анти-Лениным. Вот взорву его дело, чтобы камня на камне не осталось... Но для этого нужно и быть таким, каким он был: струна, стрела... Разве не символично: он из Цюриха – в Москву, я из Москвы – в Цюрих..."

"Мне нужно вернуться, войти по-настоящему в Церковь. Я ведь и службы-то не знаю, а так, "по-народному", только душой..."

Будут ли у меня в жизни еще такие дни, такая встреча – вся в простоте, абсолютной простоте, так что я ни разу не подумал: что нужно сказать? Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, никакое "кокетство".

Среда, 5 июня 1974. Париж

Последняя запись (30 мая) была сделана вечером, в канун отъезда из Штернберга. Следующий день, пятница 31-го, останется, конечно, навсегда незабываемым. Утром рано за нами заехала Екатерина Фердинандовна. Спуск в Цюрих. Подготовка Литургии. Исповедь Наташи и Мити. Литургия. После Литургии А.И.: "Как хорошо так, как близко, как доходит все..."

Суэта в доме. Дети. "Напор", может быть, даже некий надрыв (Наташа).

Запомнить: разговор с нею о юрисдикциях. Чтение – в суматохе – глав о "кадетах". Обед (тяжелый, русский: мясо, вареники).

После обеда – в городе прием итальянской прессы...

Наконец после всего – действительно страшного – напряжения этих дней остаюсь один на аэродроме в Цюрихе. Снова дождь и туман. Снова привычная западная толпа, в сущности – *мой мир*. В котором мне просто. Просто – в смысле привычной принадлежности к нему и внутреннего в нем – одиночества, свободы...

В первый раз мысль – не сон ли все это было? В реальном ли мире? Или в какой-то страшным усилием созданной мечте, иллюзии? Иллюзии, которой неизбежно суждено разбиться о "глыбу жизни". В первый раз – сомнение, страх, и с тех пор – растущая жалость.

Полет Цюрих-Базель, потом Базель-Париж. Спуск в мир. Баня реально. Мама. Андрей.

На следующий день, в субботу, – привычный завтрак с Андреем. Всенощная под Пятидесятницу.

Вечером – слушание пластинки А.И. "Прусские ночи".

Воскресенье 2-го: съезд РСХД в Монжероне. Литургия с Петей Чесноковым. Все как всегда. Там – в Цюрихе – сплошной огонь (но какой!). Тут – привычная болтовня о Христе и преображении мира.

Понедельник 3-го: мой доклад. Все как всегда. Усталость.

Вчера (во вторник 4-го) весь день у Никиты [Струве] в Villebon. Сравниваем впечатления. Соглашаемся в том, что за А.И. страшно. Страшно от домашней атмосферы. Страшно от напора. Страшно за то, что и как он делает.

Конец цюрихской записной книжки.

Пятница, 21 июня 1974

Все эти дни – с возвращения из Европы в прошлое воскресенье, 15-го, – погружен в несуетную суету: семинария, церковные дела, радио, поездка в Сиракузы на Съезд выпускников и т.д. Поскольку же все и всюду спрашивают о С., снова и снова переживаю дни, проведенные с ним, радость, вопросы, сомнения, возбужденные в душе этой незабываемой встречей.

Хотел написать о Венеции, но первое, непосредственное впечатление выветрилось. Осталось чувство привидения, шепчущее чувство бренности, конца, обреченности. Старая, великая Европа, столько красоты, столько достоинства – все обращенное в туристическую проституцию.

Суббота, 7 сентября 1974

Лето, как и в прошлом году, оборвало мои записи, и теперь, пожалуй, всего уже не запишешь...

Все лето – в Labelle, и какое чудное лето, оставшееся в сознании сплошным светом, солнцем, радостью! В первый раз за много лет (второе – за всю жизнь!) провели его одни, то есть без гостей в доме. Поэтому ритм был такой спокойный, прозрачный. Работа (кончил книгу о Крещении и три статьи!), купанье, прогулки (никогда, кажется, столько не гуляли), вечер обычно с детьми и внуками в "большом доме". Все дети, все внуки. Церковь.

Переписка с Солженицыным – подчас мучительная, но об этом напишу отдельно.

Чтение: две книги Jouhandeau, переписка и театральные статьи П.Леото, "Молодость" Жюльена Грина, "Неподвижное время" Клода Мориака. Безмерный "нарциссизм" современной французской литературы. Иногда впечатление, что это не "дым, а тень, бегущая от дыма..."⁶⁸.

Со вчерашнего дня – погружение в привычную суматоху семинарии, Церкви и т.д.

Особенно сильное чувство внутренней отрешенности, впечатление, что во всем этом действует почти кто-то другой, а не "я". Но чего – кроме покоя, тишины и свободы – хочет этот "я"?

⁶⁸ Из стихотворения Ф.Тютчева "Как дымный столп светлеет в вышине!"

Понедельник, 9 сентября 1974

В субботу утром уборка с Л. дома: он вдруг снова становится своим, нашим – после летнего отчуждения. Физическое удовольствие от этого.

Потом поездка автомобилем в Филадельфию – на банкет по случаю освящения нового храма, где я – приглашенный докладчик. Радость от самой поездки: сереньким, "погожим" днем, огромный мост через Delaware River на фоне такого же огромного заката, два часа "созерцания" – как всегда, целительного, насущного...

Вчера начал работать над своим новым курсом: Liturgy of Death. И снова поражаюсь: как никто этим не занимался, никто не заметил чудовищного перерождения религии воскресения в похоронное самоуслаждение (с оттенком зловещего мазохизма: все эти "плачу и рыдаю..."). Роковое значение Византии на пути Православия!

Кончил "Le Temps Immobile" Claude Mauriac's. Как я понимаю его страстную озабоченность временем, его утечкой, его неподвижностью.

Среда, 11 сентября 1974

Вчера завтрак с Андреем Седых в ресторане напротив "Нового русского слова". Поразительное постоянство, неизменность эмигрантской атмосферы: грязная лестница с надписью на картонке по-русски (!) – "Просьба закрывать дверь" (наверное, висит двадцать лет!). Все те же "русские дамы". Та же смесь убожества, провинциализма и сплетен. Сам Седых – очень симпатичный хитряга. Горько жаловался на "новейших", обижен на Солженицына... Самое интересное в нем: он свидетель 30-х годов в Париже, "золотого десятилетия" русской эмиграции.

Понедельник, 16 сентября 1974

В субботу и вчера после обедни ездили с Л. на Jones Beach. Солнце, океан, песок: какой это праздник, "символ" полноты и блаженства.

Все эти дни чтение, работа в связи с новым курсом (Liturgy of Death). И, как всегда, то, что казалось извне сравнительно простым, вдруг предстает во всей своей глубине и сложности. Смерть стоит в центре и религии, и культуры, отношение к ней определяет собою отношение к жизни. Она – "перевод" человеческого сознания. Всякое отрицание смерти только усиливает этот невроз (бессмертие души, материализм и т.д.), как усиливает его и *приятие* смерти (аскетизм, плоть – отрицание). Только победа над ней есть ответ, и он предполагает *transcensus*⁶⁹ отрицания и приятия ("поглощена смерть победой"). Вопрос в том, однако, в чем состоит эта победа. Смерть раскрывает, должна раскрыть смысл не смерти, а жизни. Жизнь должна быть не приготовлением к смерти, а победой над ней, так чтобы, как во Христе, смерть стала торжеством жизни. Но о жизни мы учим без отношения к смерти, а о смерти – безотносительно к жизни. Христианство жизни: мораль и индивидуализм. Христианство смерти: награда и наказание и тот же индивидуализм. Выводя из жизни "подготовлением к смерти", христианство обесмысливает жизнь. Сводя смерть к "тому, иному миру", которого *нет*, ибо Бог создал только один мир, одну жизнь, – христианство обесмысливает смерть как победу. Интерес к "загробной участи" умерших обесмысливает христианскую эсхатологию. Церковь не "молится об усопших", а есть (должна быть) их постоянное *воскрешение*, ибо она и есть жизнь в смерти, то есть победа над смертью, "общее воскресение".

⁶⁹ выход за пределы

"Примириться со смертью"... Написал это в своей лекции, но это "изнутри". В 53 года (стукнуло в пятницу...) пора, как говорится, "подумать о смерти", включить ее – как увенчание, все собою завершающее и осмысливающее, – в то мироощущение, которое я именно ощущаю больше, чем могу выразить в словах, но которым я в лучшие минуты жизни действительно живу.

Для памяти отмечу следующие важные "открытия":

– В смерти нет времени. Отсюда умолчание Христа и подлинного предания о состоянии умерших между смертью и воскресением, то есть о том, о чем больше всего любопытствует неподлинное предание.

– Ужас умирания. Может быть, для внешних? Смерть, две недели тому назад. Мариночки Розеншильд, утонувшей спасая своих детей. Ужас этой смерти для нас. А для нее? Может быть, радость самоотдачи? Встреча со Христом, сказавшим: "Больше сея любви..."(Ин.15:13).

– Что исчезает в смерти? Опыт уродства этого мира, зла, текучести... Что остается? Его красота, то, что радует и тут же мучит: "Полевые пути меж колосьев и трав..."⁷⁰ "Покой". Тот покой субботний, в котором раскрывается полнота и совершенство творения. Божий покой. Не смерти, а жизни в ее полноте, в вечном ею обладании...

Пятница, 20 сентября 1974

Сегодня, лежа в кровати (простудился и, следовательно, блаженствовал) думал о своих *sic et non*. Выходит так (и так было с тех пор, что я себя помню), что во всем том, что я люблю, считаю своим и с чем себя так или иначе отождествляю – религия, Церковь, тот мир, к которому я принадлежу по рождению, воспитанию, вкусам и убеждениям, – я остро вижу их неправду и их недостатки. В том же, что я не люблю и от чего отталкиваюсь, – "левизна" во всех ее проявлениях, – я вижу его правду, пускай даже и относительную. "Внутри" религии я ощущаю себя радикальным *contestataire*⁷¹. Но с *contestataire*'ами я чувствую себя консерватором и традиционалистом. Отсюда всегда мучительная трудность общения с любым "лагерем", отвращение от всех людей с "целостным мировоззрением" и идеями, приведенными в "систему". Все "законченное", завершенное и, следовательно, не открытое к *другому*, мне кажется тяжелым и самим себя разрушающим. Это в равной мере относится и к идеям, и к чувствам. Ошибочность – по моему убеждению – и всякого "диалектизма": тезис, антитезис и синтез, снимающий противоречие (то есть опять называющийся "целостным мировоззрением" и "идеологией"). Я думаю, что открытость и незавершенность должны всегда оставаться, они-то и есть *вера*, в них-то и встречается Бог. Который совсем не "синтез", а жизнь и полнота. Может быть, это и есть "апофатика", *via negativa*: интуиция, что все "завершенное" – измена Богу, превращение всего в *идола*. Совершенство в искусстве пропорционально его *открытости*: совершенное искусство вечно открывает то, что оно открыло, являет то, чего явлением оно было. Потому и в "идеях", богословии, философии и т.д. живет, остается лишь одно то, что сродни искусству, и только в ту меру, в какую оно сродни искусству.

Суббота, 21 сентября 1974

Прочел вчера "одним махом" книгу Жана Даниэля "Оставшееся время". Подкупающая жажда добра, победы добра в мире при полной невозможности верить. Очень замечательное "свидетельство.

Стр.41: о Камю: "Есть люди, которые ставят перед вами вопрос, в чем смысл жизни. И есть

⁷⁰ Из стихотворения И.Бунина "И цветы, и шмели, и трава, и колосья..."

⁷¹ спорщиком

другие, как он, которые дают смысл этой жизни". [Стр.229:] "Правыми считаются те, кто покоряется природе; левыми те, кто прикладывает усилия, чтобы эту природу исправить"

Сегодня весь день за примечаниями к моему "Водою и Духом". Игра в "ученость".

Понедельник, 23 сентября 1974

Две ночи подряд – сны о Солженицыне. С какой-то почти болезненной любовью к нему, радостью общения с ним, ощущением невероятной близости. И он – радостно светящийся, и светящийся радостью.

Начало "осени первоначальной..."⁷² вчера днем поездка к Ане. Горы, леса, залитые уже осенним солнцем, совсем живые в этой удивительной прозрачности сентябрьского солнца...

В связи с этим (а также и новым курсом) – мысли о смерти. В ужасе перед смертью одно из самых сильных чувств – это жалость покидать этот мир: "Сладостное царство земли" (Бернанос), то, что так сильно чувствовал тоже Маугиас. Однако что если сладостное царство земли: это открытое, светлое небо, эти залитые солнцем горы и леса, эта безмолвная хвала красок, красоты, света, – что если все это и есть, в конечном итоге, не что иное, как *единственное* явление нам того, что за смертью? Окно в вечность? "Да, но вот того – единственного, неповторимого, серенького денечка и в сумерках его вдруг вспыхнувших огней – того, что так мучительно помнит душа, его-то нет, не вернуть..." Но душа-то потому и помнит, что этот "денек" явил ей вечность. Что не его я буду помнить в вечности, а сам он был "прорывом" в нее, неким – наперед – "воспоминанием" о ней, о Боге, о жизни нестареющей...

Все это так или иначе было сказано тысячу раз. Но вот когда входит в душу и становится опытом – откуда, почему? – такой покой, такая радость, такое растворение страха, печали, уныния? И одно желание: пронести это чувство нерасплесканным, не дать ему засохнуть, выдохнуться в свете. Почти (но только почти, увы) начинаешь *слышать*: "Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение..." (Флп.1:21). Как же жить? Сбирать жизнь для вечности, и это значит – всем жить как вечным. Сеять в тлении, дабы *потом* восстала она в нетлении (1Кор.15:42). Но можно в жизни собирать и смерть... Жить – "похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской" (1Ин.2:16) (уже мучение, уже смерть). Покоряться свету (опустошение души, смерть), служить идолам (тупик, смерть).

Среда, 25 сентября 1974

В понедельник вечером, после лекций – к нам только что приехал тогда Константин Андроников – у меня началась лихорадка, жар, и я заболел. Утром у доктора: глубокий бронхит, низкое давление. В общем – неделя дома! Вчера чувствовал себя неважно и мог только читать. Перечитывал "Современные записки" Вишняка.

Все эти дни волнения в связи с собором карловчан и, главное, письмом к этому собору Солженицына. Вчера вечером по телефону о. А. Киселев говорил, что "атмосфера переменилась", что составлено и одобрено послание к "нам" с призывом о "смягчении отношений". Свое "послание" Солженицын мне летом присылал, хотя потом ужасно волновался, что об этом узнают, так что я разыгрывал полное неведение. Оно замечательно. Нужно ли верить в то, что искренность и сила Солж[еницына] действительно проломит стену?

Для меня ясно, что "перемена атмосферы" в Православии означает, прежде всего, способность

⁷² Слова из стихотворения Ф.Тютчева "Есть в осени первоначальной"

взглянуть на себя со стороны, подлинную "самокритику", подлинное покаяние и обращение. Солж[еницын] пишет о грехе Русской Церкви против старообрядцев – у него это один из трагических "узлов" русской истории. Но он, мне кажется, не видит, что и старообрядчество было тупиком и во многом – само трагедией древнерусского сознания. Нужно брать гораздо глубже. "Обновленцы" провалились, потому что видели только внешнее: кризис епископата (монашеского), формы богослужения. Поповский бунт, да еще поддержанный советской "охранкой". Гораздо серьезнее то, что в Православии – историческом – начисто отсутствует сам критерий самокритики. Сложившись как "православие" – *против* ересей, Запада, Востока, турков и т.д., Православие пронизано комплексом самоутверждения, гипертрофией какого-то внутреннего "триумфализма". Признать ошибки – это начать разрушать основы "истинной веры". Трагизм православной истории видят всегда в торжестве внешнего зла: преследований, турецкого ига, измены интеллигенции, большевизма. Никогда – во "внутри". И пока это так, то, по моему убеждению, никакое возрождение Православия невозможно. Главная же трудность здесь в том, что трагизм и падение по-настоящему не в грехах людей (этого не отрицают...), а укоренен, гнездится в тех явлениях, которые принято считать, в которые принято верить, как именно в саму *сущность* Православия, его вечную ценность и истину. Это, во-первых, какое-то "бабье" благочестие, пропитанное "умилением" и "суеверием" и потому абсолютно непромокаемое никакой культуре. Стихийная сила этого благочестия, которым можно жить, как чем-то совершенно самодовлеющим, вне какого бы то ни было отношения ко Христу и к Евангелию, к миру, к жизни... Тут все слова "жижеют", наполняются какой-то водой, перестают что-либо означать. Это "благочестие" и есть то, что вернуло христианству "языческое" измерение, растворило в религиозной чувственности. Оно и Христа мерит собою, делает Его – символом самого себя... Это, во-вторых, *гностический* уклон самой веры, начавшийся уже у Отцов (приращение эллинизма) и расцветший в позднем богословии (западный интеллектуализм). Это, в-третьих, в этом благочестии и этом богословии укорененный *дуализм*, заменивший в церковном подходе к миру изначальный эсхатологизм. Это, в-четвертых, сдача Православия – национализму в его худшей языческой (кровной) и якобинской (государственно-авторитарной негативной) сущности. Этот сплав и выдается за "чистое Православие", и всякое отступление от него или хотя бы попытка в нем разобраться обличаются немедленно как "ересь". Между тем этот именно сплав есть тот тупик, в который зашло историческое Православие, и ужас этого тупика не меньше, а, в сущности, больше оттого, что он притягивает к себе всевозможных "конвертов"⁷³. [Раньше] был страх, был комплекс неполноценности, была самозащита, но, счастливо избежав западных религиозных войн и всего кризиса Реформации и Контр-Реформации, Православие не имело в себе априорного религиозного негативизма как содержания церковной жизни.

Четверг, 26 сентября 1974

Странно, как почти все всегда. Утром вчера написал эти строки, а днем читал, и прочел, с восхищением роман Маугиас'а " Подросток былых времен" и в нем: "Он говорил, что благодаря мне прозрел: все, чем Церковь вызывает ненависть своих врагов, действительно заслуживает ненависти – это бывало и раньше, в любую годину истории человечества, – как заслуживает ее фарисейская религия мадам. Враги яростно нападали на те установления, перед которыми иные люди преклонялись, как, например, одержимый грегорианец Гюисманс. Но преклонение было так же бесплодно, как и проклятия. Мы с Симоном знали, что в известный момент истории Бог проявлял Себя, что Он проявляет Себя и поныне, в судьбах отдельных мужчин и женщин, которых объединяет общая черта – стремление теснее приобщиться к Кресту". "Я предостерег его от иллюзий, будто существует верный способ ощутимо приблизиться к Богу, напомнил, что меньше всего это зависит от нашей воли, а само это желание свидетельствует о поисках упоения, которые приводят нас к тому, чего хотели мы избежать".

⁷³ Converts (англ.) – перешедшие в Православие; новообращенные

Два часа с К.А. Он "занимается антропологией". А вместе с тем годами несчастен, frustrated, обижен... Как ему объяснить, что "занимается" он, как и все мы почти всегда, *собой*, своей ролью в жизни и что это занятие и есть источник мучения – всегда и без всякого исключения... Отречение от мира не в уходе из него – "уход" тоже может стать ролью, исканием себя и своего, а только в освобождении от этой вот занятости своим местом в нем. Тут начинается мир, "превосходящий всякое разумение" (Еф.3:19).

Проверка – не Христа, не Евангелия, не Церкви в ее последней сущности (той, что *дана* и не зависит ни от каких приятий), а исторических форм христианства, в том числе и "православия", – в *культуре*, ими создаваемой или вдохновляемой. Культура каждой данной эпохи – это зеркало, в котором христиане должны были бы увидеть самих себя, степень своей верности "единому на потребу" (Лк.10:42), "победы, побеждающей мир..." (Ин.16:33). Но они обычно даже не смотрят в это зеркало, считают это "недуховным", "нерелигиозным" (чего стоят хотя бы невозможные по своему примитивизму декламации [духовных лиц] против театра и литературы!), между тем как кровная, необходимая связь христианства с культурой совсем не в том, чтобы сделать христианство "культурным" и тем самым привлекательным и приемлемым для "культурного" человека. Культура и есть тот мир (а не биология, не физиология, не "природа"), который христианство *судит, обличает и, в пределе, преображает*. Оно *над* культурой, но не может быть *под* ней или *вне* ее. Само понятие Царства Божия может "взорвать" культуру, но в том-то все и дело, что "вне" культуры – ни понять, ни услышать, ни принять его невозможно. Поэтому так ужасны "примитивизм" априорный, триумфальная "антикультурность" современного православия. На "верхах" это воплощается в выходе из современной в какую-то другую – древнюю, старую, но признаваемую единственной "христианской" – культуру: Византию, Москву и т.д., в ее абсолютизацию. Но, во-первых, сами-то эти культуры мы знаем, воспринимаем, получаем *только* в категориях знания и понимания нашей культуры, через непрерывную культурную преемственность, и таким образом сам этот "выход" определяется всецело культурой, есть акт внутри нее. А во-вторых, все равно не может человек, не искалечив себя психологически и духовно, стать сегодня "византийцем", "москвичом" и т.п. Сама "ностальгия прошлого", которым так сильно живет современное Православие, есть явление, характерное для *нашей*, современной культуры и потому не может никогда быть духовным освобождением... На "низах" же эта антикультурность обращается уже подлинным примитивизмом, то есть фактически "язычеством", религией природы, а не человека, духа и истории... Христианство призвано все время изнутри *взрывать* культуру, ставя ее лицом к лицу с последним, с тем, кто выше нее, но кто, вместе с тем, и "исполняет" ее, ибо на последней своей глубине культура и есть *вопрос*, обращенный человеком к "последнему". Но варвар ничего не взрывает, он отрицает, уничтожает и разрушает. Если Православие стоит перед "современностью" как голое отрицание, то оно делает дело варвара. Ибо оно все больше и больше отрицает и отбрасывает то, чего попросту не понимает и на что ему "решительно наплевать". Как важна, как драгоценна потому эта, постоянно подчеркиваемая в Евангелии, связь Христа и Его проповеди со всей преемственностью, то есть именно культурой тех, кому Он проповедует, и безнадежность – отсюда – всех попыток выделить какое-то "чистое Евангелие". Только потому и могло Евангелие "взорвать" древнюю культуру и изнутри изменить и обновить ее, что было *внутри* ее... Все эти размышления в связи с книгой Маугиас'а. Почему душно богословие, душно и благочестие, а вот в "культуре" – у Маугиас'а, у Солженицына – так ярко вспыхивает "единое на потребу"?

"Аще не умрет, не оживет" (1Кор.15:36). Это относится также и к "прошлому". В христианстве мы заняты не (а) смыслом истории (идол гегельянства), не (б) природой (идол эллинизма, оживающий в современном формализме, структурализме и прочих извечных антиисторизмах), а смертью и воскрешением как постоянной победой Христа и над историей, и над природой. Чтобы быть нашей жизнью, прошлое должно в нас умирать как только прошлое, природа как только природа и история как только история. В этой *возможности* – единственность Христа и христианства. Царство Божие

трансцендирует, побеждает природу и историю, но открыто оно нам Христом через природу и через историю. Начало и конец всего: "Христос сегодня и вчера и во веки Тот же" (Евр.13:8). Все это "решается" только, когда "решается" вопрос о смерти. Откровение ее нам Христом.

Пятница, 27 сентября 1974

После восхищения, вызванного литературным совершенством Mauriac'овского "Un adolescent d'autrefois", прочел вчера вечером несколько страничек "Карантина" Максимова. Первые страницы только, поэтому и впечатление первое, может быть, ложное: серости, "неумения" в том смысле, в каком Mauriac "умеет". Что такое подлинное произведение искусства, в чем секрет его совершенства? Думал сегодня, лежа в кровати: это полное совпадение, слияние закона и благодати. Ведь если и в духовном, религиозном плане – "Павловском" – благодать противопоставляется закону, то не потому совсем, что они о *разном*, и что одним – благодатью – просто уничтожается и заменяется другое – закон. Без закона невозможна благодать, и именно потому, что они о том же самом – как образ и исполнение, форма и содержание, идея и реальность. Таким образом, благодать – это тот же "закон", но предложенный в свободу, лишенный всего "законнического", то есть отрицательно-заградительного, то есть чисто "формального" в себе. В искусстве это очевиднее всего. Оно начинается с закона, то есть с "уменья", то есть, в сущности, с послушания и смирения, принятия формы. Оно исполняется в благодати: когда форма становится содержанием, до конца являет его, есть содержание.

Воскресенье, 29 сентября 1974

Недолго дома – с бронхитом и кашлем. И как не хочется "вылезать" обратно, из норы, из – хотя бы относительного – одиночества!

В пятницу в газете "Новое Русское Слово" все послание Солженицына Зарубежному Собору и ответ на него митрополита Филарета. Ответ жалкий, насквозь лживый и фальшивый. Судьба всего того, что держится исключительно отрицанием и обличением, духовной подделкой...

Вчера и сегодня – в церкви. Какая радость, когда люди на исповеди заявляют, что счастливы...

Смерть Николая Иванова (жениха [племянницы] Наташи) в Париже.

Пишу, чтобы разогнаться: на столе – груда неотвеченных писем, за которые решил взяться сегодня, и вот – отлыниваю...

Четверг, 3 октября 1974

Сегодня мне прочли по телефону послание к "Американской Митрополии" Зарубежного Собора, полное притворной любви, но по существу – ход на шахматной доске... И все же, если есть хоть один шанс "умиротворения", за него нужно хвататься.

Увы, от всего этого, от работы "практического ума", этим всем вызванной, то же уже много раз испытанное "измельчание" души. Она попадает в водоворот, в суету и мельчает, сохнет. И в ней прерывается радость. Не вопросы и заботы поднимаешь на ту высоту, на которую нужно, а сам спускаешься туда, где они неразрешимы...

Понедельник, 7 октября 1974

В субботу – ежегодный Orthodox Education Day [ежегодный праздник, "день православного образования" в Св.-Владимирской семинарии]. Ждешь его, как кошмара, а переживаешь – когда он уже наступил, начался – как радость. Эта огромная толпа, солнце, палатки! Литургия с сотнями причастников. Чувство Церкви, радость растворения в ее жизни. Весь день на ногах: здороваясь, обнимаясь, приветствуя кого-то, – и никакой усталости... Как бы ни был каждый из нас слаб и мизерен в отдельности, на всех вместе лежит отсвет – единственный в мире – Христовой любви. Русские, арабы, греки, украинцы: где еще они встречаются "во Христе"? В этом сила и единственность этого дня.

Вчера – рождение Л. Поехали с ней сначала на Battery. Теплый, совсем летний закат. Статуя Свободы и острова в золотом свете моря – совсем как в Венеции, когда смотришь в сторону Lido. Какие-то старички, старушки на скамейках. Потом ужинали – случайно, из любопытства – в армянском ресторане. И так пахло детством, русским Парижем, тогдашними русскими ресторанами.

Нарастающий крах западного мира. Скольжение налево в Португалии, хаос в Италии, частичные победы на выборах вчера во Франции левых. Но мое "бешенство" (холодное!) направлено не на "левых", а на то чудовищное банкротство всего "правого", что привело к этому краху, к этому тупику. Начиная с 1914-го года, а в сущности еще раньше: с этих тупых "империализмов" бездарного "величия" (все эти Бисмарки, Черчилли, Де Голли), и, главное, полное отсутствие хоть какого-нибудь "идеала", мечты. Удушающая тоска капитализма, "потребления", нравственная низость созданного ими мира. Я не сомневаюсь, что то, что идет на смену ("левое"), еще страшнее и ужаснее. Но вина на тех, кто, имея всю власть и все возможности, завел мир в этот тупик. Они не заслуживают никакой жалости. Михаил Михайлов, Варшавский защищают против Солженицына демократию – взволнованно, искренне, бескорыстно. Но как не видеть, что она вдруг перестала "работать", что передаточные ремни обрываются один за другим. Что поле ее применения было маленьким, оранжерейным и что главной "жажды" (ею же возбужденной) – о свободе, "участии", основном равенстве людей – она не решила, не утолила. Первородный грех демократии – так, во всяком случае, мне кажется – это ее органическая связь с капитализмом. Гарантируемая ею формальная свобода нужна капитализму, но им же и извращается, изнутри "предается". Ибо капитализм превращает ее в свободу наживы. А как реакция на это – отречение и от свободы! Порочный круг западного мира. Демократия без "нравственного этажа".

И вот выбор: ужасная "правая" и еще более ужасная "левая". С тем же, в сущности, абсолютным презрением к человеку и к жизни. И нет, до ужаса нет – "третьей идеи", которая должна была бы быть христианской. Но христиане сами разделились на "правых" и "левых", никакой *своей* идеи уже даже не чувствуют! Отождествили себя с гражданской войной, уже давно идущей в мире.

Блаженство бабьего лета, невероятная красота "осени первоначальной", этого все заливающего солнца, желтеющей листвы, золотистого света.

Вторник, 8 октября 1974

"Трудно богатому..." (Мф.19:23). Так очевидно, что в центре "христианской идеи" стоит отказ от богатства, всяческого богатства. Красота бедности. Ибо есть, конечно, и уродство бедности. Но есть и красота. Во всяком случае, христианство светится только смирением, только "обнищавшим сердцем". "Доля бедных, превратность судьбы..."

Преп. Сергия по старому стилю. Тридцать четыре года тому назад сегодня я поступил в Парижский Богословский Институт (1940).

Бедность – не в том, чтобы всегда чего-то не хватало (это ее "уродство") а в том, чтобы всегда хватало того, что есть. Думал об этом, читая ""Я помню" Жоржа Сименона: удивительный образ его отца.

Среда, 9 октября 1974

Днем – молодой американец с моей книгой "За жизнь мира", зачитанной, подчеркнутой в тысячи местах карандашом... Вопросы о символизме жизни, о реальности и т.д. Как трудно объяснить, что христианство, Церковь и есть встреча, единственно возможная и подлинная, с Реальностью – Бога.

а потому и всего. И что потому оно "сакраментально". Таинство – это явление, встреча, знание, общение, причастие.

Вечером – речь президента о борьбе с инфляцией. Чего, однако, никто не говорит и, очевидно, не понимает, что "инфляция" это, прежде всего, состояние духовное, психологическое, форма сознания. Весь мир стал "инфляцией": слов, переживаний, самого отношения к жизни. Инфляция – это состояние лягушки, начинающей пыжиться. Когда про уборщика в большом магазине говорят (вчера по телевизору): "инженер по обслуживанию" – это "инфляция". И когда сам воздух, которым мы дышим, наполнен, становится инфляцией, то – жизнь разрушается. Если все неправда, все бесконечно раздуто, преувеличено, искажено – то почему в чем бы то ни было соблюдать меру? Почему накидывать на цену три цента, когда можно накинуть сразу доллар – и пройдет... И потому начинать нужно не с экономической, а с духовной борьбы с инфляцией как состоянием души и сознания...

Идя сегодня утром от утрени (опять удивительное солнечное осеннее утро), вспоминал строчки Ходасевича, которыми "упивался", когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет, и они были для меня каким-то "прорывом", прикосновением к таинственному блаженству:

*Светлое утро. Я в храме. Так рано.
Зыблется золото в медленных звуках органа...*

И вся жизнь, в сущности, на глубине была стремлением снова и снова этот прорыв, это блаженство ощутить. А все остальное – "из-под палки" и, главное, относительно: "малая правда". Боятся "релятивизма". Но ведь именно потому, что есть Абсолютное, именно по отношению к Нему, в Его свете, в Его абсолютности все и делается "относительным" (и существующим как "малая правда"). Об этом вся Библия. Максимализм в относительном – это все та же гордыня ("мои принципы", "принципами я не поступлюсь"). Если есть Бог – принципы эти просто не нужны (ибо достаточно, что есть Бог!). Если нет – то все равно грош им цена и ни от чего они не спасают и ничего не создают...

Пятница, 11 октября 1974

Вчера весь день – церковные заседания. Буря в связи с приездом в Америку (в феврале) патриарха Пимена. Две непримиримые по отношению одна к другой позиции, обе мне, так сказать, "понятные". Как всегда, невозможность для меня быть целиком на одной из сторон... Мучительное раздумье, как разрешить эту дилемму, что правильно, что по совести!

Понедельник, 21 октября 1974

Все эти дни так занят, что до тетрадки не добраться. Хочу хотя бы отметить то, чего не хочу забыть:

– в четверг и пятницу (17-18) – поездка в Moravian College в Bethlehem, Пенсильвания; сама поездка солнечным осенним днем, и "уют" этого города, "моравского" квартала, таромодного отеля, маленького "восприимчивого" колледжа. О Солженицыне, о Православии;

– в пятницу же вечер со Шрагиными и Литвиновыми;

– первый номер "Континента";

– вчера – вечер у Штейнов;

– работа над статьей для "Континента" ("Кризис христианства и христианство как кризис");

– правка корректуры для моего "Baptism".

"Диссиденты": сближаясь с ними, постепенно узнавая их, одновременно осознаешь и близость к ним, и отрешенность от их "бурлящего" сознания. Все это подлинно – и острая ностальгия, и обостренность сознания, и желание "высказаться", но – одновременно – и болезненно. На них можно было бы научно, "феноменологически" изучать зарождение эмигрантского сознания, его неизбежной "пустозвонности". Особенность этих диссидентов в том, что они уже и там, в своем маленьком московском мире, были отчасти пустозвонными, не имели приводного ремня ни к какой реальности.

В связи со всем этим – размышление о Солженицыне, о его отталкивании от диссидентов, о его растущем одиночестве, неизбежном для каждого, кто не хочет "раствориться", кто имеет свое дело и призвание.

От эмиграции, от всей ее полувековой истории останутся, как ни странно, те, кто остался внутренне от нее свободен, отстранен и кто делал свое дело. Вот уж действительно – бесполезная страсть...

Вторник, 22 октября 1974

Сегодня – сон, о котором я все забыл, кроме чувства какой-то невозможной любви, нежности, чистейшего счастья, действительно "касаясь" чему-то. После этого я проснулся, и сразу же зазвонил – по-ночному тревожно и даже страшно – телефон. Было 4.30 утра. Какой-то голос, не то пьяный, не то сумасшедший, обличающий меня в том, что я "иезуитский священник". Странный контраст: этот удивительный свет во сне, эта пугающая "тьма" наяву...

Вчера у меня на дому – собрание преподавателей. Сравнительно мирно. Но, Боже мой, как трудно людям не то что соглашаться друг с другом, а просто слышать друг друга. И если это так в маленькой группе якобы единомышленников, то что же сказать о мире вообще? Реальность разделения и отчуждения – как суть "первородного греха". Но потому и единство невосстановимо иначе как во Христе.

Длинное письмо от Андрея с подробностями о кончине Николая И.⁷⁴ Как все меняются, какими другими становятся люди, когда входит в их жизнь настоящее горе.

Холодные, прозрачные, солнечные дни. Медленно падающие листья. Всегда поражающее меня печально-светлое торжество осени.

Как я прав, мне кажется, в моем убеждении, что прежде, чем чему-либо другому, Христос "противостоит" религии, ее затягивающей, двусмысленной, соблазнительной мути. В падшем мире самое страшное – это падшая религия. Тут набито бесами.

Нашел в записной книжке 1959 г. следующую выписку из "Memoires Interieurs" Мориака:

"...борьба тех, кто кричит в Церкви, что "это истина", и тех, кто считает, что "это полезно"" (стр.155). <...> "Я лично не перестаю изучать "Письма к провинциалу" [Паскаля], написанные при абсолютной монархии этим удивительным христианином, с которым Христос говорил в ночь (мать-перемать, забыла спросить, что значит *resurs de joie!*), в чём заключается свобода детей Божиих, и что ничто её не одолеет. Это она определяет цену человеческой судьбе. И это её мы должны сохранять в нашей жизни, в народе, в Церкви..."

⁷⁴ Жених Наташи, дочери Андрея Шмемана

Четверг, 24 октября 1974

Вчера купил и частично прочел "The Limit of Growth", доклад того Римского клуба, на который постоянно ссылается Солженицын. А также L'Express и L'Observateur. Это все растущее ощущение тупика, кризиса, паники, чувство распада того мира, в котором мы живем. ""Глобальные нужды, национальные средства...". Удивительная вещь: "прогресс" создал, так сказать, "единый мир" и, одновременно, *маленького* человека, лишенного мировой перспективы. Против global needs человечество защищается уходом во все "маленькое", но совсем не в то "раскаяние и самоограничение", к которому призывает Солженицын.

Уверен, что христианская *эсхатология* тут "очень причем" и что на нее должно быть направлено сейчас христианское сознание.

Только что длинный разговор с К.Т. Удивительно, как, только стараясь помочь другому, сам начинаешь "понимать"!

Человек хочет быть любимым – и потому страдает. А разрешение в том, чтобы полюбить. Это божественное решение: так все "проблемы" решает Бог: любя, а не ища ответной любви.

Пятница, 25 октября 1974

Вчера за ужином у Т. – Н.Н. (стареющий, элегантный, красивый педераст): "Я обожаю Афон, я каждый год езжу на Афон, нужно спасти Афон..." Как часто замечал я эту тягу к "Афону" (или к подобным же реальностям, целиком оторванным от мира и жизни) у людей такого типа. Это их "алиби" для самих себя. Не ходить же ему в скучный приходской храм – вот он и любит "Афон". А почему, в сущности, нужно спасать Афон, если Афон не "спас" Православие? Есть "православие", живущее пафосом спасения собственных исторических обломков: "восточных патриархатов", "Афона", "быта". И вот включи в свою жизнь одну такую "заботу" – и совесть чиста. Как в большом, так и в малом. И трупный яд разлагает Православие. Но на этот-то "запашок" и тянет неудержимо "религиозных" людей. Им искренне кажется, что этот "запашок" и есть Православие...

Понедельник, 28 октября 1974

Поездка в Оттаву и Монреаль. Лекции, службы. " В гуще толпы ". В промежутках – на аэродромах, в одиночестве аэропланов – чтение книги Т.Мольнара о Сартре. Какой больной должна быть наша эпоха, если эта "философия", сотканная целиком из отрицаний, капризов, каких-то ребячьих скачков и словесного тумана, могла стать "властительницей душ". Страшен не Сартр (он жалок), страшна доверчивость "интеллигенции", страшна ее готовность принять что угодно "на веру" кроме веры, страшна очевидная за всем этим ненависть к Христу. В этом смысле, конечно, Сартр – "дьявол", одно из бесчисленных воплощений зла. Компоненты дьявола: во-первых, основоположная, все собою пронизывающая тьма (хула на творение); во-вторых – ложь (он искони лжец), перетолковывание, извращение, подтасовка, подмена белого черным; в-третьих, страстное желание заменить Бога, найти другой "абсолют", "спасти"; в-четвертых, полная плененность собой и этой ложью, невозможность увидеть свет, ненависть к нему. Негативная сотериология – отсюда ее успех... "Ибо люди больше возлюбили тьму, нежели свет..." (Ин.3:19).

В Оттаве встреча с Борисом Гореловым, моим одноклассником по гимназии, которого я с тех пор – лет тридцать с чем-то – и не видел! Удивительно, как в седом, пятидесятилетнем человеке сохраняется и живет "мальчик". Слово не "зрелый возраст" и не "старение" – сущность человека, а только и навсегда ребенок, которым он был. Борис всегда был "раненым жизнью" – и вот такой же: испуганный, всего боящийся, так очевидно проживший как-то "рядом" с собственной жизнью.

И там же – в Оттаве – другая встреча, тоже с детством и юностью: Саша Яконовский (корпус, а потом – в 41-42 годы – [лагерь в] Verrieres le Buisson). Тоже седой и тоже тот же: "авантюрист", полная противоположность Горелову. И вот оба живут в Оттаве (!) и "отрицают" друг друга, хотя, может быть, общее детство могло бы быть светом, прорывом из одиночества.

Горелов: "Ты знаешь, я, когда приехал в Париж, пошел в паломничество на [ту улицу] Bd. d'Auteuil, где была гимназия..."

Яконовский: "Ты знаешь, у меня сохранились стихи Кирилла Радищева, я тебе их пришлю..."

Встречаемся – в прошлом, в детстве, обмениваемся обрывками чего-то безнадежно ушедшего и о котором, когда мы умрем, никто не сможет вспомнить. Как мы определены детством!

Вторник, 29 октября 1974

Сегодня нашему маленькому [внуку] Ивану десять лет! А как будто это было вчера: я прилетел в Бостон, меня встретил Сережа – он тогда учился в Гарварде – и мы, позвонив с аэродрома, узнали, что у Ани родился сын. И, значит, с тех пор прошла огромная часть жизни, и умом, конечно, я могу восстановить ее "содержание". Но время, все это длиннейшее время, его реальность – провалилось, кануло в какую-то бездну. Между сегодняшним туманным утром и тогдашним солнечным осенним днем – как будто ничего! Время не течет, а проливается...

Пишу это перед отъездом в Тихоновский монастырь – до четверга! Митрополичий Совет, Архиерейский Синод. Три дня разговоров, три дня участия во всяческих "борьбах", в человеческом непонимании. Три дня усилий все это сгладить, выпрямить, и всегдашний вопрос в душе: нужно это или не нужно? И если нужно, то, собственно, *что* нужно и что не нужно?

За окном – утренний туман и сквозь него ярко-желтая листва. По веткам бегают белки. Все живет и движется во времени, которого нет. Удивительно. Духовная жизнь: претворение этого "нет" в реальность тем, что есть. Падшая жизнь: растворение в этом "нет". Но это кажется реальностью, тогда как – на деле – не реально. А то – извне – кажется нереальным, хотя – на деле – только одно и есть реальность. Это приобщает смерти, то – жизни.

Духовная жизнь: собирание, стяжание "реальности", которая и есть *тело воскресения*. Душа создает себе *тело* – Тело Христа – все творение, как наш мир, как наша жизнь. Иначе – "воскресение тела" не имеет смысла. Тело – это только общение, это превращение мира в "себя", в "жизнь". Создание тела, создание своей вечности. Вот почему так бесконечно драгоценно *время*. В нем сеется тело душевное, без которого не восстать – телу духовному... (1Кор.15:44).

Четверг, 31 октября 1974

Четыре часа дня. Только что вернулся из монастыря, с Синода – теплым, почти жарким днем, по пенсильванским просторам, залитым солнечным туманом. Два дня страшного напряжения, закулисных разговоров, попыток предотвратить столкновения, борьбу, бессмысленные стычки. Успех в этом. И потому чувство полной "выжатости". Описывать все это не стоит: в историю оно не войдет. Но – еще один малюсенький – и каким усилием! каким трудом дающийся! – шаг в сторону какого-то просветления церковной жизни. Всегда, неизменно тот же опыт: о малюсеры!.. Едешь с унынием и со страхом, возвращаешься "свидетелем" Духа Святого в немощах и падениях церковной эмпирии.

Сегодня испытал чувство, которое испытываю часто, – это чувство конца: конца учебного года, конца съезда, собора – как сегодня. Только что все кипело, было напряжено. И вдруг все начинает

"сквозить". Кончено. Прошло. Пусто, светло и немного грустно... И сразу – "надо пытаться жить". Особая окрашенность, особый вкус времени – в "канун", либо же "конца" и т.д.

Пятница, 1 ноября 1974

Т Праздник всех святых. В детстве – первые каникулы учебного года. В этот день всей семьей обедали [у тетюшек] на St. Lambert, потом ехали на могилу бабушки на [кладбище] Pantin. Память о вакханалии цветов на парижских кладбищах, особенно хризантем. Память об этом сочетании "черноты" дня (сумрачно, дождливо, темно) и ярко разукрашенных могил. В 1935 г. после этого дня у меня сделался перитонит, и я чуть не умер.

В монастыре (ночью, после изнурительных заседаний) прочел книжечку Jeanson о Сартре в коллекции "Les écrivains devant Dieu".

"К неверию меня привел не конфликт догм, а безразличие моих бабушки и дедушки". "Это замечание, – пишет Жансон, – кажется мне основным... Вера в Бога (в ту эпоху и в данном обществе) чувствовала себя настолько уверенно, что от этого становилась смиренной, спокойной и чрезмерно скромной, до такой степени, что атеист в глазах верующего становился фигурой оригинальной, "безумцем", фанатиком, окруженным различными табу" – какой-нибудь Сартр "маньяком Бога, который повсюду замечал Его отсутствие, который рта не мог открыть, чтоб не произнести Его имени, короче, человеком с религиозными убеждениями". Высшее же общество, напротив, "верило в Бога, чтоб только не говорить о Нем..." (стр.42-43).

Смотря на семинаристов – и наших, и тихоновских: религию можно любить совершенно так же, как что-либо другое в жизни: спорт, науку, собирание марок. Любить ее за нее саму, без отношения к Богу или миру или жизни. Она "занимает" и "занимательна". Тут все, что любит особый тип человека: и эстетика, и тайна, и священность, и чувство собственной важности и "исключительности", глубины и т.д. Но эта религия совсем не обязательно *вера*, и в этом-то и вся трудность "религиозной проблемы". Люди ждут и жаждут веры – мы предлагает им религию. И это противоречие, это "несовпадение" все глубже, все страшнее.

Суббота, 2 ноября 1974

Проснулся в восемь (Льяна в Монреале). Думал сразу начать работать в это лучшее из всех – субботнее – утро. Не тут-то было. Телефон за телефоном (один Никола Арсеньев "держал" около получаса!). И вот садишься за стол уже изнуренный, выжатый, рапуганный ... День – эта длинная спокойная перспектива – подпорчен. Уныние и раздражение.

Вчера вечером – длинный разговор с Томом о библейском семинаре, затеянном [профессорами семинарии]. Безднадежность этого подхода к Библии. Я давно уже убежден, что православные должны были бы, прежде всего и раз и навсегда, отделаться от "псевдопроблем" вроде "природы боговдохновенности" и т.д., от богословского тупика. Пока писал это – еще два телефона. Безднадежность любого "плана". Все равно кто-нибудь его нарушит.

Воскресенье, 3 ноября 1974

Весь день в Wayne: десятилетие прихода. Как всегда – радостное чувство от успеха такого прихода, от осмысленности богослужения, храма, всего "тона". На этом можно строить.

Размышления о *власти* в связи со скриптами о солженицынском "Письме вождям". Вчера и сегодня прочел книгу Ж.Ф.Ревеля «Открытое письмо правым».

Понедельник, 4 ноября 1974

Двадцать восемь лет с посвящения сегодня на rue Daug в диаконы.

Упадок сил – после напряжения прошлой недели. Остаешься один – и "падают руки". И все кажется ненужным – и статья, которую пишу для "Континента" Максимова (о кризисе христианства и о христианстве как кризисе), и все дела, которые нужно сделать, и бумаги, которыми завален стол. Все вокруг как будто так ясно знают, что нужно, чего не нужно, все "целеустремлены" – а у меня почти всегда такое чувство, что я этого-то и не знаю. А скорее – текущий ремонт: чтоб не испортился "водопровод", чтобы проходила вода, свет, добро. Не знаю. Нет у меня "убеждений", а скорее только "реакции", что-то вроде камертона в душе.

В новой книге "Нового журнала" (№116) последние записи Бунина: какое страшное, полное отчаяние, страх смерти, одиночество. И злоба! И самолюбие!

И вот, выходит, каждый "бубнит свое" пока есть силы и потом оказывается одиноким, ненужным.

По-видимому, нужно просто знать и помнить, что "бывает такое небо, такая игра лучей..."⁷⁵.

Вторник, 5 ноября 1974

Получил извещение, что моя "Life of the World" вышла по-немецки (в Швейцарии) – это ее шестой перевод.

Профессор Monas из Austin пишет, что в прошлом году в Ленинграде встретил группу студентов, у которой мое имя было "паролем" И вот приглашает в Austin на десять дней и предлагает 1500 долларов! Америка.

Несколько страничек из книги Huizinga об Эразме.

С утра темно и дождливо. Листья почти все опали.

Среда, 6 ноября 1974

Вчера, вернувшись с голосования, весь вечер слушали о результатах выборов по телевизии. Разгром республиканцев, расплата за Никсона и за [уотергейтское дело]. Никсон, меж тем, при смерти... Удивление, даже страх от мысли – от кого, от чего зависит наша жизнь, от трагикомической природы земной власти и земных властителей. Пожалуй, только в одном месте Евангелия, в вопросе Христа: "Чье это изображение?" – слышится в нем презрение. Огромная страна погружается в кризис, потому что президент болен патологическим недоверием и видит всюду заговоры против себя. Никсон, Сталин – что-то очень важное для понимания феноменологии власти. В том-то и ужас, однако, что они – исключение, подтверждающее правило о "демонизме", присущем власти...

Четверг, 7 ноября 1974

Вчера в Нью-Йорке. Завтрак с о. Кириллом Фотиевым. Радио "Свобода": проводишь там полчаса, но погружаешься зато в типично эмигрантскую атмосферу, сотканную из страха, сплетен, недоброжелательства и твердокаменной "правоты". Трагедия эмиграции, прежде всего, конечно, в выпадении из времени и потому – остановке времени. Как замирают люди с открытым ртом и

⁷⁵ Из стихотворения И.Анненского "То было на Валлен-Коски"

поднятыми руками, когда останавливают фильм. Рот и руки и вся поза выражают движение, а на самом деле все неподвижно и окаменело. Это окаменение во всем – в спорах о "русскости", в "национальных организациях", потому что оно в самом сознании. Поэтому эмиграция *реакционна* по самой своей природе. Не участвуя в реальной жизни страны, народа, культуры, она может только "реагировать", но реакция эта, определенная изнутри этим отрывом, мертворожденная, иллюзорная. Все это я почувствовал, если не осознал...

Пятница, 8 ноября 1974

...в сущности очень рано, пожалуй, еще в корпусе. Уже тогда, мне кажется, я сознавал, что вся эмигрантская риторика (вроде "Церковь – это все, что у нас осталось от России... будем хранить ее...") – изнутри ложная, духовный тупик. Но вот прошло несколько десятилетий, и этот тупик все еще тут...

Пишу это, вернувшись утренним аэропланом из Rochester, где вчера вечером я читал лекцию в университете. До этого провел несколько преемственных часов у о.Ф.Войчика, с которым мне всегда как-то особенно хорошо. Три чудных мальчика.

Сегодня – сорок один год со смерти [в корпусе] нашего директора ген[ерала] Римского-Корсакова, человека, сыгравшего в моей жизни большую роль: открывшего мне русскую поэзию и литературу. Он меня особенно любил, всегда выделял и давал мне тетрадки с переписанными от руки стихами. И это в корпусе, где дальше погон, полков и "русской славы" никто не шел. Его смерть была моей первой сознательной встречей со смертью, и притом очень реалистической. Из-за узости коридора в его спальню нельзя было внести гроб, и мы – старшие кадеты – несли его на простыне в корпусную церковь. Он умер от рака желудка, и потому трупный запах был страшный, невыносимый... Тогда я в первый раз осознал разлуку, пустоту, остающуюся после смерти близкого в жизни, призрачность самой жизни.

И именно после его смерти начался мой внутренний отрыв от корпуса, все в нем стало пресным, пустозвонным, и через год с небольшим я сам попросил маму перевести меня во французский лицей, куда (осенью 1935 года – Lycée Carnot) я и перешел.

Если мерить жизнь решающими "личными" встречами, то получится, пожалуй, так: ген[ерал] Римский-Корсаков, о.Савва (Шимкевич, "поручик"), В.В.Вейдле, о.Киприан. Каждый из них что-то действительно "вложил" в мое сознание, тогда как другие только так или иначе влияли на него. И это так потому, наверно, что каждый из этих четырех не только что-то "давал", но и брал от меня – то есть любил меня, и я, следовательно, был ему нужен. Каждый раз здесь был своего рода "роман", а не только умственное общение. И этого "романа" совсем не было с другими, может быть гораздо более замечательными людьми: Карташевым, Булгаковым, Зеньковским. Насколько же, по-видимому, личная встреча и взаимность и личная любовь важнее в жизни, чем "умственное" влияние. А вместе с тем точно описать и определить, что эти четыре мне дали, – невозможно, "влияние" же других вполне для меня очевидно.

Осень. Все больше неба, все больше этого удивительного, *отрешенного* света.

Понедельник, 11 ноября 1974

В пятницу вечером – приезд из Парижа племянницы Наташи. В субботу после всенощной – Тихон и Марина Трояновы. Рассказы о только что кончившемся в Дижоне втором съезде православной молодежи. Семьсот человек!

Вчера – на храмовом празднике в Sea Cliffe. Два архиерея, крестный ход, изумительный солнечный день, радость от погружения в "праздник" и празднование. Потом банкет и моя для меня самого неожиданно "сильная" речь. Сильная в том смысле, что выливается в исповедание действительно и предельно искреннего убеждения, что наше "американское" православие не только не "измена" русскому, а его исполнение, его торжество... Вечером страшная усталость от всего этого.

Вторник, 12 ноября 1974

Восемь тридцать утра. Сажу в своем кабинете, вернувшись с утрени. Перспектива дня: экзамен по литургике, дантист, заседание Малого Синода, заседание "исполкома" Trustees [попечительский совет], лекция на [вечернем курсе], общая исповедь. Кроме того, нужно найти время и написать на завтра очередной скрипт для радио "Свобода". Вот! В такие дни встаешь уже усталый... Кроме того – просьбы о встречах: студента Колумбийского университета, пишущего о Солженицыне, англиканского монаха из Англии, Верховского, собрание о новой постройке. Каждый день что-то, что выбивает из колеи, причем уже неясно, что и в чем сама "колея", если не в постоянной суматохе и трепке нервов.

Эти дни – с племянницей Наташей. Удивительная, прозрачная, светлая – naturaliter christiana. "Утешение", исходящее от таких людей.

Вчера вечером – заседание нашего Faculty, мирное и дружное. Доклад "историков" – Мейендорфа и Эриксона. В связи с этим размышления – опять и опять! – о богословском образовании вообще, об "истории" в частности. В идеале изучение истории Церкви, конечно, должно освобождать человека от порабощения прошлому, типичного для православного сознания. Но это так в идеале, увы. Помню, как медленно я сам освобождался от идолопоклонства Византии, Древней Руси и т.д., от увлечения, от "игры". А теперешний студент, определяемый в первую очередь незнанием истории вообще, никакой истории, еще меньше способен к нахождению собственного синтеза и "целостного мировоззрения". И главное здесь в том, что у Церкви нет "священной истории", подобной истории библейской. А между тем наше преподавание, выделяющее "историю" Церкви, как раз и превращает ее, волей-неволей, в священную историю и тем самым извращает, прежде всего, само учение о Церкви, восприятие и переживание ее сущности. Тут что-то крайне неладно, но как это исправить, как, прежде всего, это дать понять, формулировать – не знаю. И потому – неуверенность, разлад. С одной стороны – согласие с "историками": вне исторического подхода возникают ложные абсолютизмы. С другой – [согласие] с "пастырской" фракцией, стремящейся ограничить историю в пользу реальной, живой, существующей Церкви... Выходит так, что определение Церкви требует определения "историчности" Церкви и, следовательно, "истории Церкви" и ее изучения...

Основная "формула", мне кажется, все та же: эсхатологическая. Церковь – это присутствие во времени, в истории *святого* и *священного*, но не по принципу дихотомии "священное – профанное", а по принципу эсхатологическому – для возможности *все во времени* и в истории *относить* к Царству Божьему и тем самым оценивать его. Но в этом смысле Церковь и не имеет сама никакой "истории" как священной категории собственного бытия. Ее жизнь всегда "сокрыта со Христом в Боге", *живет* она подлинно не историей, а Царством Божиим. Поэтому ее история есть всегда и только история ее *встречи* с миром, всегда и только "соотношение". Вселенские Соборы, например, не суть какие-то "священные события" per se, "онтологически", в духовной реальности никакой "эпохи Вселенских Соборов" нет. Качественно они ничего не меняют в Церкви и в этом смысле – "относительны", как и все формы и выражения Церкви, вся ее "видимость" и "историчность". Их важность в том, что они всегда *ответ* миру, утверждение *возможности* спасения и преображения. Но как только мы их "абсолютизируем", то есть делаем ценностями в себе, а не по отношению к миру, как только, иными

словами. мы делаем их самих "священной историей", мы лишаем их их подлинной ценности и подлинного значения. Такова очевидная греховность "абсолютизации" в Православии ее исторической культуры: пяти восточных патриархатов, переживание греками "Вселенского Патриарха" как священной и вечной категории Православия и т.д.

Поэтому богословской предпосылкой изучения истории Церкви должно быть как раз освобождение истории Церкви от ее священного абсолютирования. Между тем как изучение это, сосредоточенное уже давно на Церкви в себе, а не на соотношении ее с миром, культурой и т.д., и создает этот опасный и вредный подход: "священная история". Вместо освобождения получается порабощение, которое и является, увы, основным бременем Православия.

Четверг, 14 ноября 1974

Письмо от Солженицына. Смешно, как с некоторых пор что-то как будто чуть-чуть "надломилось" между нами. Письмо очень милое, с предложением встречи в декабре, в Париже, но вот словно все очевиднее разница в "длине волны". Солженицын пишет:

"...с интересом прочли Ваш разбор "Архипелага" [я послал ему по его просьбе мои тридцать скриптов]. В одном месте нашел я противоречие и не пойму: у Вас ли это противоречие или Вы вскрыли его у меня. Именно: с одной стороны, следователи – только держатся за положение, за власть, "люди без верхней сферы". С другой стороны, и в "Архипелаге", и в моем споре сейчас с Сахаровым я настаиваю, что вся правящая клика (даже помимо своей воли и ведома) пронизана идеологией и именно ею опасен режим и именно его, а не "просто злодеяниями" совершены все злодеяния. Второе мне кажется самым верным, но, может быть, где-нибудь допустил противоречие...?"

Мне же кажется, вернее – я убежден, что если исходным целительным у Солженицына был его "антиидеологизм" (см. мою "Зрячую любовь"), то теперь он постепенно сам начинает опутывать себя "идеологией", и в этом я вижу огромную опасность. Для меня зло – прежде всего в самой идеологии, в ее неизбежном редуционизме и в неизбежности для нее всякую другую идеологию отождествлять со злом, а себя с добром и истиной, тогда как Истина и Добро всегда "трансцендентны". Идеология – это всегда идолопоклонство, и потому всякая идеология есть зло и родит злодеев... Я воспринял Солженицына как освобождение от идеологизма, отравившего и русское сознание, и мир. Но вот мне начинает казаться, что его самого неудержимо клонит и тянет к кристаллизации собственной идеологии (как анти, так и про). Судьба русских писателей? (Гоголь, Достоевский, Толстой...) Вечный разлад у них между творческой интуицией, *сердцем* – и разумом, сознанием? Соблазн учительства, а не только пророчества, которое тем и сильно, что не "дидактично"? Метеор, охлаждающийся и каменеющий при *спуске* в атмосферу, на "низины"? Не знаю, но на сердце скребет, и страшно за этот несомненный, потрясающий *дар*...

Завтрак вчера с Н. Разговоры только о христианстве, только об "истине". И этот ужасающий тон – высокомерие, оскорбительное недоверие, сверху вниз – по отношению к подающим нам лакеям... Грустно и противно.

Показывал Нью-Йорк Наташе. Бродвей. Наш дом против Union Seminary, Центральный парк, гостиницу "Plaza", Парк-авеню. Холодный, ветреный, солнечный день. "Ретроспектива". Смотри на окна нашей квартиры (одиннадцать лет!) подумал: сколько уже и в этом нью-йоркском периоде нашей жизни кончилось, стало далеким прошлым: лекции у Новицкого, Гагарины, литературный кружок у нас, дружба с Карповичем, с Ю.П.Денике, встречи в пиццерии с Варшавским, ужины у Терентьевых, завтраки в Steak de Paris (даже дом разрушен!). Все это десятилетие пятидесятых годов – до переезда в Crestwood, то есть когда мне было между 30 и 40 годами! Еще все-таки молодость. Шестидесятые

годы: отрыв от всего этого, даже физический – [переезд] в Crestwood. Страшное бремя "церковной работы". Смерть: Карповича, Денике, Гагарина, Новицкого, Терентьева, смерть, проводящая черту между настоящим и тем, что внезапно претворяется в прошлое... Семидесятые годы: начало шестого десятка, то есть, в сущности, старости или хотя бы только старения. Снова Россия: Солженицын, диссиденты, "Вестник". Может быть, начало некоего внутреннего "синтеза", какого-то уже все на свои места расставляющего "видения"? А также – несомненная полнота семейного счастья: дома, в детях, во внуках. Присутствие "тайной радости". "Высоким полднем плавилась гола..."⁷⁶. Когда смотрю назад – всегда звенит в душе эта строчка (откуда?). Прежде всего вижу озаряющее эти годы солнце, этот "высокий полдень".

А над миром – тьма, приближение какой-то страшной ночи (вчера на площади Объединенных Наций тысячи полицейских: речь Арафата, манифестации...). В памяти: четыре удивительных – и таких разных – десятилетия: тридцатые годы – парижская юность, золотой век эмиграции и последние лучи старого европейского мира. Сороковые – война, крушение этого мира, подворье, семья, священство, молодость. Пятидесятые – "благополучие", "творчество". Шестидесятые: "engagement" (Церковь). И вот вдруг: такое сильное ощущение, что *прошлого* -то гораздо больше, чем *будущего*, что все отныне будет итогами, раскрытием того, что уже было, уже дано...

"Десятилетия"

1 ноября 1930 г . – поступление в корпус

8 октября 1940 г . – поступление в Богословский институт Париж

8 июня 1951 г . – отъезд в Нью-Йорк Нью-Йорк

14 октября 1962 г . – переезд в Crestwood Crestwood

⁷⁶ Из стихотворения П.Ставрова

Тетрадь II (ноябрь 1974 – август 1975)

Пятница, 15 ноября 1974

Вчера длинное письмо Никите в связи с письмом ко мне Солженицына. Поделился с Никитой моими волнениями о скольжении С. в сторону "идеологизма" и "доктринерства", непонимания им церковной ситуации и т.д. Кончаю письмо так: "Пишу Вам все это, как думаю и чувствую. Может быть, целиком ошибаюсь и в мыслях, и в чувствах, чему первый буду очень рад. Люблю его так же, даже больше – ибо теперь с какой-то болью за него. Все данное и подаренное им воспринимаю и переживаю так же – как одно из самых радостных, больших, решающих событий даже личной жизни. Ни от одного слова, написанного о нем, не отрекаюсь. Но вот когда натыкаешься на самое для себя святое и "последнее": не Церковь для России, а только в бесконечно трансцендентной, самоочевидной, все превышающей истине Церкви – и сама Россия, и все в мире, тогда чувствуешь и самоочевидную границу согласия – даже со святыми и гениями... Тут смириться должен он, тут правда, ему неподсудная и, главное, несводимая ни чему, даже самому любимому, самому драгоценному в "мире сем".

Воскресенье, 17 ноября 1974

Сегодня после обедни в воскресной тишине дома (солнце, голые деревья) слушали "Страсти по Матфею" Баха. Всегда, слушая их, вспоминаю "встречу" с этой удивительной музыкой в нашем домике в L'Etang la Ville. Она тогда буквально "пронзила" и восхитила меня. И с тех пор всегда, когда слушаю ее, особенно некоторые места (плач "дщери Сиона", последний, завершительный хорал), думаю то же самое: как можно в мире, в котором родилась и прозвучала эта музыка, "не верить в Бога"?

Встреча вчера, до всенощной, с Mark Tweedy, англиканским монахом из Община Воскресения Господня, с которым я встречался в Англии на съезде Fellowship'a в 1948 или 49 году. Всегда поражает удивительная *детскость*, присущая этого рода людям. Их трудно представить себе грешащими. И пахло Англией, вернее – моими встречами с Англией в 1937-1938 гг. и потом после войны.

Занимаюсь исправлением "самиздатовского" перевода моей "For the Life of the World". Странное и радостное чувство: эту книгу кто-то переводил, кто-то читал там .

Вчера Connie принесла мне мою только что вышедшую книжечку "Литургия и жизнь". Удивительно: когда читаешь "самого себя" напечатанным, "опубликованным" – точно читаешь написанное кем-то другим. Всегда узнаешь что-то новое.

Сегодня в "New York Times" малюсенькая статейка (на седьмой странице) о пресс-конференции Солженицына в связи с выходом сборника статей "Из-под глыб" (Шафаревич, Агурский, Барабанов и др.). Знаю, как он к этой пресс-конференции готовился, какое придавал ей значение. И вот – несколько строчек, и больше ничего...

Понедельник, 18 ноября 1974

Ужин у Кишковских. Впечатление от обоих – света, простоты, неподдельного добра. Ни о чем "важном" не говорили, а чувство такое, что прикоснулся к свету.

Смутный сон, в котором почему промелькнул Л.А.Зандер, что-то тяжелое и неясное.

Проснувшись, понял: это запало в сознание после известия] о только что скончавшемся Лаури. Тогда еще подумал об ужасе этого умирания заживо, о том страшном времени, когда человек, игравший "активную роль" (как Лаури в Париже сороковых годов, эдаким был генералом), еще жив, но уже как бы "выведен в расход", не нужен, начисто, наглухо забыт. Понял с жалостью эти так надоедающие всем звонки А. Он знает, что, если он не напомним о себе, никто не вспомнит, и вот эта патетическая борьба с погружением в небытие, с "раковинным гулом небытия". Ощущение заживо погребенного...

Сережа передал мне вчера ленту о пресс-конференции Солженицына: она длилась четыре часа! Причем в начале он говорил два часа... Лента упоминает "усталых журналистов".

Выборы в Греции. Атмосфера войны на Ближнем Востоке. Забастовка во Франции. Абсолютная неразрешимость ни одной из этих проблем при теперешнем подходе: "права"... Правда Солженицына и его рецептов раскаяния и самоограничения. Но это требует духовной революции, для которой в теперешнем человеческом сознании нет решительно никаких предпосылок. Человек знает только самоутверждение и обличение чужой неправоты. Мы живем в шизофрении: христианская мораль, в ту меру, в какую она вообще была воспринята, воспринята была только как мораль индивидуальная. Но в отношении своего народа, своей церкви и т.д. христиане первые (после евреев) живут самоутверждением, гордыней и "экспансией". Откуда же взяться "раскаянию" и "самоограничению"? "Я", может быть, и уступлю, "мы" никогда не уступим, потому что мы правы, всегда правы, не могли бы секунды прожить без своей правоты. Или тогда – омерзительное биение себя в грудь, как у американских либералов в отношении негров, "третьего мира" и т.д., или у кающихся русских интеллигентов. Тогда как смысл христианства в том, чтобы быть правым и уступить и в этом дать засиять победе: Христос на кресте – и "воистину Человек сей сын Божий..." (Мк.15:39). В четверг вечером, накануне Рождественского поста, говорим, вернее – пытаемся говорить все это студентам. Почему пришествие в мир Бога в образе "Отроча Младо" не только "кеносис", но и самое "адекватное" Богоявление. Поэтому-то в нем так очевидна, так божественна – ненужность силы, славы, правоты, прав, самоутверждения, авторитета, власти, всего того, что нужно только там, где нет истины, и что, поэтому, не нужно Богу. Навсегда поразившие, убедившие меня слова Клоделя: "...и я понял вечную детскость Бога".

Удивительная логика, явленная христианством: сумма грешных людей "дает" Церковь, Тело Христово, а в "миру" наоборот: сумма индивидуально и скромных, и жертвенных, и во всех смыслах, возможно, "порядочных" людей "дает" дьявольскую гордыню, коллектив, живущий самоутверждением. Увы, однако, и Церковь живет "мирской", а не христианской логикой.

Перечитал написанное и остановился на словах "L'Etang la Ville". Мы прожили там почти шесть лет! С 1945 по 1951. Оттуда я ездил посвящаться, а потом – служить в Clamart. Оттуда также поехал – в октябре 1945 – на свою первую лекцию в Институте. Оттуда Льяна ездила в Clamart к родителям рожать Сережу и Машу. Мы были тогда невероятно бедны (иногда, накормив детей, сами не ужинали), но какие же это были счастливые годы! Жили прямо на опушке леса, в продувной избе. Часто гуляли по лесу – помню почему-то одну такую весеннюю прогулку, яркость березовых стволов, ландыши, и почему-то это осталось в памяти связанным со словами "Христос – новая Пасха"...

Вторник, 19 ноября 1974

Вчера в Льяниной школе попытка девочки шестнадцати лет покончить самоубийством. И самое страшное, что это уже почти не удивляет!

За кофе сегодня утром разговор с Льяной о "сравнительной литературе". Русская литература – ничего не боится! Прет напролом, лезет на самый верх или в преисподнюю, карабкается, падает, снова

карабкается. Невероятные удачи – добрались, доползли, и невероятное падение. Отсюда у некоторых (у Л., например) инстинктивный страх перед нею. Английская литература мне всегда кажется начиненной подспудным "фрейдизмом", своего рода самозащитой против него, неким "законом и порядком". Немецкая – "Смерть в Венеции", где все, что происходит, происходит в конечном итоге только потому, что перенесено в Венецию, где, иными словами, "Венеция" и есть сущность драмы... И, наконец, французская – без "подспудного", но все же единственная в своем свидетельстве о "христианском человеке".

Пятница, 22 ноября 1974

Введение во Храм, и всенощная и Литургия "удались", то есть совершилось то, пускай и мимолетное, "прикосновение" праздника душе, которое осознаешь только потом, но из которого все – знание, радость, понимание, свидетельство – и вырастает...

Вчера после обеда волил племянницу Наташу по Нью-Йорку (33-я улица, потом Уолл-стрит, Фултон-стрит...). Страшно холодный, страшно ветреный, темный день. В ущельях-улицах между небоскребами трудно идти от ветра. Что-то грандиозное в этих громадах, в их скоплении в одном месте, в окруженности их водой с висящими над нею мостами (Brooklyn Bridge – весь кружевной, прозрачный, Manhattan Bridge...), и что-то, меня всегда "вдохновляющее". Идя с Наташей, показывая ей, думал о Солженицыне с его ненавистью к городам, асфальту, высоким домам. Он бы, наверное, проклял все это с ужасом и отвращением. А вот я не нахожу в себе ни этого ужаса, ни проклятия. Настоящий вопрос: есть ли это часть того "возделывания мира", которое задано человеку Богом, или нет? Солженицын, не задумываясь, отвечает: "Нет", но прав ли он? Он видит падение, извращение, порабощенность. А я, понимая весь "демонизм" этого (одно скопление банков чего стоит! Настоящая архитектурная литургия "золотого тельца"), спрашиваю себя: *чего* же это падение, *чего* извращение – ибо не могу отделаться от чувства, что и тут что-то *просвечивает*, чего падение не в силах до конца затмить. Но *что* это – не знаю... Знаю только, что есть и величие, и красота в этих царственно возвышающихся, грозно скопленных громадах, в их грандиозности и, вместе, простоте, в этих тысячах освещенных окон, есть гармония, есть "музыка".

Закончили вечер втроем в уютнейшем армянском ресторане на University Place.

Суббота, 23 ноября

Сегодня – по делам семинарии – в Питтсбург, завтра – в Коннектикут. От всего этого вперед устаешь и запыхиваешься. Вчера, от усталости и также от отсутствия "дежурной" книги, читал Театр Мориса Буассара" (Поль Леото) и думал о разных "умах". Острый ум, глубокий ум, "интеллектуальный" ум и т.д. У каждого своя функция. Leautaud, очевидно, не понял бы ни одной строчки, скажем, Бергсона. А между тем его ум – острый, и функция такого ума – безжалостно разоблачать всякую фальшь, позу, претензию. Это как бы зеркало, в которое нужно время от времени взглядывать, чтобы проверять себя: а не поза ли это, не выпревшая ли болтовня, не обман или самообман. Антидот того благочестивого и тем часто лицемерного благочестивого тумана, в котором живет большинство религиозных людей и в котором "все позволено"...

Семь часов утра. Морозный, красный восход солнца.

Воскресенье, 24 ноября 1974

Вчера почти целый день над статьей о мариологии. Как трудно сказать самое простое и самое главное! Все слова оказываются не "те", и понятным становится искушение "академического",

"научного" богословия: вечно повторять – "научно" – то, что говорили другие, и еще – кто на кого и как повлиял...

Постоянное присутствие в доме глубокой грусти: Наташа... Как тут "помочь"?

Все продолжает быть залитым солнечным светом. Удивительная осень. За обедней сегодня вспоминал только что скончавшегося Жарковского. Вот уже и ранние "американские" годы уходят в прошлое.

Вторник, 26 ноября 1974

В воскресенье в Коннектикут по делам семинарии. Образ преуспевшей Америки, богатства, успеха. Собрание в богатом доме, все крайне благопристойное. Но, Боже мой, с каким трудом в этой обстановке звучат слова о Церкви и о служении ей.

Сегодня утром – после утрени – длинный разговор с J.L., молодым студентом, об его "дружбе" с Я.Р. – другим, старшим студентом. Как говорить об этой извечной проблеме, как уберечь? От эмоциональности, сентиментальности, от этих под приторным покровом религиозной фразеологии и чувственности расцветающих "дружб", в которых уже ощущается головокружение перед пропастью. Пугать адом? Цитировать апостола Павла? Я знаю, что вдохновение собранности, чистоты, внутренней свободы есть преодоление "вверх" всех соблазнов, что если нужна борьба, то она возможна только во имя чего-то очень высокого и горнего. Своего рода "сублимация". Как провести черту между "половольем чувств"⁷⁷ и извращением? Черту формальную, ибо "сердцем" я ее всегда в других ощущаю: это именно когда радость заменяется какой-то унылой "фиксацией", одержимостью, когда человек "закрывается" тому, что через *все* в этом мире светит и просвечивает. Тогда начинается "ночь безлунная греха".

Пятница, 29 ноября 1974

Вчера Thanksgiving – у Тома и Ани. Вся семья, все внуки плюс Наташа и Алеша и Лиза Виноградовы: девятнадцать человек за столом. Чудный день! Сначала тихая, "легкая" обедня. Потом – уже по традиции – посещение имения Рузвельта в Hyde Park и Vanderbilt Museum на обрыве над Гудзоном. Зимнее прозрачное солнце, безветренный день, тишина этих парков, этих комнат, в которых когда-то было столько жизни. Не знаю, почему, но на меня все это действует неотразимо. И снова – этот удивительный свет, это где-то далеко за Гудзоном вспыхивающее в закате окно. Вечером – индюшка. Дети поют хором – "Да молчит всякая плоть", "Архангельский глас" и Рождественские колядки. Беспримесное счастье, полнота жизни...

В среду – лекция в Brooklyn College. Час на метро – и словно в какой-то другой стране, другом городе вылезает наружу. Час в разговоре со студентами, и полное от этого удовлетворение. Утром проснулся со звенящим в голове стихом (Одоевцевой?):

*Я помню, помню, я из тех,
В ком память змеем шевелится,
Кому простится смертный грех
И лишь забвенью не простится...*

Сегодня вечером – Чалидзе, Литвиновы, Шрагины.

⁷⁷ Из стихотворения С.Есенина "Не жалею, не зову, не плачу..."

Суббота, 30 ноября 1974

Вчера – "вечер диссидентов" у нас. Впечатление, что все это – очень *хорошие* люди: чистые, благородные, сердечные – в самом глубоком смысле этого слова. Но притом – люди без *окончательного* выбора и потому, в сущности, растерянные, потерянные. Они чудно могут анализировать все "тамошнее", но словно неспособны на выбор и цельность, на собранность и целеустремленность. Это не страх и не малодушие: каждый из них это доказал своим "диссидентством", это какая-то врожденная боязнь, испуг перед "абсолютом", боязнь потерять "свободу", "включиться"... По избитому шаблону: "суждены нам благие порывы...". Удовольствие от состояния "порыва". Sic et non. И от всякого толчка в сторону большей ясности, большего выбора – пугаются, сжимаются, уходят в себя и пассивно сопротивляются. Отсюда их нелюбовь – к Максимову, к Солженицыну. Они их пугают своим выбором. В сущности, идеал их – это быть расстрелянными во время безнадежной демонстрации. Любовь к судьбе. Однако "человеческий тип" бесконечно привлекательный и столь же "мучительный". Сидели до двенадцати и уходить явно не собирались... Подтолкнул Миша Аксенов.

У русских: огромное, рыхлое, бесформенное – но всем этим сильное "я".

Двадцать восемь лет со дня посвящения в священники (преп. Никона Радонежского). Этот день помню с большой ясностью: как спускались с Льяной от метро по rue de Crimée к Сергиевскому подворью] и, так как было еще рано, зашли в парк] Buttes Chaumont. Помню серый, типично парижский день. Потом на Часах, когда кадил еще дьяконом, помню папу в церкви (необычно – на подворье). Сам момент хиротонии не помню. Только массу духовенства в церкви и радостного о.Киприана (он водил меня вокруг престола). После службы Андрей принес в алтарь греческую рясу, только что сшитую А.Л.Световидовой (ее привез с собой в Америку). Завтракали на Clichy у родителей], потом, на пути в Clamart, где я служил первую всенощную (а на следующий день – первую Литургию), заехали с Л. к дяде Мише Полуектову. А на следующий день – в воскресенье – днем я заехал к митрополиту Владимиру, и он подарил мне дароносицу. Помню проливной дождь на пустой rue Dagu, фонари, Василий Абрамович Гаврилов, сторож, отвел меня в ризницу и подарил мне епитрахиль митрополита Евлогия. Все это было двадцать восемь лет тому назад! И остается от этого одно огромное чувство благодарности за все полученное в жизни, за все это ничем не заслуженное счастье, столько счастья! И пока пишу это, в окно вливается ярко-красный закат и озаряет книги, многие из них – еще подворских лет: Duchesne, Васильев (?) – купленные в подражание о.Киприану...

Только что завтракали в Scarsdale у Миши и Веры Бутеневых. Все дети – дома, и я всегда, глядя на них, думаю о том, как хорошо сотворил Бог человека (и это несмотря на то, что Алеша и Таня "не ходят в церковь"). – ибо из них, особенно старших, излучается красота добра.

Понедельник, 2 декабря 1974

Только что проводил в Париж – Наташу, с которой за три недели мы очень сжились.

Вчера днем заезжал Павел Литвинов – передать Наташе письмо – и с ним Есенин-Вольпин, которого я еще никогда не видал. Впечатление – русского интеллигента-профессора 19 века... Волнения об аресте Осипова, вызове Анатолия Марченко, обыске у Твердохлебова. По видимости, начался новый нажим.

Вечером преуютный ужин у Сережи и Мани.

В пятницу говорил Шрагину: нужно было бы для вас, "третьей эмиграции", устроить семинар

по русской эмиграции, в которой вы ничего не понимаете. У меня все время сидит в голове эта мысль: не только для них, но и для самого себя разобраться в этом опыте, совпадающем хронологически с моей жизнью. Это был целый мир, смешение и столкновение всех "Россий", особенно обостренное тем, что происходило оно в безвоздушном пространстве. Но чем поразителен и, пожалуй, единственен этот "мир", то это своей полной отвлеченностью, отрешенностью от всякой реальности: "русскость", но без всякого не только отношения, но даже интереса к реальной России, Православие, но в ту меру, в какую оно – составная часть этой отвлеченной "русскости".

В "эмигрантском мифе" поразительны и его иллюзорность, и его сила, или, вернее, их сочетание: чем иллюзорнее миф, тем он сильнее. С одной стороны – "кружимся в вальсе загробном на эмигрантском балу" *I*, а с другой – именно этот "вальс" и завораживает, и втягивает в себя, и побеждает убежденность, жертвенность, энергия, с которой люди действуют во имя совершенно иллюзорных дел: какого-нибудь "общекадетского съезда"... Собрать его просто для того, чтобы встретиться, – и никто собирать не будет, и ничего не выйдет. Но претворить его в ритуал, включить его в "эмигрантский миф" – и все выходит, хотя то, что вышло, со стороны поражает своим абсолютным номинализмом, своей полной ненужностью. Однако в том-то и все дело, что нужна была только сама *встреча*, которой бы не вышло, не будь она овеяна силой "мифа".

Еще поразительно то, что *миф*, чтобы сохранить свою силу, свою "энергическую" способность, должен быть всеми силами охраняем от всякого анализа, должен оставаться "золотым" – или трагическим, или еще каким-либо – *сном* ("честь безумцу..."). Он должен быть возвышенным, дабы оправдывать "верность" (мы остались *верными* России...). Далее, он должен иметь свой *негативный* полюс, дабы "верность" могла переживаться как "непримиримость", "бескомпромиссность", "принципиальность". Он должен быть достаточно расплывчат и поверхностен ("За Русь, за Веру!"), чтобы, переживаемый как верность, бескомпромиссность и т.д., одновременно не слишком мешал жизни ("эмигрантскому быту" – с балами, весельем, встречами Нового Года и т.д.). И достаточно прост, чтобы можно было не задумываться (ибо "Россию погубили все эти интеллигенты").

Таким образом, *миф* сохраняет эмиграцию (вводит в нее детей, родившихся в 1951 году!), но он же делает ее решительно бесплодной, саму ее претворяет в миф. Ибо, поскольку это миф, он непромокаем для "реальности" – будь то России, будь то Запада. Как характерно, что "вторая эмиграция" – 40-х годов – в сущности включилась в этот миф, ничего нового к нему не прибавив. Ибо тут действует простое правило: чтобы быть *эмигрантом*, нужно принять миф, но, приняв миф, теряется всякий смысл самой эмиграции, она становится "целью в себе".

Поэтому от всего того, к чему, согласно мифу, эмиграция стремится, во имя чего существует, *ничего* не останется. Однако сама эмиграция все больше будет претворяться в объект изучения, любопытства, своеобразной "ностальгии". Она, может быть, даже останется в русской памяти, как остались "дворянские гнезда", романтика военного быта и т.д., как нечто своеобразное и по-своему законченное.

Сейчас наступил ее конец. И трупный яд, пожалуй, в ней сильнее, чем сила – миф: он сам начал распадаться. Но потому-то, пожалуй, и так важно начать процесс ее *понимания*, которое одно может противостоять яду. Не суд над ней ("А судьи кто?"), а именно понимание.

Полю Леото: "Я часто думал об этом: работать до изнеможения, ни на минуту не останавливаться – какой дар иллюзии! Какое отсутствие чуткости! В то же время ни грёз, ни колебаний, ни равнодушия, ни легкого привкуса горечи от суеты всего окружающего? Приходится признать, что нет" (Театр Мориса Буассара, I, 373). Вот, по-видимому, чем мне так дорог Paul Leautaud: "ce gout amer de la vanite de toutes choses...".

Среда, 4 декабря 1974

Маленькие бури в семинарии, в церкви. Уныние от пропитанности всего этого душевного мирка враждой, мелким честолюбием, мелким властолюбием, личными счетами, недоверием. Опустошенность души, неспособность стряхнуть с нее всю эту липкую нечисть и страстное, безграничное, желание уйти... Днем читал некоторое время статьи и брошюры о патриархе Тихоне, и вот еще раз убедился в том, что книги "приходят" в нужное время: именно в нечисти и окруженный ею жил патриарх, она была его крестом и мукой, в принятии, несении их его подлинная святость. Урок и наставление.

"Узость и теснота": почти физическое присутствие и ощущение уныния. И вдруг – отпускает. И такое же ощущение мира и света. То, что кажется невозможным за минуту до этого, становится самоочевидным, реальным.

Введение во Храм по старому стилю. "Семеновский праздник". Нас с детства водили в этот день на полковой молебен на rue Daug. Сначала было много народа, атмосфера светского праздника. Они – офицеры – уходили в ресторан. Потом все меньше и меньше... А теперь стоит на молебне, в освещенном храме, с полным хором, один Андрей! Вот она – "верность как таковая", безотносительно к тому, чему она верна. Миф, о котором я писал вчера или позавчера, – в чистом, хрустальном виде. Когда он перестанет устраивать этот молебен, что-то *кончится*. Что именно? Не Семеновский полк, конечно, которого нет уже пятьдесят лет. Некая платоновская идея. Память о памяти, воспоминание о воспоминании:

*Был целый мир, и нет его,
Нет ни похода Ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно – ничего...⁴*

Сохранить же навеки все это: группу седеющих людей, уходящих в свете фонарей, в промозглый парижский вечер, из русского собора, после вечной памяти "Державным шефам", – эту вспышку праздника, молодости, дружбы и т.д., сохранить, воплотить все это, причастить этому может только искусство. "Квинтэссенция эмиграции".

*Семеновцы были всегда впереди,
И смерть дорога им, как крест на груди⁷⁸.*

В этом, однако, *все*. И вот, по-видимому, задача этой тетради, инстинктивная в ней нужда: сохранить в себе все, не дать себе сузиться до чего-то одного: "декан Св. Владимирской Духовной Академии", "литургист" и т.д.

Вчера – в невероятно ясную, страшно морозную ночь – потрясающий вид Нью-Йорка перед въездом в сам город. И зажженные елки на пустой Парк-авеню.

Перечитал написанное и подумал: а Пруст-таки прав. Никогда, наверное, не был Семеновский полк так *жив*, как в эти парижские полковые праздники, когда память очищала его от всему мешающей и все извращающей "реальности". В этом, конечно, сущность праздника. "Его же память ныне совершаем".

Один в кабинете в семинарии. Солнце. Девять часов утра: " надо пытаться жить".

⁷⁸ Марш Семеновского полка

Пятница, 6 декабря 1974

Именины по старому стилю, Николай Чудотворец по-новому. Архиерейская служба. Хиротония. Все эти дни – удручающие по своей мелочности церковные страстишки, выматывающие душу. В среду ездил в Принстон читать лекцию в Princeton Theological Seminary. Главная радость – от самой поездки. Потрясающий закат: на несколько минут все – голые деревья, поля, дома – стало красным, горящим. Потом – чудный городишко, ужин во французском ресторане, после лекции – беседа "на высоком уровне". Та Америка, которую я люблю: доброжелательная, свободная, укорененная в атмосфере толерантности, желания понять чужую точку зрения, то есть всего того, чего так катастрофически не хватает русским.

Вчера – с Льяной на Пятой авеню. Совсем случайно попали на зажжение грандиозной елки в Rockefeller Center. Огромная толпа, вдруг радостный гул – когда вспыхнуло тысячами разноцветных огней восьмизэтажное дерево. Какой это был "удобный" мир. Говорю "был", потому что все указывает на то, что он приходит к концу, изживает сам себя.

Книга Ж.Суффера "Интеллектуалы на диване". Как все это до смешного верно!

Суббота, 7 декабря 1974

Утро блаженного безделья после бурных дней (вчера годовое заседание Board of Trustees). Читал в "Нью-Йорк Таймс" речь американского посла в ООН: предупреждение и угроза, твердые и спокойные. Тон, которого так ужасно недостает в мире.

Понедельник, 9 декабря 1974

В субботу – длинный разговор по телефону с Павлом Литвиновым. Р.Б.Гуль (по-видимому, не без давления со стороны G.Kennan и Whitney) предложил ему, Хомякову (моему на протяжении нескольких лет "редактору" на радио "Свобода") и Ржевскому войти в редколлегия "Нового журнала". Все, что Литвинов мне говорил – о Гуле, о журнале, о своих планах, кажется мне верным, умным, благородным. Я ему говорю: "Как бы ни было трудно, принимайте..." "Историософски" это была бы передача эмигрантского толстого журнала "новой эмиграции", передача оправданная, поскольку "старая" кончается и выдыхается.

В субботу – письмо от Никиты, в ответ на мое о Солженицыне, письмо, очень меня обрадовавшее согласием Н. со мной.

"Со всеми Вашими формулировками я целиком согласен, но можем ли мы требовать от А.И., чтобы он в три месяца все понял, когда нам понадобилось свыше тридцати лет! Верно, что эмиграция, чтобы быть плодотворной, должна не только умереть, но и умирать, выделяя лишь то основное, что привело ее в страну чужую: в этом вся сила нашего направления, где, питаясь от соков прошлого, нет оглядки на прошлое и бесплодной зачарованности им. И наше направление нужно всемерно укреплять, чтобы не дать А.И. склониться в эмигрантщину... Что соблазнов у А.И. – много, я очень чувствую и иногда больно переживаю: соблазн догматизма, авторитаризма, некоторого упрощения и т.д. В творчестве все эти соблазны преодолеваются, снимаются, в жизни они неизбежны. Это обратная сторона его силы... Я думаю, не следует слишком переживать то, что мы с А.И. неизбежно стоим не совсем синхронно: за нами пятьдесят лет эмиграции, за ним девять месяцев. И все же он нюхом, в основном, понял, куда следует склоняться преимущественно. Но его может пугать, что наше направление очень несильное: за "Посевом" стоит довольно-таки дисциплинированная организация, за "Континентом" "писатели", а за "Вестником"? Три-четыре человека, и обчелся..."

Вчера днем у нас – детское царство: Сережа и Маня со своими, Аня со своими. Вечером ужинали у "молодоженов" – Сережи и Лизы Бутеневых. Пришел немецкий перевод моей "For the Life of the World": это уже шестой язык, на который переводится эта au courant de la plume⁷⁹ в четыре недели в Labelle написанная книга. Как раз в эти дни правил корректуру "Of Water and the Spirit" и, как всегда, сомневался: книга вдруг показалась полной неудачей, катастрофой.

Вчера весь день – проливной дождь, а сегодня с утра – опять солнце. Сегодня – малый синод, и вот – нужно погружаться в церковные дела.

Четверг, 12 декабря 1974

Вчера, зайдя в Bedford, получил от Вероники Штейн "Из-под глыб" и вечером прочел. Сборник хочет быть "Вехами" нашего времени: судом над интеллигенцией, над ее "отчуждением" от России и т.д. Быть новой грозой: Солженицын бьет наотмашь со священным гневом.

Двенадцать дней до отъезда в Париж: страстное желание оказаться где-нибудь на Bd. Richard Lenoir, одному, прикоснуться к детству.

Письмо от Никиты: о "нашей" третьей эмиграции, то есть нью-йоркской: Литвинов и Ко – "...ради общего дела и, в каком-то смысле, "Вестника" ее нужно приласкать. Конечно, за деревьями они не видят леса. Они не понимают или не хотят понять, что А.И. – явление мировое, первый русский человек после смерти Толстого, дошедший до сознания десятков миллионов. Что рядом с этим фактом реплика или еще какие-нибудь писульки, в которых А.И. не сумел обуздать силу? А они об этом всерьез. Шрагин пишет: "От великого до смешного – один шаг". Смешно не это, а думать, что реплика имеет хоть какой-либо вес против величия всего его творчества! Мы все еще не раз будем страдать от несоответствия эмпирического облика А.И. с его историческим значением, его относительной (неизбежно) публицистики с почти безошибочным художественным творчеством..."

"Совсем прекрасен Ваш ответ (узнал Ваш стиль) Филарету – неотразим, ибо соответствует самой сущности Церкви..."

Пятница, 13 декабря 1974

Андрея Первозванного – по старому стилю, преп. Германа Аляскинского по новому. Именины Андрея, рождение Елены – крестницы. Служили хотя и раннюю, но очень торжественную Литургию с множеством сослужащих. Отмечаю это потому, что вчера вечером, когда я уже в начале двенадцатого часа вернулся после исповедей домой, звонил Павел Литвинов (до этого уже звонил Льяне), весь опечаленный и больше – письмом Никиты, особенно – Шрагину, в котором он цитирует: "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку...". Обида. Подлизывание к Солженицыну! Потеря (Никитой) достоинства... и т.д. Что делать? Я стою между двумя правдами – большой (о которой пишет Никита мне и с которой я согласен) и "малой", человеческой. По-человечески я понимаю обиду "диссидентов" на Солженицына, а когда смотрю "выше" – вижу правду Солженицына, даже по отношению к ним, к их интеллигентской гнильце и разложению, к этому "гуманизму".

Вчера думал и (полусерьезно) написал Никите – о нашем сборнике (в котором мы ответили бы и "Из-под глыб", и "Континенту", и Литвиновско-Шрагинской "фракции"). Даже название пришло в голову: Единое на потребу. И вот так бы и начать: сначала "единое на потребу": "Ты еси один Господь..." а потом, из него, в его свете: Россия, мир, Запад, культура и т.д. Попытка, иными словами, поставить опять все на свои места во взлохмаченном снова мире "русской проблематики".

⁷⁹ одним взмахом пера

Свидетельство "эмигрантских мальчиков" в ответ на такое же – "мальчиков советских". Ибо всякий спор есть всегда спор об иерархии ценностей, о том сокровище, что определяет местонахождение сердца, об "едином на потребу"... И, думаю, если не выйдет сборника: не засесть ли самому. Ведь это и будет тем "самопознанием" и подведением итогов, на которые меня давно тянет. В тональности: "чтобы ничего не погубить, но все воскресить в последний день..."

"Канва" должна быть автобиографической. Прежде всего, как пришло, как открывалось, как завладело душой и сознанием "единое на потребу": мама, церковь, встречи, опыт "инобытия", опыт тайного присутствия, света, радости, желанного – в самой ткани жизни. Проверка, углубление: Богословский институт и т.д. Раздробленность церковного опыта, "синтез": космический, исторический, экклезиологический. "Самосвидетельство Церкви" и соблазны церковного сознания: националистический, "православизм", идеологизм и т.д.

Затем: Россия. Как она раскрывалась постепенно "эмигрантскому мальчику". Ее раздробленность, ее единство. Встреча с нею.

Эмиграция. Последняя о ней правда: "еще не умрет, не оживет...". Напрасное служение – его подлинность.

Запад: его правда, его неправда.

Культура: ее подлинное призвание.

Свобода, освобождение, стояние в свободе.

Выбор, служение, жертва.

Суббота, 14 декабря 1974

Вчера – рождественский вечер в семинарии. Очень дружно, смешно и весело. Меня всегда удивляет: почему люди, в данном случае – студенты, столь беспомощные в разрешении своих "проблем", так остро и точно видят саму "суть" других людей (профессоров)? Себя не видят, а других видят!

Читаю – по второму разу – "Из-под глыб". Огромная, неудобоваримая правда Солженицына. Тут, действительно, "ничего не поделаешь". Она, как всякая глубокая правда, не может не вызвать реакции всего того, где есть еще идола, самообман и самообольщение.

Понедельник, 16 декабря 1974

Пишу только, чтобы "прийти в себя" от суеты: телефонных звонков, разговоров, вопросов. Чтобы как-то найти, встретить себя. Черный день. Проливной дождь. Утром на радио "Свобода": Слава Шидловский, только что вернувшийся из Мюнхена, рассказывает о спорах, фракциях, разделениях там, на станции. За Солженицына и против него. Евреи и антисемиты. "Третий путь" и т.д. От всего этого становится тошно и грустно. В Церкви волнения в связи с приездом в феврале патриарха Пимена. Дриллок волнуется о намерении антиохийцев открыть собственную семинарию. И все это звонит мне, а меня все это очень мало интересует. Но как нести сквозь всю эту суету нерасплесканным мир душевный, тайную радость, глубокий взор?

Вторник, 17 декабря 1974

Вчера собрание профессоров,

Среда, 18 декабря 1974

...на котором погорячился против о.Шнейрла. И, хотя по существу сказал то, что я действительно думаю (мелочность, удручающее "плебейство" реакций на автокефалию, которая всех поставила лицом к лицу с вопросом: что же такое Церковь?), от горячности этой, как всегда, противный осадок.

Вчера – два года нашему маленькому Саше. После короткого заезда к нему с подарком ужинали с Л. в маленьком французском ресторане на 86-й улице и потом – по Пятой авеню, Рокфеллеровский центр с его огромной, изумительной елкой. Музыка. Яркое освещенный каток. Всюду рождественские украшения. Толпа. Чуть-чуть морозит. И, хотя я знаю, что весь этот Christmas spirit насквозь пропитан "коммерцией", все равно радуюсь, как каждый год, этому сам воздух наполняющему празднику.

Оттуда домой по "старой" дороге, как ездили, когда жили в Нью-Йорке, мимо нашего дома, где прожили первые одиннадцать лет нашей американской жизни. Всегда остро переживаю эти прикосновения к прошлому.

Сегодня после утрени: исповедь недавно рукоположенного священника, молебен молодому студенту о каких-то его друзьях. Наличие, не умирающий в мире запас – веры, жажды "горнего".

Четверг, 19 декабря 1974

Св. Николая Чудотворца по старому стилю. Вчера служил торжественную вечерню в Whitestone, где храмовый праздник. Как всегда – подъем и радость при виде восьми молодых священников, молодого хора, всего этого движения и тоже подъема, когда вспоминаю этот приход двадцать лет тому назад! С какой ненавистью, с каким презрением относились тогда старые окопавшиеся "миссионеры", а также самодовольные, только что из Европы приехавшие священники к каждому новому слову, как отстаивали это спящее, меркантильное православие! И вот все же что-то проросло. Но и как трудно! Вчера же письмо от бывшего студента J.L., длинное, мучительное: уходить ли из священства или нет? Вчера тоже известие о том, что Т.К. бросил священство... Сегодня исповедь П.М. – что делать, куда идти, со всех сторон давление избрать "маленькое" и "разумное".

Корпусной праздник. Воспоминание о детском опыте праздника, "квинтэссенции" праздничности. Так ясно, что все дано, все предопределено в детстве. Как я благодарен Богу за эту в сущности странную – безбытную и по-своему на какие-то куски разорванную жизнь (корпус и Подворье, лицей и эмиграция, Кламар и Америка и т.д.), теперь осознаваемую в своем глубинном единстве. "Но веял над нею какой-то томительный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет...".

Вчера весь день – за письменным столом. Буквально десятки писем – ответов на гору неотвеченных писем. Как из-под палки!

Пятница, 20 декабря 1974

Вчера вечером у нас – Штейны: Юра и Вероника, Лена и Лиля. Ездил за ними в Woodside и после ужина отвозил обратно. Удивительно хорошие и светлые люди. Конечно, весь вечер разговор о Солженицыне, об "Из-под глыб", о "мальчишках", как Вероника называет Литвинова, Шрагина и др. и которые смертельно, кровно на Солженицына обижены. То ли еще будет, когда они прочтут "Образованщину"!

В семинарии последний, до каникул, день. На утрени уже горсточка студентов. Солнечные пятна на стене. Вчера – первый трипеснец предпразднества. Любимая мною атмосфера "кануна".

Том и Павел Лазор увлекаются "Путем моей жизни" митрополита Евлогия. Вчера за завтраком – разговор о русских эмигрантах, об их "специфике" – в приходе, американизированном, о Павла Лазора, об их подходе к Церкви... А днем я писал статью о патриархе Тихоне. Вопрос Тома и Павла: можно ли действительно строить церковь, приход – "только" на Христе? Можно ли преодолеть – церковно – эту сращенность церкви с "плотью и кровью"? В этом, в сущности, весь вопрос американского Православия и – шире – Православия в двадцатом веке. Его "экзамен" на трансцендентную "истинность" и вселенскость. Однако если истина его только о мире ("освящение жизни"), то на экзамене этом оно провалится. Если же оно, прежде всего, истина о Царстве Божием ("эсхатология"), то тогда оно его выдержит. Ранняя Церковь побеждала только эсхатологической радостью, несомненностью – для себя – опыта Царства Божия, "пришедшего в силе", ощущением, видением "зари таинственного дня". Для подавляющего большинства православных это очевидно звучит книжно и отвлеченно. Единственную альтернативу "плоти и крови", быту, национализму и т.д. они видят тогда только в развоплощенной "духовности", притом непременно сугубо индивидуалистической. Третьего не дано. Но вот, слушая вчера песнопения предпразднества: "Христос раждается падший возставити образ...", "таинственный сад..." – весь этот набор удивительных образов и символов, я снова и снова думал: сердце, сущность всего в Церкви именно здесь, в этом постоянном прорыве к "последнему" как уже данному, осязаемому, созерцаемому... Церковь живет не "церковью", не "религиозной редукцией" (организация, клерикализм и т.д.) и не "миром" (тут неизбежна идентичность – национальная обычно, а если нет – то какая угодно: этническая, "духовная", иконная...), а Царством. Она есть – таинство Царства. И вопрос только в том – с одной стороны: почему христиане это забыли и это "выдохлось", а с другой: можно ли к этому опыту вернуться. Свидетельство о нем, призыв к нему могли бы, должны были бы быть, я убежден, сущностью православного возрождения и его вселенской миссии, ибо тут все – и преодоление секуляризма, и богословский "синтез", и ответы на "современные" вопросы о культуре, об "истории", о "религии" и т.д. Но никто этого как-то не слышит, и меньше всего – богословы, все удивляющиеся, почему и мир, и Церковь так глубоко равнодушны к их научным исследованиям, почему предпочитают либо свою "редукцию" Церкви (русскую, греческую, какую угодно), либо жадно бросаются на всяческую, подчас сомнительную, "духовную" литературу. Ибо и то, и другое – *реально, есть*, тогда как книги о византийском богословии относятся к чему-то, чего в реальности *нет*.

Мы говорим человеку: Православие, христианство – не русское, не греческое и т.д. Мы говорим ему: оно освящает всю жизнь. Но он чувствует себя русским и требует, чтобы Церковь, чтобы Православие освятило его жизнь, то есть его реальность. Во имя какой же *реальности* мы зовем его отказаться от этого? Во имя *Церкви*, отвечаем мы. Но в чем же *реальность* Церкви? В этом-то и вопрос. Молодые священники самоуверенно отвечают: ходите в церковь, часто причащайтесь, "стройте" приход, участвуйте в церковной жизни. Но в том-то ведь и дело, что никакой *своей* жизни у Церкви нет, а если есть, то довольно призрачная. Если же Церковь живет *миром*, то, значит, *реальностью* жизней ее членов. И тогда не имеют права говорить: то, что реально для вас, вообще говоря, *не* реально... Но на деле Церковь живет Царством Божиим, в этом *ее* жизнь, действительно собственная, ни к чему в мире не сводимая. Этот опыт Царства Церковь призвана нести миру, и это опять значит – в реальность... "Церковь в себе", церковность ради церковности – страшное сужение, измена и подмена...

Пятница, 17 января 1975

Перерыв – меньше чем в месяц, и чувство такое, что прожита целая жизнь. Вчера вернулся из Парижа, куда мы с Л. уехали вечером в день Рождества после чудного празднования, чудной елки со всеми внуками. Но Париж был столь напряжен, в этом же году особенно из-за Солженицына – первые девять дней, что три недели, проведенные там, кажутся очень длинными. Хочу хотя бы кратко записать все по дням.

Приехали 26-го утром (четверг). В тот же день в четыре часа встреча в кафе с Никитой и Машей Струве: Солженицыны приезжают завтра (то есть 27-го)! Будем вшестером встречать Новый Год у "Доминика". Страх и трепет: "каково будет целование сие"?

Пятница 27-го. Еще "свободный" день! С утра с Л. по Парижу. Завтрак с Андреем в маленьком ресторанчике. Вечером звонок от Струве: приехали и ждут... Едем поездом к ним. Очень радостная встреча. Объятия. И все же – с самого начала чувство какого-то отчуждения, не то, что было... Потом все это объяснится... Очень нервные Никита и Маша, у которых Солженицыны остановились.

Суббота 28-го. У Солженицына заседания у Струве в Villebon с издателями и Морозовым. Мы "свободны". Вечером "даем" ужин Андрею, Лике и девочкам у Prunier. Радость общения с ними.

Воскресенье 29-го. Литургия на Olivier de Serres, потом кофе у Игоря Верника, завтрак у Андрея.

Понедельник 30-го. Рано утром еду к Струве в Villebon и втроем – с Солж. и Никитой – едем на русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Полтора часа! С. очень взволнован, особенно "военными могилами": записывает имена, надписи. "Ведь это – все мои отцы, его поколение!.. Там погибшее под сталинскими глыбами, и вот – здесь – в изгнании!" На кладбище о.Н.Оболенский хоронит кого-то: сегодня же весь Париж узнает о присутствии Солженицына! Возвращаемся в Villebon, откуда С. и Струве едут немедленно в Версаль и Шартр. Зовут с собой, но я возвращаюсь в Париж. Прогулка с Л. по старым парижским кварталам] Marais, St. Sulpice.

Вторник 31-го. Солженицыны переехали на rue Jacob (Hotel Isly), и Наташа С. свалилась с сильным гриппом. Я захожу в отель в десять утра, и мы выходим с А.И. на осмотр Парижа. Тепло. Солнечно. Шесть часов пешком, вдвоем: esplanade des Invalides, pont Alexander III, Rond Point, Concorde, Rivoli, Vendome, Hotel de Ville, завтрак в маленьком ресторанчике, потом Bastille, Montmartre, place de Theatre, вниз – на Pigalle и до Trinite, где расстаемся...

Сначала он захвачен Парижем, особенно историческим (где что случилось...), радостен, порывист. Но под вечер, когда стояли на горе над Парижем, вдруг как бы затянулся грустью, сжался, ушел в себя, погас. Долгое – странно-задумчивое – хождение вдоль тиров и балаганов на Pigalle. Впечатление, что он внезапно физически ощущает страшную тяжесть, лежащую на нем. Тяжесть, от которой он как-то "темнеет".

Расстаемся с тем, чтобы в 9.30 встретиться у "Доменика". Я еду служить новогодний молебен. Когда мы с Л. приезжаем к "Доминику", они – Солженицыны и Струве – уже там, и сразу же чувствуется наличие драмы. Маша Струве шепотом объясняет: драма – об ИМКА-Пресс, его желание печатать полное собрание сочинений в "Посеве", грубые обвинения – "кумовство", неряшливое издание, возмущение И.М. и т.д. Солженицын мрачен как туча. Наташа пытается делать веселую мину при плохой игре, всему радуется. Струве – дико напряжен. А кругом – чудовищная новогодняя пошлятина: клоунские шапочки, чепуха... Без десяти десять С. говорит: "Через десять минут Новый Год в Москве – встретим его, а потом уже – пошлый, западный Новый Год..." Разговор не клеится, веселье – и того меньше... Л. чудно все выдерживает, держит твердый и ясный тон. Вскоре после двенадцати, слава Богу, пытка эта кончается. Мы успеваем еще захватить к Ягелло, где встречают Новый Год все наши.

Среда 1-го. Чудный новогодний завтрак у племянницы Елены. Днем заезжал в отель за Солженицыным, пешком идем с ним к старику Лодыженскому. С. спокойнее, ровнее, но разговор как-то не клеится. Изумительный зимний закат над пустыми, праздничными улицами...

Четверг 2-го. Я волнуюсь, потому что в дело включен Андрей: надо собрать "военных" – свидетелей великой и гражданской войн, нужных С. Волнуюсь потому, что волнуется Андрей. В 4.30 захожу в "Русскую мысль", где принимают С., чтобы "передать" его Андрею. Но, слава Богу, это все (встреча со стариками в Морском собрании) проходит хорошо, и Андрей очень доволен (мы его с волнением ждали до одиннадцати вечера у него дома).

Пятница 3-го. Моя последняя прогулка с С. вдвоем по Парижу. Беру его в одиннадцать утра на Exelmans (военный музей Геринга), и мы пешком идем по Сене, через Марсово поле – к отелю... Он кашляет, разбаливается, но светел и ласков.

Суббота 4-го. Андрей везет его, совсем больного с 39° жара, в Ste.Genevieve к полковнику Колтышеву, адъютанту Деникина, – "договаривать", а мы берем Наташу в отеле для прогулки по Парижу. Страшно реагирует, радуется. Завтрак в La Bouteille d'Or около Notre Dame de Paris, куда приезжает и Андрей. К трем отводим ее в отель, а сами вдвоем – идем по Тюильри. По-моему, я никогда не видал такого голубого освещения, такой потрясающей красоты. Отдыхаемся в кафе в центре.

Воскресенье 5-го. Служу на Exelmans. В четырехчасовое прощание в отеле. Он совсем болен. Суматоха. Она взволнована. Он говорит опять – о Канаде, говорит, что окончательно решил... Она – в коридоре, быстро: "Знайте, что в обморок буду падать только у вас, к вам..." Приходят Струве, я иду. На все вопросы Струве только машут рукой: потом, дескать, все обсудим...

Понедельник, 20 января 1975

Снег и холод. Вчера – в который раз уже! – ездил читать лекции в Wilmington, Delaware. В этом году как-то особенно радуюсь возвращению в Америку, может быть, в первый раз с такой силой ощущаю свою "кровную" связь с нею...

В Париже, уже после отъезда С., виделся с Максимовым и – отдельно, накануне отъезда – с Синявским. Оба буквально накалены против С. Опять моя вечная трудность: вполне понимаю и их, и его и *не* хочу выбирать, ибо для меня это – *не* выбор.

После всей этой суматохи сильное искушение: отойти, "отрешиться". Душа во всем этом не участвует, хочет "другого, другого, другого..."

Кончина тети Веры – такой огромной части детства... Удивительно, что в самый разгар солженицынской суматохи мне пришлось два раза напутствовать умирающих. И оба раза чувствовал: вот это мое дело, тут все ясно.

Эти дни читаю (в поезде, в кровати) "Записки маленькой дамы". Странное чувство: столько в мире – "миров"! И каждый имеет и свою правду, и свою ограниченность. Я же знаю, что жить могу, только переходя из одного в другой, зная, что этот переход возможен. При одной мысли остаться в одном из них делается чувство духовной клаустрофобии. Но почти все – выбирают один и только в нем живут, и только его признают и утверждают.

В аэроплане, летя над Парижем, прочет А.Утена "Моя жизнь во священстве". Модернисты были небольшими людьми. Однако кризис начала века меня всегда так волнует и занимает потому, что именно тогда впервые наметилась основная проблема, суть "кризиса христианства", который теперь всего лишь раскрывается в своих логических последствиях. Поскольку Церковь отождествила себя с "институтом" и "разумом", она не могла не вступить в собственное разложение. Ибо ее "разум" не выдерживает критики, а ее "институт" – жизни.

Вторник, 21 января 1975

Вчера – в Union Theological Seminary. Симпозиум-семинар "Богослужение и искусство" с моим вступительным словом. После меня – А.Б., последовательница Юнга. Символизм, подсознательное и т.д. Сидел и думал: какая невероятная путаница происходит в сознании (или подсознании) христиан! Трудно себе представить, что может предложить христианство современному миру. В том-то, однако, и все дело, мне кажется, что, говоря, христиане думают именно о "современном мире", тогда как христианство (вернее – Христос) направлено никогда не к "современности", а только к вечному и неизменному в человеке. Трагический грех в том, что мы согласились с "современностью" в отрицании самого наличия этого "вечного", все стали воспринимать в категориях истории, то есть изменяемого, текущего. И потому, что мы не знаем, кому мы говорим, мы не знаем также и *что* говорим...

Читал вчера второй номер "Континента" – окончание повести Корнилова. Впечатление какой-то ненужной запутанности, псевдосложности. Все сильнее ощущение, что с этой "новой" Россией – почти ничего общего. Разные опыты, разные "ключи".

После семинара вчера – ужин у Сережи и Мани, невероятно уютный, с детьми. Возвращение домой в трескучем морозе.

Среда, 22 января 1975

Утром поездка к Нератовой (вдове иконописца Абрамова) по просьбе вашингтонского прихода: удостовериться, что иконы закончены. То же неловкое чувство, которое я всегда испытываю при общении с людьми "органического мировоззрения", то есть закованных, заключенных в свою истину, для них самоочевидную. Понимаю сущность удовольствия, испытываемого мною при чтении "Cahiers de la Petite Dame" – об Andre Gide. Удовольствие от этой потрясающей, неслыханной "открытости", постоянной готовности услышать другого, дара симпатии в глубочайшем смысле этого слова. Эти постоянные чтения друг другу, переживание каждым всего, что касается другого... Сравнить это с нашей "христианской" жизнью, в которой каждый окапывается от другого...

Несмотря на уже засасывающую суету – дела, телефоны, заседания, разговоры, – чудное настроение. Только вот – полная невозможность "засесть за работу"... Она кажется ненужной, "скоромимопреходящей".

Пятница, 24 января 1975

Вчера весь день в Тихоновском монастыре: Малый Синод и т.д. Но все бодро, доброжелательно, без мучительной атмосферы подвохов и взаимных непониманий.

В связи с чтением "Cahiers de la Petite Dame" мысли о постоянном, несмотря на все, успехе в мире всего "левого". А с другой стороны – таком же постоянном, ответном крене "вправо". Что это такое? В чем это укоренено? Можно ли преодолеть эту поляризацию – именно психологическую, душевную и даже духовную, найти для нее "христианский рецепт"? Ибо она очевидно вытекает из христианства, есть плод его "распада" и "разложения". Хотел именно об этом писать для "Континента", но, зная себя, вряд ли соберусь...

Понедельник, 27 января 1975

В пятницу и субботу в Hartford Seminary на конференции "Богословские утверждения": попытка противостать "модернизму", царствующему над американским богословием. Двадцать человек, крайне интересно и плодотворно, но, Боже мой, с каким страхом, с одной стороны, а с другой – желанием "рекламы" организаторы подходят к этому делу. Может быть, начало чего-то, а может быть – и очередной мыльный пузырь, стремление к маленькой сенсации...

Вчера утром – храмовый праздник в Wappingers Falls. Служба с владыкой Сильвестром. Удовольствие от поездки туда, рано утром, от солнца на голых деревьях, просторного, светлого, как бы вымытого неба. Радость и от самого праздника, от атмосферы дружбы, света, благожелательства этого прихода.

Днем – серебряная свадьба Мейендорфов. Наконец, вечером очень оживленный ужин у нас с вл. Сильвестром и Трубецкими.

Совсем поздно вечером – истерический звонок Юры Штейна и о.Кирилла Фотиева: появилась якобы неслыханно гнусная статья С.Рафальского в НРС⁸⁰ против Солженицына. "Он оголенный, его нужно защитить, это ужас, это восстание всех против него, его добьют... нужно... немедленно..." Я "поддаюсь", соглашаюсь сегодня приехать в Н.Й. завтракать с ними. Утром, однако, все это мне кажется крайне преувеличенным. Сам С. только и делает, что наносит оскорбления направо и налево, и если обиженные им начинают реагировать (а имя им легион, еще в субботу вечером звонил Литвинов...), то это честно. Надо, мне кажется, не столько "защищать" его, сколько ему сказать и говорить правду... Думаю о своем месте или "роли" во всем этом. Нежелание вмешиваться в эмигрантские споры: это раз. Стремление отстаивать *только* "трансцендентное": это два. Отвращение от "лагерей", какие бы они ни были: три. Отстаивать то, что я *услышал* в Солженицыне, в его художественном творчестве. Быть совершенно свободным в отношении его идеологии, которая – это очень важно – мне, прежде всего, несозвучна.

В Hartford'e кончил "Les Cahiers de la Petite Dame": о "коммунистическом" периоде Жида, поездке в Россию, разочаровании и т.д. Квинтэссенция западной наивности, с одной стороны ("чистота Сталина", "la purite de Staline"!), с другой же – поразительное, какое-то "фрейдианское" стремление к "сильному", отдаться сильному мужику. Культ на Западе всех этих Мао, Кастро, а до этого – Сталина необъясним без этой патологии. А потом такое же, в сущности, разочарование: мужик пахнет слишком сильно, и Жид отскакивает в испуге. И еще одно, тысячу раз проверенное: способность западных "интеллектуалов" строить аргументы из ничего, под все подводить глубокомысленные теории. Чемпион этого – Сартр, но это коренная болезнь Запада: невозможность, нежелание увидеть *правду*, больше того – убеждение, что они – то есть западные интеллектуалы – знают секрет объективного подхода к реальности. Духовно Запад не может не погибнуть, уже погиб и разложился.

Начал читать двухтомную переписку Bremond-Blondel.

Вторник, 28 января 1975

Опять – ранняя утренняя, а до этого – морозным утром из дома в семинарию. Возвращение к нормальной жизни. И как освежительно и успокоительно это "погнал", это чувство, что у тебя есть свое дело и что все ясно и просто.

Среда, 29 января 1975

Все большая внутренняя оскоми́на от "солженицынской" бури или, может быть, от ее преломления в эмигрантском болоте. Ибо все, что в нем преломляется, тем самым искривляется: Церковь, культура и т.д. Ибо эмиграции это все нужно не само по себе, а для "себя", как оправдание самой себя, как видимость какого-то дела, служения и т.д. Все тот же "миф" и потому – неизбежное мифотворчество.

⁸⁰ "Новое русское слово", русская эмигрантская газета, выходящая в Нью-Йорке

Думал опять о статье Борисова о нации как личности ("Из-под глыб"). Статья умная, "на уровне" и во многом верная. Но все та же опасность: свести религию, веру до уровня "вспомогательной" силы. Даже если нацию и можно, с оговорками, уподобить (именно – уподобить) личности, то нравственная оговорка в том состоит, что личность онтологически выше нации. Личность *есть* и может выразить, воплотить себя и вне нации, и безотносительно. Больше того, в каком-то смысле она противопоставляет себя всякому "безличному" коллективу. Никакого чувства "итальянской нации" у Данте, например, не было. Но было "чувство" Флоренции – то есть *родины*. А родина и нация совсем не то же самое. У де Голля чувство *государства*, у еврея – чувство *народа*. Источник путаницы, может быть, в том, что три этих, совершенно разных, понятия сливаются в одно, тогда как на деле они различны даже в элементарном опыте. "Родина" – это почти физическая связь с местом, с детством, со всем тем, что дало нам впервые "вкусить всю радость бытия". Для меня, например, родина в этом непосредственном смысле – Франция, точнее Париж, куда меня всегда и тянет как именно на "родину". Но мне столь же очевидно, что я никогда не принадлежал к французскому "народу" и не ощущал Франции как моего "государства". Принадлежность к народу – это уже плод воспитания, изначально данного "направлением". Еврей Мандельштам – нераздельная часть русского "народа". Имея "родину" во Франции, будучи частью русского "народа", я, наконец, ощущал США *своим* государством. Но что из всего этого – "соборная личность"? Кроме родины (связь с которой я не выбрал и которая потому "дана", есть факт), пожалуй, все остальное. В этом смысле (главном) – это Церковь, в других (вторичных и не исключающих один другого) – это русский народ, Америка, эмиграция и меньшие "единицы" (семья, конечно...). Богословски это можно выразить как возможность для каждой личности (ипостаси) ипостазировать различия природы (усии). То есть личность сама по себе "соборна", может и должна в себе самой соборовать и соединять разделенное по "природам", и теоретически предела этому "соборованию" нет, или, вернее, полнота его во Христе, Богочеловеке, соединяющем в Себе *все*. Таким образом, личность есть также и преодоление ограниченности всякой "природы" и, следовательно, суд над нею. Всякий "национализм" есть отказ от этого суда, подчинение личности природе, тогда как смысл и сила личности в том, чтобы победить, очистить и преобразить природу.

Пятница, 31 января 1975

Тридцать два года со дня нашей свадьбы!

Дома – письмо от Никиты: "...на *Вестник* сейчас с разных сторон что-то вроде осады... Вообще чем больше вживаюсь в "советский мир", тем больше убеждаюсь в жизненной правде и необходимости христианства. Даже если Москва "откажется" от *Вестника*, нам необходимо его продолжать и развивать, защищая все наше (даже не наше – общее) христианское достоинство: теперь ясно, что христианство новой советской интеллигенции очень свежее, часто поверхностное, а главное – тоже расколотое. Помимо тем, нами обсуждавшихся, следует прибавить тему "чистоты", "цельности"..."

Понедельник, 3 февраля 1975

В пятницу вечером отпраздновали день свадьбы в преутомном французском ресторане, загородном, куда взяли с собой Анюшу, с которой всегда так хорошо – от ее прозрачности, цельности, честности...

Week-end почти весь дома, за исключением церкви. Чудно отпраздновали Сретение, торжественно, солнечно, радостно.

Вчера, наконец, впервые сел за свою "Евхаристию". Очень хочется вернуться к настоящей работе, уйти от "статейной" суеты, от всех маленьких бурь, в которых жили эти недели. Постараться писать хоть по три страницы в день!

Вторник, 4 февраля 1975

Утреня. Три с половиной часа лекций. Совет профессоров и несколько мелких встреч.

Вчера все утро – часа четыре, несмотря на телефоны, – работал над своей "Евхаристией", словно возвращаясь к главному, вечному, неизменному. Отсюда, может быть, радость, которая твердо держится в душе, несмотря на суету.

Четверг, 6 февраля 1975

Вчера, из-за снега, Л. не пошла на работу, и мы провели блаженный, тихий день дома. Весь день писал. Вечером у Качуров. Православная Америка: Качур – карпаторосс, его жена – венгерка. Затем: пара белоруссов, пара греков и мы – я и Льяна, отец Иоанн Мейендорф и его жена Майка. "Роскошный" ужин с "роскошными винами". Но атмосфера дружелюбия и даже, по-своему, "возвышенных интересов". И получается так, что эти – совсем чужие мне по происхождению и воспитанию – люди ближе нам, чем, например, родственники, с которыми мы ужинали в понедельник.

За окнами: красота неподвижных заснеженных веток, белых крыш и садов.

Пятница, 7 февраля 1975

Переписка Blondel-Bremond вперемежку с Чеховым, перечитываемым в который раз! Помимо самого содержания интерес этих книг, их "функция" в том, что они "вставляют в перспективу" суету, в которой живешь, "проблемы"... Как тогда тогдашняя суета казалась важной и как полностью забыта! И остаются только люди, единственный и неповторимый образ каждого. То, что в этой переписке было главным, – неинтересно, то, что тогда было "житейскими мелочами", – приобретает новое значение как кусок живой жизни. И то же самое, по-видимому, притягивает меня к Чехову.

На этой неделе: размышления – в связи со скриптами для радио "Свобода" – о "национализме" Солженицына. При некотором сходстве со славянофильством (нелюбовь к петербургскому периоду, самобытность, антизападничество) глубокое от него отличие: отсутствие "мистики", интереса к "избранию", "призванию" и т.д. Это, по-моему, очень важно.

Размышления также об истории православия в Америке в связи с "философской" статьей для сборника, готовимого к осеннему Собору. Вчера вечером продиктовал первый "драфт" Ане.

Телефоны, письма, приглашения, просьбы – и огромное время, тратимое на все это! Позавчера – Н.А. вопил мне в телефон по часам пятьдесят пять минут... Но все, что от меня хотят все эти люди, требует времени, которое они же и "съедают" безнадежно. Малодушие мое во всем этом...

Понедельник, 10 февраля 1975

В субботу – почти весь день (несмотря на шумное присутствие в доме всех внуков) писанье "Евхаристии", дающее глубокое и радостное удовлетворение. Действительно, нет меры, нет предела хотя бы возможности вжиться в полученное нами, дарованное нам! И какая это радость: прикосновение к вечности.

Вечером – ужин у Верховских, дружелюбный, "милый". Как он хорош, когда смывает с него его патологическая обидчивость, подозрительность и отсюда – "колкость".

Вчера, в воскресенье, – служба и лекция в Sea Cliff'e, потом завтрак у Кишковских, чай у А.А.Боголепова. И все это на фоне глубинной неподвижной радости воскресного дня, падающего

снежка, заснеженных садов. А когда ехал обратно: огромный морозный закат вдали над нью-йоркскими небоскребами.

Как блаженна жизнь и как "все мнутся земнородные".

Вторник, 11 февраля 1975

Утром вчера – заседание с епископами в семинарии. Очередной ответ карловчан и кароловчанам, приезд советской делегации и т.д. Потом – короткая передышка дома (Bremond-Blondel), потом – Нью-Йорк: к Чалидзе, и вечером преуютные блины у Сережи и Мани.

Забыл записать: в субботу звонил из Принстона Туркевич и рассказал о двойной попытке самоубийства Van-Dusen'ами. Она умерла, он выжил (не смог проглотить снотворное...). Какой ужас! Van Dusen, когда я приехал в Америку в 1951 году, был для меня олицетворением не только Union Seminary, но и вообще – богатства, солидности, устойчивости. Американский "establishment". А мы, нищие, ютились в подвале Union Seminary. И вот – такой конец. так проходит... Жаль его бесконечно.

Вчера после блинов Сережа показывал фотографии прошлого лета в Лабель. Какая из них льется беспримесная радость: "Dans la lumiere de l'ete...". Эта свобода, небо, озеро, дети, детская беззаботность. Какой это всегда был дар Божий!

Среда, 12 февраля 1975

Трех Святителей по старому стилю: день смерти о.Киприана Керна.

Снегопад. Не пошел в церковь. Думал:

– о Н.Арсеньеве. Я вдруг ощутил весь ужас его одиночества, старческой беспомощности, погружения в некую пустоту забвения, ненужности;

– о соотношении "религиозная мысль – богословие". Под влиянием, одновременно, переписки Blondel-Bremond и размышлений о "религиозной мысли", хаотически пробуждающейся сейчас в России.

Католический "модернизм" был сплетением разных тем и чаяний. У Bremond, Blondel и Co., однако, очевидно стремление заменить "позитивное богословие" именно религиозной мыслью – то есть свести богословие к "описанию религиозного опыта". Оправданий у этого восстания было сколько угодно, но на глубине это все же разлагающий подход. Мы (и Восток, и Запад) расплачиваемся за крах богословия, но это не значит, что его вообще не должно быть, что его можно заменить расплывчатой "религиозной мыслью". Богословие *есть* описание религиозного опыта. Но, во-первых, опыта Церкви, во-вторых – опыта полученного, трансцендентного Откровения, а не имманентного "переживания". Ошибка "научного" или "схоластического" богословия: отождествление самого Откровения с "идеей" и "доктриной", тогда как по отношению к ним Откровение всегда остается трансцендентным. Ошибка религиозной мысли: в нечувствии Истины как единственного "объекта" и Истины Откровения как объекта "sui generis". Богословие слишком легко само себя выдает за Истину, не видит своей "символичности". Религиозная мысль бродит кругом и около Истины, брожение это и искание выдавая за "суть" религиозного опыта. Богословие начинает с того, что все уже найдено, и отрицает искание как непреложный путь к Истине. Религиозная мысль пуше всего боится "нахождения". Тогда как особенность "Истины" в том, что, с одной стороны, она открывается *только* исканию, жажде – хотя, открываясь, *отлична* от искания, а с другой стороны – порождает большее искание и более глубокую жажду. Крах богословия – от его "статичности". Неудача религиозной мысли –

от неукорененности ее "динамики" в *уже* данном, открытом и потому – неизменном. Богословие отрицает *вопрос*. Религиозная мысль считает всякий "вопрос" оправданным, не видит их "иерархии", отрицает аскетизм мысли и сознания, в пределе – лишена смирения. Богословие оказывается слишком часто отрицанием свободы сынов Божиих, религиозная мысль – павловского порабощения Христу.

Блондель: "Я хотел бы, чтобы мы сами осуществляли пассивный отказ от всего, что относится к жизненным случайностям, человеческим препятствиям, подозрениям, как оправданным, так и необоснованным, для того, чтобы оставить на наше личное усмотрение все причитающиеся нам силы и свободу. Остальное в руках Господа" (Переписка А.Бремона с М.Блонделем, 1, 465).

Бремон: "Пропал ли я, если буду продолжать верить, что всё богословие является только объяснением опыта (учитывая, что мы никогда не будем отрицать, что каждое действие предполагает метафизику), что апостольская вера это не наука, а жизнь, дух, благодать в действии? И более того, мы хорошо знаем, что эта жизнь показательна, но мы требуем, чтобы нам представили, во-первых, возможность догматизации и алгебраической формулы этого света и, во-вторых, реализацию этой возможности на Трентском и других соборах" (Переписка, 2, 24-25).

Воскресенье, 16 февраля 1975

Л. с пятницы в Монреале у дочери Маши. В пятницу завтрак с англиканским священником. Все волнения о священстве женщин... Вдруг, среди этих разговоров, подумалось: как в сущности несерьезна стала религия, перестав быть основной формой жизни общества. Впечатление такое, что она себя все время "выдумывает", чтобы просто не исчезнуть, не быть выброшенной.

Люди перестали верить не в Бога или богов, а в *гибель*, и притом вечную гибель, в ее не только возможность, а и неизбежность и потому – и в *спасение*. "Серьезность" религии была прежде всего в "серьезности" выбора, ощущавшегося человеком самоочевидным: между гибелью и спасением. Говорят: хорошо, что исчезла религия страха. Как будто это только психология, каприз, а не основное – основной опыт жизни, смотрящейся в смерть. Святые не от страха становились святыми, но и в святости – знали страх Божий. Дешевка современного понимания религии как духовного ширпотреба, самоосуществление... Убрали дьявола, потом ад, потом грех – и вот ничего не осталось кроме этого ширпотреба: либо очевидного жульничества, либо расплывчатого гуманизма. Однако страха, даже и религиозного страха, в мире гораздо больше, чем раньше, только это совсем не страх Божий.

Вчера почти весь день до всенощной, не отрываясь, читал нового Солженицына, "Бодался теленок с дубом". Опять шестьсот страниц! Что же это за стихийная продукция! Под свежим впечатлением написал письмо Никите: "Вчера весь день, не отрываясь, читал – и прочел – "Теленка". Впечатление очень сильное, ошеломляющее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны – эта стихийная сила, целеустремленность, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор – восхищают... Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига... С другой же – пугает этот постоянный расчет, тактика, присутствие очень холодного и – в первый раз *так* ощущаю – жестокого ума, рассудка, какой-то гениальной "смекалки", какого-то, готов сказать, большевизма наизнанку... Начинаю понимать то, что он мне сказал в последний вечер в Цюрихе, вернее – в горах: "Я – Ленин...". Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы. Все люди, попадающие в его орбиту, воспринимаются, как пешки одного, страшно напряженного напора. И это в книге нарастает. В дополнении 1973 года – уже только Георгий Победоносец и Дракон и "график" их встречного боя. Когда на стр.376 читаю (в связи с самоубийством Воронянской, открывшим шлюзы *Архипелага*): "...ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жаль было бедную опрометчивую женщину... Но, достаточно ученый на таких изломах, я в шевелении волос теменных провижу – Божий перст! Это ты! Благодарю за

науку!" (что-де пришло время пускать *Архипелаг*), мне страшно делается. Начало гораздо человечнее, изумителен Твардовский, но чем дальше – тем сильнее это "кто не со мной, тот против меня", нет – не гордыня, не самолюбование, а какое-то упоение "тотальной войной". Кто не наделен таким же волюнтаризмом – того вон с пути, чтобы не болтался под ногами. С презрением. С гневом. С нетерпимостью. Все это – по ту сторону таланта, все это изумительно, гениально, но – как снаряд, после пролета которого лежат и воют от боли жертвы, даже свои... А почему не поступили, как я, как нужно? Вот и весь вопрос, ответ, объяснение. Еще по отношению к Твардовскому еще что-то от "милость к падшим призывал". А больше – нет, нет самой этой тональности, для христианства – центральной, основной, ибо без нее борьба со Злом понемногу впитывает в себя зло (с маленькой буквы) и злобу, для души столь же губительные. Только расчет, прицел и пали! Книга эта, конечно, будет иметь огромный успех, прежде всего – своей потрясающей интересностью. Мне же после нее еще страшнее за него: где же подлинный С.: в "первичной" литературе или вот в этой – "вторичной", и какая к какой ключ? Или же все это от непомерности Зла, с которым он борется и которое действительно захлестывает мир? Но и тогда – оправдывает ли она, эта непомерность, хоть малейшую сдачу ей в тональности? Что нужно, чтобы убить Ленина? Неужели же "ленинство"? Сегодня за Литургией, но еще весь набитый этим двенадцатичасовым чтением, проверял все это. И вот чувствую: какая-то часть души говорит "да", а другая, еще более глубокая, некое "нет". Слишком и сама эта книга – расчет, шахматный ход, удар и даже – сведение счетов, чтобы быть до конца великой и потому до конца "ударом". Но, может быть, я во всем этом целиком ошибаюсь, и Вы, со свойственной Вам трезвостью и чувством перспективы, да и литературным чутьем, – наставите меня на путь истинный. Во избежание недоразумения добавлю: считаю его явлением еще, может быть, более грандиозным, чем думал раньше, – исторически. Но вот – духовно, вечно (в перспективе пушкинского "Памятника") – тут мучительные сомнения. А посему – взываю к Вам..."

Вторник, 18 февраля 1975

Вчера – суэта в связи с приездом московской церковной делегации. Я был только на завтраке в двенадцать часов, в ресторане, но не на официальном приеме. Сидел с о.В. Боровым, единственный с человеческим и даже страдальческим лицом. Остальные – какие-то благообразно окаменелые, одинаковые, на одно лицо, с тем же выражением, теми же улыбками. Я говорю о. В.: "Может быть, заехали бы к нам, в Академию". Он: "Говорите с начальством. Вы ведь знаете, если пошлют, то мы и к черту поедем..." Нервный, желчный, ехидный, но по отношению "своих"... Хорошее слово вл. Иоанна Шаховского: "Держите крест над Россией..."

Вечером, когда мы с Л. вернулись из Нью-Йорка, где ужинали, – буря по телефону: вместо давно уже условленного молебна "они" хотят служить сегодня в Национальном Совете церковью – Литургию. Все растеряны и трусят... Сообщаю о.Стаднюку, что "ни при каких условиях" студенты наши петь эту "экуменическую" литургию не будут.

Четверг, 20 февраля 1975

Послав письмо Никите, тут же получил письмо от него – о нашем "полном единодушии". Тут же начал писать для "Вестника" статью *Об иерархии ценностей*: попытка сказать, выразить наше "главное".

Вчера полдня в Принстоне на "русско-американской" богословской встрече (то есть встрече "церковников" из СССР с американцами). Опять то же плавное выступление владыки, то же чувство, что все это показное, казенное, что меньше всего в этой встрече – желания подлинно встретиться. Они привыкли быть посылаемыми, чтобы просто своим явлением а la град Китеж убедить Запад, что там все "в порядке". Но все это жалко, хотя одно свидетельство несомненно: не о том, что там все в

порядке, а о том, что, несмотря на все, вопреки всему, – там есть Церковь. Завтрак с архиепископом Владимиром, ректором Московской Духовной Академии, – очень светлое впечатление...

Очень умная речь о.В.Борового.

Переводчики, переводчицы с хорошими, русскими лицами. Кто они? Как могут они так жить?

Страшное загромождение жизни мелочами, делами, заседаниями – знакомое уныние и раздражение от этого. Чувство распыляемой, раздробляемой, расплескивающейся жизни.

Пятница, 21 февраля 1975

Один за другим – солнечные дни, синее небо. Вчера все "после обеда" на заседании митрополичьего совета.

Суббота, 22 февраля 1975

Ithaca, Cornell University

Один в отеле Корнелльского университета, куда я приезжал раз пять в шестидесятых годах. Прилетел вчера. Ужин в отельном кабинете с группой профессоров, потом лекция. За ужином, слушая разговоры, думал: как это точно описано в набоковском "Пнине" (Набоков писал именно о Корнелле, где преподавал). Тот же сарказм, безостановочный деланный хохот, искушенность. Что-то есть страшное в этой профессии: эта власть над молодыми душами и умами, власть теперь без всякого над собою контроля, не человеческого, а, так сказать, "трансцендентного": убеждений, внутренней связанности каким-то служением, каким-то "видением", мироощущением. Что такие люди могут *дам*? Маленькие, исполненные всяческого страхования (место, ранг, популярность). Конечно, исключения, много исключений, но вся система принуждает вот к этой внутренней запуганности и внешнему цинизму ("знаю я цену всем этим идеям!").

Сегодня в "Нью-Йорк Таймс" статья о переменах в России за последние пять лет. "Диссидентство" замирает, молодежь не идет на смену уехавшим или осужденным. Об одиночестве Сахарова. Марамзин освобожден после раскаяния с условным приговором. Телевизоры, машины, мороженое, удобства. Выходит так, что трагическая, высокая нота, взятая Солженицыным, уходит вот в эту вату. "Жить не по лжи!" – но Чалидзе мне сказал недавно: "Как он не понимает, что люди всегда и всюду жили, живут и будут жить по лжи". Невозможность перебить инерцию низшей, безличной логики человеческих обществ. Америка "хочет" торговать с Россией, и это безличное "хотение" сильнее, чем какой бы то ни было протест. Россия "хочет" лучшей – материально – жизни. И с этим ничего не поделаешь. Страшное абсолютное бессилие религии в этих "хотениях". И дело тут не в слабости и падении самой религии, а в чем-то неизмеримо более глубоком. Религия перестала быть основным измерением, основой "мироощущения", пускай и слабой, но "оценкой" всех "хотений". Особенно сильно почувствовал я это (хотя, конечно, знаю об этом давно) в пятницу на Митрополичьем Совете: был доклад Комитета по инвестированию, то есть обсуждение того, что лучше – вкладывать церковные деньги в какие-то облигации или какие-то акции. Я уже не говорю о том, что никто, видимо, не чувствовал какого-то демонического комизма самого этого обсуждения, с участием епископов и священников. Не говорю о том, с каким подлинным благоговением слушали члены Совета финансовых экспертов: банкира и биржевого маклера: тут было именно – на час – то благоговение, тот религиозный трепет, который начисто отсутствовал в обсуждении простых церковных дел. Это последнее велось, напротив, в тонах мелкого политиканства, взаимного недоверия (проверка чуть ли не каждого цента, истраченного церковной администрацией) и т.д. Банкиров слушали с духовной усладой и если о чем

спрашивали, то в тоне, которым, mutatis mutandis, раньше обращались к старцам, мудрецам и "мэтрам". А они говорили с той простотой и благородным смирением, что присущи людям, знающим свою силу, свое незаменимое место в обществе и в общественной иерархии. Вот тут все: этим тоном не говорит религия, ибо этого места у нее больше нет. Она вся "петушком, петушком", как Добчинский и Бобчинский, только бы ее "тоже взяли", "не забыли", что она все еще тут и не совсем – поверьте, поверьте – бесполезна. Сокровище мира, а потому и сердце – не в ней, однако забыл сказать, что оба-то финансиста – банкир и маклер – сами очень деятельные члены Церкви, отдающие ей буквально и жертвенно все свое свободное время, причащающиеся каждое воскресенье и т.д. Что это значит? Чего это символ? Да того, конечно, что сама религия приняла секулярную "логику" и в этом принятии не видит, не ощущает не только никакого падения, но даже и никакой "проблемы". Да и как бы могла она иначе жить?

Две иллюстрации сказанного в газетке, подsunутой под дверь моего номера (Syracuse Post-Standard): В Чикаго, в огромном городском госпитале, пять лет назад построили внутренний крематорий для сжигания трупов одиноких бедняков. " Было абсолютно ясно, что дешевле кремировать тела, чем иметь дело с частными кладбищами ...". Но крематорий так и не действует, ибо служащие протестуют. Один из них сказал: " У нас есть несколько человек, которые сохранили чуточку религии и которым не нравится такой способ избавляться от человеческих тел, и я, вероятно, один из них ...". Самое же замечательное в том, что, по словам директора, постройка крематория была предварительно обсуждена с " религиозными лидерами " и "не было никаких возражений ...". Еще бы! Лидеры да еще сопротивляться "современности"... Сопротивляется еще, но уже недолго, – "a bit of religion left...".

В том же номере заявление католической монахини, возглавляющей какой-то институт для осведомления мира о новом имидже монахинь: " Сестры теперь очень серьезно относятся к служению, занимаясь вопросами социальной справедливости и разъясняя Евангелие в контексте современного мира ". Оказывается, нестерпимым был их старый image как смиренных и послушных учительниц, сестер милосердия и т.д. " В настоящее время... все еще широко распространено мнение, что сестры – только "винтики" в учреждениях, либо учительницы, либо сестры милосердия (!!!), хотя на самом деле они все чаще перестают просто заполнять такие учреждения, как школы и больницы". И опять, ужас в том, что ни она и никто иной как будто даже и не чувствуют этого поразительного презрения к реальному, живому делу: дети, больные, старики (что выше, что святее!) – и уродливости этого убеждения, что служение – это обязательно какие-то безличные агентства. Добчинский и Бобчинский! "Петушком, петушком..." Но что делать?

Кончил второй том переписки Fremond- Blondel, которую читаю с наслаждением. Почему меня так давно и неизменно интересует и волнует все относящееся к французскому модернизму? Может быть, потому, что я бессознательно чувствую, что тогда были не столько "сформулированы", сколько пережиты основные вопросы религии и Церкви в нашем современном мире, тогда, в каком-то смысле, решалась дальнейшая судьба Церкви. Я никогда не думал, что модернисты были во всем правы. Напротив. Но "проблему" они чувствовали. Эта проблема была тогда задушена и замолчана террористически. И за это Церковь (католическая) расплачивается теперешней катастрофой. *Реальность Церкви*, трансцендирующая относительность "доктрин" и "богословий", – вот, в сущности, основное "переживание" таких людей, как Fremond, да даже и Loisy, который не ушел, а которого "ушли". Примат *опыта* Церкви над всем остальным. Церковь как опыт, а не "авторитет" (который – авторитет только в ту меру, в какую он нужен для сохранения *реальности* и *опыта*). На это Церковь ответила утверждением себя как *голового авторитета* (доведение до абсурда) и как абсолютизма формул, то есть того же авторитета. И через несколько десятилетий лопнула: Ватикан II и вакханалия: разложение "авторитета".

Блондель (стр.392): "Бесконечность и хрупкая и музыкальная сложность чувств, идей и предметов".

Бремон (стр.411): "Вот до чего мы дошли: при малейшем дуновении ветра нам кажется, что мы видим приближение конца света".

1 Бремон (стр.383) (о Паскале, о янсенизме): "Забыт религиозный долг как таковой – поклонение. Будучи тварным существом, человек создан для восхваления. Падший или нет, человек существует для Бога, в славословии которого и заключается его первое предназначение. Естественно, в осознании греховности всегда будет доминировать антропоцентризм, но Паскаль первый указал нам на обязанность: перед Богом мы должны думать только о нашей нищете духовной".

2 (стр.384) "И кроме того, одно из благодеяний христианства не заключалось ли в том, чтобы частично излечить нас от заикленности на себе? Что может быть более отдохновенно, чем славословия, которыми всё кончается, и обязанность остановиться на "Да придет Царствие Твое" перед тем, как переходить к "хлебу насущному"... М. никогда мне не простит, что я сказал, что наше первое предназначение заключается в славословии Бога, но ведь в этом вся литургия...".

Что другого должно было сказать Православие, если бы не было оно давно в плену у тех же "западных" соблазнов и искушений! Трагедия католичества – наша трагедия.

Понедельник, 24 февраля 1975

Хочу кратко записать мое "корнелльское" воскресенье или, вернее, то, что остается от него как "жатва" для души ("блага, которых мы не ценим за неприглядность их одежд", но которые – потом и уже навсегда – и составляют "благо" пережитого, остаются...). В субботу – катанье на автомобиле вокруг города Итаки с Сашей Нератовым. Старое кладбище, озеро, старые дома: уходящая Америка, шарм которой я всегда так остро чувствую. Ужин с группой православных студентов и с обычными разговорами.

В воскресенье рано утром Литургия в греческой церкви. Еще раз поражаюсь бессмысленностью греческого "факта" в Америке, неспособностью греков "продумать", осознать... начать Церковь свою интегрировать в реальность. Затем – без передышки – в церковь Sage Chape, где я должен проповедовать на "convocation" и где я уже бывал раньше несколько раз. Изумительный, всегда меня поражающий хор. Смотрел на лица этих мальчиков и девочек (студентов), пока они процессией проходили мимо меня, и прямо шок в сердце: как много в мире добра, красоты, чистоты, как бессознательно, наверно, хотят их эти хористы и как все это, наверно, превращается в путаницу нашей "цивилизацией" и этими университетами, знающими все, кроме того, для чего они существуют. "Горе тому, через кого соблазн приходит" (Мф.18:7).

На Kennedy, около трех часов, встретила меня Л., и, так как было еще рано, мы поехали с нею к Трубецким. Серенький, очень туманный день, красота и печаль деревьев, парков, просторов: физическое наслаждение... Заезжали на кладбище.

Вечером – ужин у Тани Терентьевой в Sea Cliff'e со Штейнами, Месснерами и Кириллом Фотиевым. Необыкновенно дружно и хорошо.

В общем: чудный week-end.

Вторник, 25 февраля 1975

Весь день вчера полное бессилие – что бы то ни было делать – и уныние и раздражение от этого, раздражение на эту в мелочах и суете разлагающуюся жизнь. Утром сел за стол, написал – чтобы "разогнаться" – написанное выше, и вот первый телефон. Полчаса! Пока разговаривали, приехал Дриллок: меня ждут в семинарии представители Фрока⁸¹, чтобы вручить чек... Еще час. Кончили. "Вас хотят видеть два украинских семинариста из Виннипега". Еще час... И вот сознание уже засорено, и невозможно вернуться к первоначальному, "творческому" вдохновению. После завтрака, читая, заснул. И уже до вечера – никакой работы, а вечером – идиотский детектив по телевизии. Отвратительное недовольство собой за эту распущенность...

Читаю переписку Maritain-Mounier (1929-1939). Все та же "судьбоносная" декада. Неудержимый крен влево христианской интеллигенции (да и не только христианской – ср. эволюцию Gide'a в эти же годы по "Les Cahiers de la Petite Dame", которую читал в январе). И хотя ужасаешься – теперь, задним числом – этому крену, еще больше поражаешься и ужасаешься тому, что его вызвало: твердокаменной тупости и подлости и ограниченности всего "правого". Опять эти доносы в Рим, травля в газетах, ханжество. "Правое" – это неспособность, нежелание что бы то ни было пересмотреть, переоценить, понять, услышать, увидеть. И все собою пронизывающий, липкий страх. Крен "влево" нетрудно понять – христианство очевидно "революционно". Трагизм его в том, что, оторвавшись от христианской эсхатологии, христиане-максималисты неудержимо "падают" либо в личное "мироотрицание", либо же в левый "коллективизм". Вне эсхатологии невозможна христианская доктрина *зла*. Либо сам мир становится злом, либо же оно отождествляется с чем-то одним в мире (социальными структурами и т.д.). И то, и другое – ересь. Христа не нужно ни для ухода в мироотрицающий буддизм личного "спасения", ни для "социальной революции". Mounier чувствовал это, может быть, сильнее, чем кто бы то ни было среди христиан, и все же это притяжение к коммунизму было сильнее его... Но чистота, благородство его образа удивительные... До этого пробежал книгу – сборник статей – о Laberthonniere. Все это, чувствую, не случайные чтения. Они связаны с желанием разобраться в нашем – русском и, главное, православном – кризисе. Ибо мне все яснее становится, по мере того, как я вчитываюсь и вдумываюсь в судьбы католичества (и вообще христианства) в 19-20 вв. (до модернизма, вся буря в связи с Ватиканским собором 1870г., реакция ПияIX, Syllabus, до этого – Lamennais, а еще раньше – традиционалисты De Maistre, Bonald и т.д.), что все это одна и та же диалектика, нарастание одной и той же волны, рожденной, вызванной падением средневекового христианства (в Православии – византийского синтеза). Именно в нем укоренено основное раздвоение: "левого", то есть попытки разобраться, пересмотреть, переоценить и, главное, снова – ощущение "мира" как объекта Церкви, для которого она одновременно и спасение, и преодоление, спасение *через* преодоление, – и "правого", постоянной реакции на эту попытку, стремление ее раздавить в корне. Это раздвоение определяет собою и наше время, и вся задача богословия сейчас – его преодолеть, исцелить, поднять на тот уровень, где оно "снимается". Ключ же к этому – в христианской эсхатологии, то есть христианском восприятии *мира* (творение, падение, спасение) и, следовательно, *зла*... А "они" все хотят к чему-то вернуться и что-то "реставрировать" – кто Византию, кто старообрядчество, кто Аквината, кто... Либо же сдаются "миру"...

Среда, 26 февраля 1975

Ранняя Литургия. Идя в церковь еще совсем ночью, но с огромной морозной луной на небе, думал, с некоторым раскаянием, о моем постоянном "томлении" от суеты и забот, о считании дней до каникул, лета. Почувствовал греховность этого неприятия настоящего, моей неверности в малом.

⁸¹ FROC (Federation of Russian Orthodox Christians) – Федерация русских православных христиан.

Нужно было бы (и я сам всегда говорю об этом) принимать каждый день и все в нем, как дар Божий, и претворять в радость, и если мне все это не в радость, а в тягость (разговоры, студенты, собрания, переписка и т.д.), то, действительно, от греха, от эгоизма, от лени...

Кончил вчера переписку Mounier-Maritain и начал Антропологию жеста" Марселя Пруста, антрополога-иезуита. Сложно, запутанно, но чувствую, что он открыл что-то очень важное, что-то, чего я смутно искал для "литургического богословия".

Яркое солнце. Холод. И некое несомненное – чуть-чуть – веяние весны.

Письмо от бывшего студента, бесконечно меня тронувшее: "Мне бы хотелось просто поблагодарить Вас за незабываемые три года в Св.-Владимирской семинарии. Для меня было огромной радостью слушать Вас в классе и сослужать Вам и в качестве дьякона, и в качестве священника..."

Четверг, 27 февраля 1975

Мучительное заседание, вчера, факультета. Мучительное не тоном – он был мирный и даже веселый, а тем глубоким разбродом и, в сущности, взаимоотрицанием, что изнутри определяет собой нашу работу и которое, конечно, неслучайно. Разброд этот мне представляется так: В. – главное препятствие, ничего не понимающий человек, без какого бы то ни было чувства реальности и опасный своим негативизмом. Затем – "академизм" М. и, наконец, группа понимающих все положение Церкви по отношению к миру, к культуре и т.д. Как согласовать все это, наладить хоть какое-нибудь единство? Вот моя следующая "проблема", к которой я не знаю, как подойти...

Все утро лекции, встречи, разговоры... Сегодня после лекции (о хиротониях) Миша Аксенов мне: "Эти лекции для меня – полтора часа бальзама на душу".

Пятница, 28 февраля 1975

Перед отъездом на два дня по семинарским делам в Питтсбург. Вчера, за ужином, у нас Jim и Pamela Morton. Дружелюбно, оживленно, но чувство такое, что нам, в сущности, не о чем друг с другом разговаривать кроме Лабель и перемывания косточек знакомых. Наши жизни в разных "ключках", хотя, может быть, в них действовали попервоначалу те же предпосылки, та же тональность.

Сегодня после утрени разговор с Мишей Аксеновым о Солженицыне. "Он нас воспитал и вдохновил, – говорит Миша, – и потому мне так страшно обидно видеть, как он "ридикулизирует" себя, разменивается на мелочи... Его чуждость культуре, страшное непонимание того, что нужнее всего России – Европа, Запад. Вот оторвались от них на пятьдесят лет, и что вышло? Упрощенность, стремление к упрощенству..." Увы, в этом много верного.

Далее разговор с Paul Garrett о переводах, обо всей этой проблеме переложения Православия на язык другой культуры.

Вчера в Express статья Жана-Франсуа Ревеля "Искушение тоталитаризмом", которую хотелось бы всю переписать, до того она бьет в цель. Ограничиваюсь выписками.

"Все недостатки свободного общества подвергаются такой яркой критике, что оно начинает походить на тоталитарный режим. А все недостатки тоталитарного общества настолько преуменьшаются, что оно выглядит почти свободным. Как минимум, тоталитарное общество воспринимается по природе своей хорошим, только временно не уважающим права человека, а

свободное общество по природе своей порочно, хотя совершенно случайно люди там живут лучше и свободнее".

Илиос Янакакис: "Довольный, снисходительный, прислушивающийся к своему собственному голосу, Запад творит себе свою версию социализма, несбывшийся опыт, превращаемый в догму".

Суббота, 1 марта 1975

Вчера и сегодня – в Питтсбурге. Вчера вечером собрание Foundation. Среди присутствующих – свыше десяти священников, наших "питомцев", вчера – как мне кажется – еще сидевших за партами в семинарии. Радостное чувство от их хотя и разного у каждого, но горения, от этого сознания – "мой", "наши". Вспоминаю свой первый приезд в Питтсбург в феврале 1952г. (!) – и ужас от тогдашнего духовенства.

Сегодня с десяти до трех в сирийской церкви у Corey так называемый съезд, то есть на деле две моих лекции с обсуждением. Свыше ста человек. Ехал усталый, неохотно, но при виде всех этих людей, их внимания – опять радость, подъем. Сам почувствовал, что говорилось легко и искренне.

В Питтсбурге утром – снег, а потом синее небо, солнце. На аэродроме около четырех часов, оставшись один, переживаю – как всегда, внезапно – эту, уже знакомую мне минуту bliss'a4, непонятной, но полной и блаженной радости. Лучи солнца из огромных окон, музыка под сурдинку, льющаяся отовсюду и ниоткуда, и вдруг – это полное единство со всем, что тебя окружает, точно все предметы как-то смягчают, оборачиваются к тебе дружбой, близостью. Это мгновение – вне времени, но в нем собирается, сосредоточивается вся жизнь. *Все* тут, хотя и неназванное, не объективированное, все – от самого детства. Прикосновение к душе вечности – когда не нужно "вспоминать", ибо нет пропасти между собою вспоминающим – ии вспоминаемым, то есть самой жизнью.

Вечером – у всенощной в семинарии. Пospел прямо к "На реках Вавилонских" и "Покаяния отвержи ми двери...". И снова – вторично – тот же "укол" полноты и блаженства. Однако – оно ведь *все время*, всегда тут, рядом, вокруг. И вот как редко и мимолетно, как вместе с тем даром – вдруг изливается в душу.

Понедельник, 3 марта 1975

Неделя о Блудном Сыне. Служил, проповедовал. Чудный смешанный хор. "Святой Боже" Чайковского, который мне всегда так живо напоминает о папе, как он играл его на рояле дома.

Обед Иннокентиевского братства на Второй улице. Какая-то стареющая и разодетая красавица поет в микрофон под аккомпанемент аккордеона: "Поцелуем дам забвенье...". Те же, только очень постаревшие, мужички, что и в 1951году! Но вот из этого тупика растут, пробиваются новые побегии: как это удивительно! Вечная сила, жизненность, правда Церкви – раскрывающаяся только любви, смирению и терпению.

Вечером ужин у Дриллоков с Эриксонами. Чувство близости, "семьи", полного доверия, дружбы. Сколько за один день можно насчитать таких "даров"!

Прочел, на ходу, роман Р.В.Пильтр "Проклинающий", получивший какой-то приз. По-французски умно, талантливо, хорошо "сделано". О тупике современного мира, о диктатуре безличных мировых трестов. Почему люди так ясно, кажется, видят природу зла и так бессильны? Не потому ли, что совершенно не знают, *что* противопоставить ему? Видят гибель жизни, распад мира, не видят, не знают спасения.

Вчера в соборе получил в подарок от какой-то совершенно мне не знакомой пожилой женщины – старинный русский наперсный крест. "Почему мне? Откуда Вы меня знаете?" – "О, я Вас хорошо знаю, давно слежу за Вами, слушаю Вас..."

Удивительная зима: весь февраль яркое солнце, ясное небо. Но вот уже март, и повсюду – намеки на весну.

Вторник, 4 марта 1975

Вчера почти весь день, не отрываясь от стола, за писанием "Иерархии ценностей". В сущности это, конечно, попытка сказать что-то Солженицыну, оттого и пишется с таким трудом и раздумьем не только о содержании, но и о "тональности". После обеда прочел начало Л. Она: "Ты абсолютно убедительно показал всю правду церковного национализма..." Однако в том-то и дело, что я вырос в нем, изнутри знаю его убедительность, его "правду", что я не хочу бороться с карикатурой. "В мире сем" и "не от мира сего" – это не выбор между двумя возможностями жить, это всегда крест.

Дневник Леон Блуа, которым так увлекались о.Киприан, Е.Н.Осоргина. Всегда то же впечатление: с одной стороны – огромного таланта, может быть даже с проблесками гения (отдельные богословские интуиции), с другой же – какое-то самоупоение собственной бедностью, бешенством, бескомпромиссностью. Не знаю, но весь этот тон мне не по душе. Христос не бил людей по физиономии и не обращался к ним с площадной руганью. И потом образы вроде: "Франция – единственная страна, которая нужна Господу...". Читаешь (да еще после часов размышления над такими же, только русскими, утверждениями о России) и думаешь: нет, не то. Не нужно всего этого. Не нужно нажаться педали – ни об евреях (спасение через иудеев), ни о Франции, ни о чем. Истина Христова светла и проста, а тут какое-то трагическое "рококо". Чувствуется вся искусственность "конца века". Гюисманс, про клятые поэты..., и вот тоже это грохочущее христианство...

Вечером – беседа со "студентскими женами" о Посте. Как всегда – иду с неохотой и внутренним протестом. Возвращаюсь с радостью от этого общения в главном и насущном.

Еще о Влоу: мне чужды эти "гадания" о тайне будущего. "Вам не дано знать...". Есть, однако, этот тип религиозного сознания – с "легкостью чрезвычайной" в том, что о. В. Зеньковский называл "поспешными обобщениями". Вере одинаково свойственно чувство тайны (не "секретов") и простое светлое доверие.

Среда, 5 марта 1975

Леон Влоу. Сколь ни сопротивляешься тону его писаний, экзальтации, преувеличениям, "нажатию педали", они захватывают. Действительно, паломник абсолютного.

Отдельные фразы, утверждения бьют прямо в душу.

Стр.104: "Одна христианка сказала мне: чтобы быть девственницей, надо иметь мужа. Я отвечаю на это вместе со всей Церковью: полная девственность находится в пропорциональной зависимости от сверхъестественной жажды материнства. Становясь Матерью Божией, Мария сохраняет полностью свою девственность". Стр. 114: "Воплощение – это завершение творения. Мир, будучи системой "невидимого, проявляющегося в видимом", может быть воспринят как творение, обновляемое при каждой видимой реальности. Бытие начинается с "Да будет свет"". Стр.134 (о кладбищах): "Города страдающих душ, не могущих говорить и являющихся, таким образом, душами младенцев".

Уже который день – все то же солнце, все та же удивительная, ликующая синева неба! И в тишине залитого солнцем дома со страхом и трепетом пишу свою "Иерархию ценностей". Утренние евангелия этих предпостных дней: о страстях Христовых. Всегда этот цикл, всегда все приходит к этому *концу*, без которого невозможно никакое начало.

Четверг, 6 марта 1975

Леон Блуа: Стр.181: "Мне кажется, что *Упражнения* св. Игнатия Лойолы схожи с *Методом* Декарта. Вместо того, чтобы смотреть на Бога, смотрят на себя самих..." Стр.182: "...психология, созданная иезуитами: метод, заключающийся в том, чтобы постоянно смотреть на себя, чтобы избежать греха. Это значит созерцать зло вместо того, чтобы созерцать добро. Ставить Дьявола на место Бога. Кажется, отсюда и произошел современный католицизм..." Стр.184: "Упражнения, из которых произошла гнусная, отвратительная, развращающая современная психология: всегда анализировать себя, беспокоиться о себе, созерцать "собственный пупок". Бегите от анализа, как от дьявола и верьте Богу, как погибший человек..." Стр.265: "Характерные черты протестантов, к какой бы секте они ни принадлежали. Ненависть к покаянию, любовь ко всему простому, чудовищное равнодушие ко всему красивому". Стр.270: "Делать то, что нравится, и верить, во что хочется. Это основа протестантизма". Стр.270: "Узнал от одного известного профессора из Копенгагена, что мысль не может не сталкиваться с трудностями, но вполне может проходить мимо их разрешения. Лучше даже никогда не стараться избавиться от трудностей, чтобы не заслонять горизонт". Стр.266: "Возражение невысказанное и беспспорное: "Моё здоровье не позволяет мне стать святым". Такова подноготная этих рабов Божиих"

Вчера вечером по делам семинарии в Кливленд. Любимое мною одиночество аэродрома, аэроплана... Сегодня из гостиницы, где ночевал, в 7.30 утра – на аэродром на метро. Так редко приходится за последние годы быть в этой предрассветной, еще ночной, рабочей толпе.

Прямо с аэродрома в школу Scarsdale High School – лекция о Солженицыне, устроенная Петей Бутеневым. Шестьдесят мальчиков и девочек: слушают идеально, напряженно...

Кончил сегодня Leon Vloу. И остается, несмотря на все, впечатление чего-то огромного: *веры* в ее самом чистом виде, такого опыта Бога и небесного, что по сравнению с этим все кажется ничтожным. Начинаешь понимать его вопли, лучше сказать – его вой к небу, невозможность для него жить в этом мире; нет, огромное явление, невероятный свидетель... И снова убеждаюсь в том, что книги приходят, когда нужно: а мне сейчас, когда я пишу "Иерархию ценностей" и сомневаюсь, это свидетельство – как воздух...

"И март весенний, грустный, ранний, меня поддерживаешь ты". Не помню, чей это стих, но в нем – весь сегодняшний серенько-солнечный день, весь уже направленный к весне.

Пятница, 7 марта 1975

Попробовал было начать новую книгу Мальро "Лазарь". Но почувствовал: сразу после Vloу, его *драмы*, настоящей, библейской по своей глубине и подлинности, – *невозможно!* Там, у Vloу, все обожжено Богом, тут – в конце концов – все только о себе, самолюбование...

Вечером вчера на блинах у друзей. Все очень мило, очень дружелюбно. И все же – какая-то внутренняя пропасть между нашим и их ощущением Церкви, жизни, того, что нужно, и того, что главное и второстепенное.

Письмо с предложением телевизионной программы.

А мне для того, чтобы написать статью в семь-десять страниц (как "Иерархия ценностей"), нужно две недели мучений и сомнений.

Понедельник, 10 марта 1975

Бурная неделя! Три полета: в Питтсбург, Кливленд и Акрон. В пятницу – в Акрон, у о.Иоанна Масона, в очень уютной и доброжелательной атмосфере. Опять собрания, те же разговоры... Вылетаем обратно в субботу в полной темноте при падающем снеге. В семинарии служит о.Виталий Боровой. После обедни он обращается к студентам. Очень умно, как всегда – мы, мол (то есть теперешние церковные деятели в России), только удобрение для будущего – и как удобрения (которое иногда плохо пахнет) нас чуждаются. Но Бог и история рассудят... В 4.30 обед с арх. Владимиром, ректором Московской духовной академии, о. К. Гундлевым (Ленинградская духовная академия), его братом о. Николаем и Боровым. Обмен речами – в речи арх. Владимира слышится обида: что это нас все попрекают нашей "несвободностью". Потом всеношная. Какой-то осадок на душе – кроме Борового (или он уж слишком умен) все – включая доброжелательство – отдает "официальной" линией... Их закованность!

Вчера неделя о Страшном Суде. "Спокойная" обедня – с одним диаконом. После бурной субботы – радость этого одиночества в алтаре. Весь день дома, вечером блины вдвоем сЛ.

Сегодня в 9.30 в ABC⁸² программа о "Hartford" с Avery Dulles и Richard Neuhaus. Приехал с Л. заранее. Поэтому пешком по Пятой авеню, вдоль парка. Серенькое, холодное, но такое весеннее утро! Потом также с West 67-й улицы на 42-ю в радио "Свобода". То же наслаждение – всегдашнее – от города, от уличной суеты...

Вторник, 11 марта 1975

В воскресенье и вчера перечитывал буквально горы своих "скриптов" (радио "Свобода") – в поисках возможной статьи для "Континента". Общее впечатление: несмотря на изобилие халтуры (поспешное, иногда впопыхах и в последнюю минуту, писание) – единство "мироощущения". Ах, если бы немножко свободы: не пора ли все это привести в порядок? Или Он лучше меня знает, что нужно, и как раз этого "приведения в порядок", систематизации и не допускает?

Письмо от Никиты – в защиту "Теленка". Я сразу готов согласиться – так мне хочется, чтобы Солженицын был "прав" и "велик". Мое мучительное свойство: видеть (может быть, хотеть видеть) правду каждого подхода, каждой "установки", невозможность быть ни в одном лагере. Испуг, отталкивание – когда вижу даже у Солженицына психологию "партии", "лагеря", "стратегии".

Мокрый снег. Холод. Письма и телефоны.

Среда, 12 марта 1975

Вчера вечером лекция в Manhattanville College (женский католический университет). До лекции ужин у моей старой подружки монахини К.Б. – с нею, еще двумя "монахинями" (в штанах и завитушках), двумя бородатыми активистами (про которых я так и не узнал, священники они или нет) и двумя молчаливыми студентами, ошеломленными всем происходящим. К.Б. говорит мне о приближающейся катастрофе: школа умирает, бывшие студенты перестали помогать и т.д. Зачем же была вся эта суматоха с "секуляризацией", постройка где попало новых дортуаров, все это

⁸² телевизионный канал

истерическое перекрашивание? Подлинно, кого Бог хочет наказать, того он лишает разума...

На лекции масса народа, большой успех. Говорил о христианском понимании человека, о необходимости обличить "человека", преподносимого нам наукой: сведенного к полному детерминизму, но почему-то "свободного" и "с правами". Говорил о том, что довольно жалкой апологетики, целиком построенной на расшаркивании перед "наукой". И потом – об "образе неизреченной славы", сотворенном, падшем, возрожденном...

После лекции – чаепитие у Павла Литвинова с Катей Алексеевой, Я.С.Исаковым и Ириной Баратовой, приехавшими на лекцию специально из Sea Cliff'a.

Письмо от шведского издательства – предложение издать шведский перевод "For the Life of the World": после русского (самиздатовского), греческого, французского, итальянского, финского и немецкого это – седьмой перевод! Отсюда – страстное желание вырваться из суеты, засесть за работу. Вчера Дриллок говорил о своем восторге от "By Water and Spirit". "Пишите..." А я вот уже три недели не тронул своей "Евхаристии". А вместе с тем очень остро чувствую, что все это, может быть, гордыня ("мое творчество!"), что именно "суету", а не "творчество" посылает мне Бог. Вечный вопрос: как действительно провести черту между удовольствием от "успеха" (гордыня) и радостью, что что-то, что ощущалось важным и истинным, доходит ("для Бога", "не нам, не нам..."). Страшная недостижимость подлинного смирения. Вечное, немедленное, моментальное выскакивание маленького "я", о котором сразу же узнаешь его ничтожность и пошлость. Боязнь всего того, чем Бог это самодовольство "врачует".

Суббота, 15 марта 1975

Два дня в Syosset на епископском соборе. В четверг лекция в Nassau College, потом – завтрак с проф. К.Каллауром, его женой и каким-то молодым историком. Вчера вечером, после собора, блины у Месснеров в Sea Cliff'e с Пушкаревыми, Фотиевым и Кишковскими. Из-за снежной бури ночевал у Кишковских и только сейчас "заехал" домой – перед отъездом в Endicott!

Понедельник, 17 марта 1975

Великий Пост. Вечер субботы и воскресенье провел в приходе в Endicott, как и в прошлом году. И опять радость и даже умиление – от вечерни с детским хором, от количества участников, от *реальности* – неумирающей – несмотря ни на что! – жизни Церкви.

Вчера вечером – прошенная вечерня в семинарии, сегодня длинная, "уставная" утренняя. Пытаюсь "собраться", утихомириться, углубиться, но, Боже, как это трудно...

Вторник, 18 марта 1975

Лучезарные, весенние дни. Вчера все "послеобед" с Л. у Сережи и Мани. Маня в Вашингтоне у матери, у которой был второй удар. С детьми на ирландском параде St. Patrick's Day.

Вечером канон Андрея Критского. Полная церковь. Вчера также письмо от незнакомой мне Barbara A.: "...ваши ясные описания того, что было, что должно быть и что есть, очень помогают моему пониманию Православия. Если бы не такие писатели и лекторы, как Вы и о.Хопко, например, я бы давно покинула корабль или то, что казалось бездушным диназавром...".

Рассказ Тома о поездке в Грецию, о бессмыслице церковного положения там. Исторический кризис Православия и вопрос: сумеет ли оно творчески пережить распад, крах своей органической

эпохи? С человеческой точки зрения, положение почти безнадежно. Но твердо верю, что "невозможное человекам возможно Богу" (Лк.18:27).

Среда, 19 марта 1975

Статья В.В. Вейдле в "Русской мысли" об эмиграции – против Шафаревича и Солженицына. Тон – благородный и высокий, от которого мы давно отвыкли.

Самому Вейдле восемьдесят лет!

Четверг, 20 марта 1975

Вчера – первая преждеосвященная Литургия. А до этого – полтора часа исповедей. Все это приводит действительно в "благодатное состояние", и мелкими, ненужными начинают казаться все дразги и вся мышиная суета...

Вчера также пытался написать что-то о Вейдле для "Русской мысли". Думал о том, какую, в сущности, большую и по-своему решающую роль сыграл он в моей жизни – начиная с того лета в Англии, где мы вместе с ним гостили. Помню, как он заставил меня читать "Великого Мольна" Фурнье, читал мне вслух свою статью, оттиск которой до сих пор сохранился у меня ("Саше Шмеману в надежде славы и добра"). Потом целый год преподавал он мне историю философии в русской гимназии. Потом – в Институте. Потом эти лекции о русской поэзии и искусстве в годы оккупации, меня, помню, приводившие в полный восторг. Наши ужины с ним вдвоем на его квартире... За все это, вдруг, горячая волна благодарности, которую и хочу "воплотить".

Пятница, 21 марта 1975

Только что вернулся с аэродрома: провожал Льяну, Машу и Веру на Мартиник, куда они едут на неделю каникул. Первый день весны, и после трех дней дождя и бури абсолютно прозрачное, лучезарное утро.

Вчера купил и уже наполовину прочел воспоминания Даниэлу "Кто мой ближний?". Те благородство, широта, а вместе с тем твердость, христо- и церковь-центричность, от которых мы постепенно отвыкаем в удушающей атмосфере современного христианства. Впечатление кислородной маски...

Вчера звонок от Максимова. Сговорились встретиться сегодня вечером. На пути с аэродрома обдумываю, как и что ему сказать – в ответ на то, что он говорит, на упреки и обвинения. Выходит приблизительно так:

"Дорогой Владимир Емельянович, Прежде чем перейти к ответу на Ваши обвинения, позвольте сказать следующее. Больше всего меня поражает в Вас и почти во всех выехавших в последнее время из России – это то, что Вы никогда и ни о чем нас не спрашиваете, что у Вас нет, очевидно, ни малейшего интереса к тому, кто мы, к нашему опыту, нашим мнениям, да и просто к нашей жизни. Вы приехали нас учить и о наших делах судить и рядить. Вы все знаете, знаете, кто прав, кто виноват, имеете готовое мнение обо всем на Западе. Мы с жадностью слушаем Вас, вчитываемся в каждую написанную Вами строчку, и вот Вы принимаете как должное этот интерес без всякой взаимности. А так как Вы имеете главным образом с людьми, Вам поддакивающими (что, между прочим, совсем не означает, что они Вас понимают или думают так же, как Вы), то Вы очень быстро и легко приходите к заключению, что учить, судить и рядить – не только Ваше право, но и священный долг. На самом же деле Вы, конечно, очень мало что знаете о сложной истории и "ситуации" русской эмиграции, не

говоря уже о Западе как целом. И вот, простите откровенность. – Вы попадаете впросак. Но так как Вас носят на руках и на Ваши выступления, вопросы и ответы собираются толпы людей, "просака" этого Вы не осознаете, а когда осознаете, боюсь, будет поздно... В России Вам очевидна была сложность, невозможность рубить сплеча и т.д. За границей Вы делаете Ваши выборы моментально. Вы выбираете, конечно, тот лагерь, те группы, которые Вам кажутся наиболее "стойкими", "прямолинейными", "морально твердыми", "бескомпромиссными" и т.д. Все остальные тем самым оказываются слабыми, половинчатыми, подозрительными, изменническими... Вы убеждены, что Вы нашли "своих" людей, ибо они бурно и восторженно выражают свое согласие с каждым Вашим словом. На деле же, конечно, это недоразумение, в котором Вы, увы, не скоро разберетесь. На деле – они даже не слушают Вас или же слушают ровно столько нужно, чтобы зачислить Вас в свои ряды, убедиться в том, что Вы согласны с ними. Но настоящей трагедии русской эмиграции Вы не знаете и не чувствуете и, наверное, не скоро еще почувствуете. Вы не знаете, как все эти "стойкие", "непримиримые", "утробно русские" на протяжении всех пятидесяти эмигрантских лет душили, замалчивали, ненавидели и проклинали то одно, чем эмиграция по-настоящему нужна России, останется в ней как сила и цельность: свободу духа, свободу творчества, простую правду. Вы не знаете, как травили русских мыслителей и богословов, как всю церковную жизнь свели к ура-патриотическому и ностальгическому фольклору, к узости и фанатизму, русскую литературу – к генералу Краснову, как, по существу, не интересовались совершенно живой, настоящей Россией, а жили только своими маленькими эмигрантскими мифами и спорами, гордыней и фарисейством... Вы не знаете, да и не можете знать, каких трудов стоило нам, эмигрантским детям, пробиться сквозь всю эту мифологию к подлинной культуре, перестать видеть в Церкви осколок старой России и тоску по быту, начать вслушиваться в жизнь самой России, искать встречи с ней. Как нас в свою очередь тоже стали проклипать и отлучать во имя здорового "национально-религиозного мировоззрения". Я не осуждаю Вас. Вам нужна среда – и Вы естественно находите ее в этой эмигрантской массе. Мне только бесконечно горько, что, попав в эмиграцию в ее несомненно одиннадцатый час, когда она умирает – как от старости, так и от собственного своего безвоздушья, Вы сами попались на удочку этих бесплодных эмигрантских страстишек.

Но все это было бы не столь уж важным, если бы Вы не взяли на себя вдобавок суда над Церковью, о которой Вы ничего не знаете..."

Суббота, 22 марта 1975

Вчера – длинный разговор с Максимовым. Почему-то только наше участие в Национальном Совете Церковей приводит его в бешенство: как можно иметь хоть какое-либо дело с людьми, которые обсуждают права гомосексуалистов. Этого в России никогда не поймут... В остальном – искренний, горячий, симпатичный, но, конечно, и ограниченный своей перспективой: "правые", "левые", своим советским манихейством... Неспособен понять, что в каком-то смысле за все "левое" всегда несут ответственность "правые" и за "правое" – "левые", что сама эта диалектика безнадежна и что дело христиан – поднять ее и тем самым разрешить, экзорцировать, сублимировать...

Сегодня – первая великопостная Литургия: их как-то особенно любила бабушка Шишкова. После нее – крестины.

На "сон грядущий" вчера – несколько страничек из "Анны Карениной". Божественно! Чувство такое, что после массы подделок и мишуры вдруг видишь чистое золото. Это настоящее утешение. Пытаюсь тоже что-то написать о В.В.Вейdle в связи с его юбилеем.

Понедельник, 24 марта 1975

Вчера – после Литургии с массой причастников (первое воскресенье Великого Поста) – в Филадельфии на "торжестве Православия". Владыка Киприан, шестнадцать священников, проповедь, потом бесконечное чаепитие с "вопросами и ответами". Вернулся около часу ночи, бесконечно усталый, так что даже не мог заснуть и пришлось принимать "Sonery".

Ужасные новости из Камбоджи, Вьетнама... Ежедневно по телевидению: лица убитых и умирающих, бегущих, бездонная глубина человеческого страдания. А в Европе Португалия катится к коммунизму. Бешенство в душе на либералов, на всю эту западную гниль, бессильную, фанфаронную, на все это "левенькое"... А в промежутках между картинами этого страдания, ужаса, предательства – рекламы об низких ценах на бытовую технику, о никому не нужных gadgets... Давно уже я не испытывал такого отвращения к глупости и низости "мира сего".

В сущности "Запад" страшен. Страшен своим фарисейством, своим отождествлением свободы с наживой (на днях какой-то правый сенатор: "Мы должны помнить, что начала свободного рынка, наживы и свободы неразделимы" – и все это с нравственной, героической ноткой в голосе; также лица фермеров, заявляющих о своем решении уменьшить посевы – это когда по всему миру идет вопль о голоде! – лица, озаренные опять-таки нравственным пафосом...), ужасен своей низостью решительно во всем. Где, когда началось это падение? Где, когда он отрекся от себя? От того огня в себе, что "...просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идет, и плачет – уходя..."⁸³

Когда такой нестерпимой, дьявольской фальшью стали звучать его разглагольствования (и христианская в нем риторика) – о "свободе", "справедливости", "равенстве" и т.д.? Дьявол на лице защитников "law and order", дьявол на лице революционеров.

Вторник, 25 марта 1975

Благовещение. "Архангельский глас".

Кончил заметку о Вейдле. Пища ее, вспоминал не только его, но и всю ту пору моей жизни, в сущности бесконечно счастливую. "Ты дал мне юность без печали..."

Длинный разговор с Давидом Дриллоком о семинарии, об ее будущем, о "личных" проблемах. Маленький мирок, а сколько в нем подводных течений, потенциальных конфликтов, несовместимых теорий. И все это опять надвигается на меня, и, хотя я по малодушию откладываю и откладываю момент истины, где-то на глубине знакомое паршивенькое чувство нежелания во все это "врезываться". Снова и снова и поражаюсь, и умиляюсь простоте, честности и открытости Давида.

Новости по телевизии – одна хуже, одна гаже другой. Кровавая баня во Вьетнаме и Камбодже. Коррупция в полиции. Бомбы – в Аргентине, в Ирландии, по всему миру. И либеральные советы преступных американских либералов всему миру. А потом пошлейшие рекламы. Пир во время чумы, но пир даже не грешных людей, а клоунов, мелких жуликов и пошляков. В мире не остается воздуха...

Только три дня одиночества – и вот уже чувствую его бремя, и понятными становятся обычно раздражающие меня, кажущиеся мне беспредметными "драмы" одиноких кругом меня.

⁸³ Из стихотворения А.Фета "А.Л.Бржеской" ("Далекий друг, пойми мои рыдания")

Среда, 26 марта 1975

У Кабачников с Александром Галичем. У Галича огромный человеческий шарм. Я его до сих пор читал или же слушал с ленты. Но совсем другое слушать его живьем. Огромное впечатление от этой лирики, эмоции – очевидно абсолютно подлинных. Широта, благожелательство, элегантность. Короткий разговор наедине – об о. Александре Мене, об эмиграции. "Я ведь неофит. Только знаю Евангелие, Библию..." У Кабачников толпа "новых" – Коржавин, Вероника Штейн и какие-то мне незнакомые. Водка, колбаса, тучи дыма... Сидел, смотрел, слушал, думал: такая же, приблизительно, начиналась, наверное, и первая, и вторая эмиграция. С таких сидений и бдений, безбытности, напряженности, обмена слухами и новостями, эмоциональной настроенности.

Новости: убийство короля Фейслла. Страхи, гадания в связи с этим. Рост безработицы. Португалия. Трещит Запад... Еще о вчерашнем вечере. Сидя у Кабачников в некотором отчуждении (с половиной – не знаком и никто не знакомит), "со стороны" думал: "Что бы я им сказал "на глубине" и от души, если бы мне сказали: "Скажите самое главное, что Вы имеете нам сказать?" Ведь в последнем счете "Россия", "изгнание", "большевизм", "Запад", "прав ли Литвинов" и т.д. – все это не только преломляется в сугубо личной судьбе каждого, но и изнутри, подсознательно этой личной судьбе подчинено. В последнем счете каждый занят и живет собою – не обязательно эгоистически, но потому, что нет никакой жизни, кроме *личной* и всякий вопрос есть вопрос о том, как *мне* жить, для чего я живу. Сейчас они жмутся друг к другу не потому, что у них общее дело, а потому, что нельзя в одиночестве, страшно и темно. Легче всего тем, у кого есть *творчество* как содержание личной жизни: Солженицыну, писателям. Остальные инстинктивно ищут "дела", в каком-то смысле выдумывают его...

Думая об этом, сначала вспомнил чьи-то стихи (не помню):

*"О том, что мы живем,
О том, что мы умрем,
О том, как страшно все
И как непоправимо..."*

А потом сказал бы, что имеет смысл на земле только то, что побеждает смерть, и не что, а Кто – Христос. Что есть только одна несомненная радость: это знать Его и Им "делиться" друг с другом. Что в последнем смысле все остальное неважно. Вера, надежда, любовь... Но если бы я сказал это, то вышла бы "проповедь", и притом банальная. А вместе с тем к этому сводится для меня вся "несомненность", и вне ее все – "постольку, поскольку..."

Днем – часок у Сережи и Мани. Яркое солнце и ледяной холод...

Пятница, 28 марта 1975

После утрени читал "Нью-Йорк Таймс" и не удержался – написал письмо в редакцию, которое эта последняя, конечно, не напечатает. Сил нет больше выносить эту "левацкую" подлость и слепоту западной интеллигенции.

Ужасы в Индокитае – по телевидению. Холодное бешенство.

Сегодня вечером жду Льяну, Машу и Веру с Мартиника. И радуюсь, как молодожен. "Нехорошо быть человеку одному" (Быт.2:18): сияющая, Божественная правда этих слов...

Только что телефон от бедной Манюши: ее матери – Мане старшей – гораздо хуже. Завтра – операция мозга...

Суббота, 29 марта 1975

Возвращение вчера вечером Л. с Мартиника. Все три загорелые и очень довольные своими каникулами.

Длинный разговор сегодня с Марьей Васильевной Олсуфьевой, итальянской переводчицей Солженицына, из Флоренции. Ее привезла ко мне Patricia Blake. Эта последняя говорит: "Солженицын ненавидит культуру, искусство, поэзию... Больше всего меня удивляют размеры ущерба, нанесенного русским людям советским обществом".

Понедельник, 31 марта 1975

Тихое, спокойное воскресенье вдвоем дома. После обеда прогулка до вокзала, потом сравнительно благополучное занятие подоходным налогом, ужин в ресторане. Перечитывал свои статьи и доклады за последние пятнадцать лет для сборника, о котором размечтался Давид. Удивляло (хотя не должно бы, в сущности) – при различии тем и аудиторий единство "вдохновения", единство все эти статьи так или иначе пронизывающего видения. На сборник согласился, чтобы, в каком-то смысле, отделаться, а выходит так, что он отражает некое "целостное мироощущение". Удивляет же меня это потому, должно быть, что подсознательно я знаю, что почти всегда писал тоже, чтобы отделаться, наспех, из-под палки и даже небрежно.

Вторник, 1 апреля 1975

С 7.30 утра по 4.30 – в семинарии. Лекции и "заседания", телефоны и свидания со студентами. А на дворе – ослепительный теплый весенний день после целой недели холодов.

Всегда после такого дня думаю: как должен я быть благодарен Богу за атмосферу, окружающую меня в семинарии: Давид, о.Кирилл Ставревский, Анна, атмосфера дружбы, внутреннего понимания и "без лести преданности".

Среда, 2 апреля 1975

Вчера праздновали с Л. ее назначение Dean of the Faculty в La Cremaillere. Уже совсем весенний закат, и эти изумительные имения! Л., обычно стремящаяся в Италию, Грецию и т.д., говорит мне: "Знаешь, где по-настоящему, совершенно *красиво*? В Новой Англии". И в сущности она, конечно, права. Чудный дружный вечер.

Утро в семинарии. Лекция о пасхальной ночи и о Великой Субботе, наполняющая меня самого радостью, о которой говорю. Исповеди. Диктование писем. Потом дома – очередной скрипт для радио "Свобода". И теперь – в два часа дня – отъезд в Yale, где у меня лекция. Все это не считая телефонов. Как не идти голове кругом. Но чувство такое, что в апреле(!) – все выносимо!

Четверг, 3 апреля 1975

Сегодня с утра тьма и проливной дождь. Хотелось бы засесть за стол и писать свою "Иерархию ценностей". А вместо этого нужно ехать в Нью-Йорк (радио) и затем в Syosset на малый синод.

Суббота, 5 апреля 1975

В четверг – короткое, но очень милое письмо от Солженицына и более длинное от Наташи Солженицыной. Чувство, что человеческий контакт не нарушен. Хочу заехать к ним на пути из Мюнхена, куда еду через десять дней по делам радио "Свобода".

Сегодня утром – на похоронах Sarah Lutge, в Гарлеме. Весь день вчера – за работой над "Intercommunion". Буря, холода. Сегодня снова – солнце. Но все еще мороз.

Воскресенье, 6 апреля 1975

Salt Lake City, Utah! Пишу это в отеле, куда только что привез меня греческий священник. Перед прилетом – огромное Соленое озеро, а справа и слева – снежные горы. Издалека виден мормонский "Tabernacle" – вдруг почувствовал тот ужас, что испытывал Leon Vloy в Дании, среди протестантов. Ужас от этой такой успех имеющей религии. В отеле на столе – "Книга мормонов"...

В аэроплане (а я летел с пересадкой в Чикаго, шесть часов) читал "Новый блокнот" Франсуа Мориака. Читал с наслаждением. Почти на каждой странице хочешь что-то записать, отметить. Понятный мне "строй души".

В Salt Lake City – на два дня (лекции), и, как всегда, тоска, чувство плена.

Вчера – чудная всенощная, вынос Креста.

Понедельник, 7 апреля 2003

Salt Lake City. Вчера вечером – собрание в греческой церкви, неожиданно приятное. Умные вопросы, огромная жажда узнать больше о вере, Церкви и т.д. И как мало жажде этой Церковь отвечает, как мало ее удовлетворяет.

Перелистывал Book of the Mormon, в газете читал об их только что закончившейся здесь мировой конвенции. Удивительно: мормонство цветет, распространяется, все речи пронизаны убежденностью, радостью. В чем дело? Что привлекает? Очевидно, не эта странная, неудобоваримая книга и не легенды о Смите и каких-то золотых таблицах. Но тогда что же? Вечная загадка религии, никогда не перестающая не только удивлять, но и пугать меня...

Станный город – с этими широчайшими улицами, с этим уродливым мормонским храмом, видимым отовсюду, со снегом покрытыми горами кругом.

Вторник, 8 апреля 1975

Вчера весь день и весь вечер – на конференции. Внезапная радость – сколько хороших людей! Особенное впечатление производит здесь всеобщее раздражение, даже злоба на мормонов. Это так отлично от обычной американской атмосферы – добродушного благожелательства, свойственного "плюрализму".

Среда, 9 апреля 1975

Вернулся домой в два часа утра после бесконечного полета – с пересадками – из Salt Lake City. До отъезда успел посетить Мормонский центр. Стиль богатого американского отеля, то есть чудовищно безвкусный и роскошный.

По стенам картины из жизни Христа и мормонской истории в стиле слащавых религиозных картин 19-го века. Ужас упрощения! (Чего стоит один фильм – в десять минут – "Христос в Америке"!). Упрощение, энтузиазм и фанатизм.

Полет над скалистыми горами, сплошь покрытыми снегом, над Соленым озером. Величие этой природы, особенно после торжествующего мормонского безвкусыя. Точно из подделки попадаешь в настоящий храм. Невероятная громадность Америки...

Дорогой кончил толщенный том Мориака. Почти каждая страница наводит на размышление. Действительно, один из последних больших христианских голосов нашего времени. Если не вполне убеждает его страстная защита де Голля, то его столь же страстное обличение его врагов бьет прямо в цель, вскрывает какую-то метафизическую, демоническую ложь всего "левого". "Правое" – капитализм, культ государства, шовинизм – может быть и часто бывает бесконечно омерзительным. Но даже и тогда мы остаемся в категориях греха и праведности, гибели и спасения, то есть в категориях, созданных, явленных христианством. "Левое" основано на ненависти к самим этим категориям, к этому видению мира и человека. Оно есть "спекуляция на понижение" в чистом виде. Оно всю ставку ставит на то, что "снизу", и ненавидит все, что "свыше", и это – с таким ясновидением – показывает Мориак. Поэтому теперешний крен влево – явление духовное. Оно есть, прежде всего, *отказ* от "высшего этажа". Та "справедливость", которой "левое" будто бы вдохновлено, по сути дела есть уравнивание всего на самом низшем этаже с отрицанием верхнего. Отсюда любовь к чудовищному понятию "масс". При капитализме можно быть антикапиталистом, при социализме антисоциалист становится немедленно "врагом народа" и "антиисторическим" явлением и потому подлежит уничтожению (во имя "масс").

Принцип частной собственности, сколь бы он ни извращался (а он извращен первородным грехом), есть действительно христианский принцип. Ибо сам мир, сама жизнь – даны нам Богом именно в "собственность" ("владейте и обладайте" Быт.1:28). Поэтому христианство зовет опять-таки к личному отказу от "частной собственности" как к исцелению и восстановлению того обладания миром (личного, не коллективного!), которое извратил и предал человек. Но оно не зовет совсем к "уничтожению" частной собственности с заменой ее "коллективной". В мире все лично, сам принцип коллективного дьявольский. Призыв "раздать все" есть не "социальная программа", а эсхатологический принцип, способ перейти в "иной мир".

Пятница, 11 апреля 1975

Без голоса! Вчера и позавчера служил преждеосвященные литургии – в среду в семинарии, вчера в Сайосете на говении нью-йоркского духовенства. Радость от молитвы и общения с этими двенадцатью священниками: духовное здоровье этого нарождающегося американского Православия.

Воскресенье, 13 апреля 1975

В пятницу – около 450 миль в автомобиле. Сначала с Давидом Дриллоком и Томом Хопко в Albany в State Education Department. Оттуда – в Worcester, Mass, преждеосвященная в албанской церкви; поздно ночью – домой. Лучезарный весенний день, красота природы, радость от целодневного общения с Дриллоком, которого чем больше узнаю, тем больше люблю. И страшная усталость.

Вчера днем – лекция OISM в семинарии. Но от усталости ничего другого: читал Клода Бурде "О сопротивлении реставрации". Интересно, как пример истолкования всего с "левой" точки зрения (особенно после книги Мориака). Мне все очевиднее, что "правое" и "левое" – это именно состояния души, на глубине своей подсознательные и иррациональные и потому страшные, каждое, именно в своей слепоте.

Вчера "Нью-Йорк Таймс" напечатала мое письмо в редакцию от 28 марта. Телефонные звонки от неизвестных, выражающих свое согласие и благодарность...

Вчера Сереже – тридцать лет! Как незаметно для меня наступила моя старость. В лучшие минуты ее это, по слову Ходасевича: "и невозбранно небом дышит почти свободная душа". В худшие – брюзжание и раздражение на все "новое". И вот ведь знаешь этот закон природы и все же подчиняешься ему.

Вторник, 15 апреля 1975

Перед отъездом в Мюнхен на конференцию по религиозному радиовещанию (в "Свободе").

Письмо за письмом в ответ на мое в "Нью-Йорк Таймс". Благодарят так, словно я что-то открыл! В какой же степени свобода хотя бы мысли вещь, по-видимому, трудная.

Вчера новозаветный семинар Кесича и Верховского с моим докладом "Священное Писание в богослужении". Наслушавшись про этот семинар, об "инквизиторском" поведении на нем В., был удивлен тем, как хорошо, дружно и даже радостно все прошло. Докладом своим в сущности доволен, теперь хотелось бы побольше над ним поработать.

Breakfast вчера утром – случайный! – с Сережей на Madison Avenue невероятно ветреным, лучезарным, солнечным утром. Великолепие – в этом солнце, в этом утре – небоскребов, да и вообще Нью-Йорка.

Вторник, 22 апреля 1975

Вчера в час дня вернулся из Европы. Хочу привести краткую сводку того, что происходило там.

Во вторник 15-го отлет на Lufthansa в Кельн и Мюнхен. Аэроплан полупустой, так что удалось лежать, но, увы, не спать. Часовая остановка в Кельне: дождь, серо. В девять часов опускаемся в Мюнхене. Буся и Сережа Франк встречаются. Едем в Arabella Hotel, новый, "шикарный", но чудовищно безвкусный. Рядом со "Свободой" новый квартал – точно ходишь по Чикаго. Небоскребы, коробки. Иду на "симпозиум". Человек двадцать пять – "экспертов" по радиовещанию: русских, мусульман, евреев. Атмосфера серьезная и деловая. Вообще конференцией остался доволен. Самолюбие щекотали массивные "хвалы" оттуда – Е.Барабанов и др. ("Отец Александр – это именно тот человек...").

В четверг 17-го – breakfast с Варшавскими и, как всегда, радость от встречи с В.С. Весь день – симпозиум, завтракали снова с Варшавскими и их другом – очень милым Ю.Шлиппе. Приезжает Никита Струве – у него доклад в два часа дня. Рассказывает про триумф Солженицына в Париже – на пресс-конференции и по телевидению. В ужасе от его канадских планов. Вечером банкет в отеле, с которого мы с Никитой удираем к Т.С.Франк, вдове философа. На два часа погружаемся в атмосферу прошлого: что Бердяев сказал Франку и П.Б.Струве в 1910году, и все в этом роде... Уже полная глухота к настоящему, к действительности. Мир теней. Т.С. дарит мне книгу сына Виктора и книгу о нем...

Пятница 18-го. Весь день – симпозиум. Завтрак с Красновым-Левитиным. Милый человек, но тон сельского учителя, дидактический и всезнайный: он мне авторитетно разъясняет американское церковное положение.

После двух дней в Париже 21 апреля отлет в Нью-Йорк. В двачаса дня в Нью-Йорке. Сегодня с утра – суматоха семинарии...

Милое письмо от Вейдле: благодарность за мою ему "благодарность" в "Русской мысли".

Среда, 23 апреля 1975

С самого возвращения из Европы – головная боль, усталость, раздражение: особенно при соприкосновении с маленькими семинарскими "делишками" и страстишками: о программе, о квартирах, о комнатах, о стипендиях...

Кормил вчера Мишу Аксенова в ресторане, рассказывал про мюнхенский симпозиум.

От усталости и раздражения спасаюсь, как всегда, в чтение "абсолютно иного" – шестнадцатый том (единственный, мною еще не читанный) дневника Leautaud. Это – август 1944года, "освобождение" Парижа, несуетная грязь и жестокость чистки ... Читал об этом только что в книге Claude Bourdet – с обратными знаками... Но насколько же непосредственная, человеческая реакция Leautaud мне ближе и понятнее. Даже когда он ошибается, то это от неведения, незнания. А у Bourdet – всегда предвзятое мнение, ужасающее клеймо идеологизма. Читаю и думаю – только бы никогда вере, христианству не стать "идеологией".

Пятница, 25 апреля 1975

Раннее, солнечное утро в этом квартале около Бюро подоходного налога, среди небоскребов, среди кишачей толпы. И так как было еще рано ехать на радио "Свобода", прошелся по улицам вокруг City Hall с почти животной радостью жизни.

И вот, наконец, "душеполезную совершивше четырехдесятницу", подъем к Страстной – через предпасхальный свет Лазаревой субботы и Вербного воскресенья. И так как весна поздняя – все в семинарском саду в цвету: ярко-желтые форситии, лиловые азалии, прозрачная зелень деревьев. С детства – любимейшие дни.

А фон всего этого – кошмарный, кровавый конец Индокитая и Камбоджи, аресты в России, выборы – сегодня – в Португалии, разгул торжествующего зла и лжи при подлом поддакивании либералов всех мастей. Вчера в Le Monde – Франсуа Миттеран: "Для нас Советский Союз является фактором мира...".

Великий Понедельник, 28 апреля 1975

Лазарева суббота и Вербное воскресенье – два дня беспримесной радости. Изумительные солнечные дни, чудные службы, до отказа переполненная церковь. В субботу после обедни ездили с Л. на кладбище в Roslyn, устраивали могилу родителей Л. Вчера днем, между службами, в Wappingers с внуками. Только пробивающаяся еще, "сквозящая" зелень. Вечером – "Чертог...".

Но вечером – и часто посещающее меня, немного мучительное чувство: как будто все то, что так радует, поражает, вдохновляет меня в Православии, и особенно в эти два, любимейших мною, дня, – не то, что ищут от Православия, видят в нем другие. Вчерашний Апостол: "Радуйтесь, и паки реку – радуйтесь!" И дальше: "Все, что достохвально, что честно..." (Флп.4). Все – о Царствии Божьем и о радостной свободе, через него воссиявшей в мире. Свобода – прежде всего – от самой "религии", от удручающего религиозного "копошения". Об этом, о "религии" – весь сон вчера ночью. Что-то кому-то я мучительно разъяснял, а самому было так это просто. Мучительные исповеди, мучительный "оборот на себя" религиозных людей, мучительная похоть на "священное". А мне все думается, что, если бы увидели люди, что – на глубине, предвечно и на все века – совершалось тогда в Иерусалиме, они прежде всего освободились бы от этого своего "я", так мучительно разрастающегося в "религиозности".

Кончил 16-й том Леото. Освобождение, чистка – ужасные годы. Вопрос: почему безбожник может быть так свободен и правдив, честен и по-своему милостив и почему именно этих качеств так трагически не хватает "религиозным" людям?

Великий Вторник, 29 апреля 1975

Вчера в 6 ч. вечера Солженицын прилетел incognito в Монреаль и поселился у Маши и Вани⁸⁴! Все это, по обычаю, было сугубо "засекречено" (на горе бедному Сереже, подходящему к этому с точки зрения журналистской...). К чему все это приведет – неизвестно...

Переписка Bremond-Blondel, третий том. Всего каких-нибудь сорок лет прошло с тех пор, а впечатление такое, что скрылась под водою целая Атлантида, целая цивилизация, поразительная по своей тонкости. Меня больше всего поражает способность тогдашних людей (Bremond, Blondel, Laberthonniere) свободно подчиняться. Подумать только, что Laberthonniere не писал, замолчал, на протяжении десятилетий! В наши дни все это бушевало бы, протестовало, защищало бы какие-нибудь "права"! Отсюда – отсутствие в наши дни подлинного трагизма, и это значит – настоящей, внутренней победы (определяемой "логикой Креста"). "В борьбе обретишь ты право свое"⁸⁵: это теперь заменило собою: "послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя..." (Флп.2:8.). Сейчас человек думает, что выражает и исполняет себя "гневным воплем", тогда как этот последний, будучи в сущности сродни злу, как раз ничего и не побеждает. Свободен только тот, кто "послушлив": этого совсем не знает, не понимает наше время, несмотря на весь свой пафос свободы. Эпоха бунтующих рабов, сменившая эпоху высокого "послушания" свободных людей.

Письма маме, Андрею и, в связи с ними, воспоминания о Страстной в детстве. Распускающиеся каштаны на Bd. de Courcelles в Париже.

Бремон-Блондель, III, 45: "...в конечном счёте, не впадая в ересь, можно быть вам признательным за то, что вы показали всем, что не обязательно быть глупым и нудным для того, чтобы быть правоверным и благочестивым".

Великая Среда, 30 апреля 1975

Мне как-то очевидно, что после Христа – и это значит: в "цивилизации", Им отмеченной, из христианства так или иначе выросшей, – отношение ко Христу составляет абсолютное внутреннее мерило. Именно поэтому мы можем различать пошлость, мелочность, недоброкачественность *внутри* культуры (и только, пожалуй, внутри *нашей* христианской культуры). "Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не имам да вниду в онь" – вот, в сущности, единственная трагедия *после* Христа, и все то, что ей непричастно, – *пошло* в глубочайшем смысле этого слова, то есть заражено чем-то бесовским. Потому что пошлость – это "аура" дьявола, это противоположно "святыне". Пошлость – явление сугубо "христианское", невозможное, мне кажется, вне христианства. "Отче праведный! И мир Тебя не познал!" (Ин.17:25) – вот единственное "отчаяние" Самого Христа.

Великий Четверг, 1 мая 1975

Вчера утром – разговор по телефону с Солженицыным. Как всегда, слушая его голос, все ему прощаешь – то есть растворяются, исчезают все сомнения, несогласия, недоумения. Он так весь во всем том, что говорит и что делает... Еду к нему на Пасху вечером, а в понедельник – в Labelle...

Вечером – любимая моя утренья со "Странствия владычна...". "И Я вручаю вам Царство...". Снова и снова чувство, что все в мире существует и решается *по отношению* к этому.

⁸⁴ Маша – дочь о.Александра, Ваня – ее муж свящ. Иоанн Ткачук.

⁸⁵ Лозунг русских социал-революционеров (эсеров)

Великая Пятница, 2 мая 1975

Великий Четверг: в его двойном воплощении – "красная" Литургия утром, двенадцать евангелий вечером. Снова и снова, каждый год, воплощение того же дня, абсолютно надвременного в своей сущности. Величайшая, глубочайшая правда традиции – эта возможность, данная нам, погрузиться *опять* в неизменное. И кроме этого погружения, смиренного, благодарного и радостного, от нас *ничего* не требуется.

Чувствую это тем более сильно, что до Литургии – полтора часа исповедей, и очевидность греха, падения, измены как, прежде всего, "отсебятины", нарушения уже явленной, дарованной, "царствующей" и "жительствоющей" жизни своей маленькой рабской "свободой", которая и есть "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская"(1Ин.2:16).

Закон Церкви: отдался тому, что дано, действительно не искать "своего". Ибо в том-то и все дело, что все уже "совершилось", все исполнено и все дано. И единственное назначение Церкви в мире: это "совершенство" и эту "данность" являть и давать нам... Все остальное – "от лукавого"...

Опасность: полюбить Церковь как бы "помимо" Христа. Этой любви больше, чем думают. Но Церковь – это *только* Христос. Его жизнь и Его дар. Искать в Церкви чего-либо кроме Христа (а это значит – опять искать себя и своего) – неизбежно "впасть в прелесть", в извращение и в пределе – в саморазрушение.

Светлый Вторник, 6 мая 1975

Ompha, Ontario!.. В малюсеньком отельчике, в канадской глуши с Солженицыным!.. Все это так нереально, так "словно сон", что не знаю, как записывать. Запишу только голые факты, обо всем остальном потом, когда вернется способность рефлексировать. Приехал в Монреаль на Пасху в 10.30 вечера – после чудных дней пасхальных, Великой Субботы и самой Пасхи. Солженицына застал уже в кровати – сговорились выехать в Labelle в семь утра. Действительно – в семь выехали... Дождь, туман. И как странно ехать с Солженицыным по этой дороге, среди этих гор, сквозь эти города... Он в чудном настроении, бесконечно дружелюбен... Длинный день в Labelle, прогулки. Озеро подо льдом. Ему очень нравится Labelle. После обеда – солнце, синева. Приезд Сережи... Отъезд сегодня в 8.45. Сцена с репортерами. По Route57 – ему страшно нравящейся: "кусочек Франции", – в Оттаву. Чудное, солнечное утро. Разговоры обо всем. Завтрак в Оттаве. Отъезд в три. Блуждание в лесу. Он за рулем. В семь вечера находим эту деревушку в полной глуши. Ужин. Прогулка на озеро. Красный закат...

Его пометки на моей главе о Литургии ("Таинство верных") в 114№ "Вестника".

Светлая Среда, 7 мая 1975

Встали в 6.30. Выехали в семь: изумительным утром, по пустым узким дорогам, мимо озер, лесов. Солженицын восторгается, потом тут же критикует: жидкий лес. Чудное Онтарио. Все-таки не Россия и т.д. Все то же внутреннее метание: с одной стороны – желание устроиться, с другой – нетерпение, все не то, все не Россия... Настроение падает и поднимается, как у ребенка: почему не нашли еще имения? Хочет быть страшно практичным – на деле путаник, все усложняет, все по-своему, все неисполнимые планы. И вдруг все та же улыбка... Дружелюбен, почти нежен...

К 8.30 доехали до городишка Mados, Ontario. Восторг от него С.: все в нем нашел – и традицию, и консерватизм, и правильную жизнь. Все сразу и безоговорочно. Кофе в деревенском "дайнере". Осмотр двух имений. Все страшно быстро... В 12.30 выезжаем в Торонто, куда приезжаем в три.

Свиданье с какой-то старушкой и еще какой-то женщиной ("важное дело, нужно было проверить – не провокаторша ли..."). Для меня – передышка до 4.30. Прочел газету, выпил в греческом joint'e кофе, погулял по шумной, уродливой Queens Street. Все то же чувство приснившегося сна: мы с Солженицыным в Торонто! Вдруг на припеке, среди безличной толпы простых людей, – чувство – мимолетное – невероятного счастья, блаженства, чувство несказанной радости жизни. В 4.30 снова за руль. Оставляем за собой Торонто. На Peterboro и на север – в Bancroft, где и пишу это в отдельной комнате в одиннадцать часов вечера! Он спит в соседней.

Разговоры – о писательстве (генезис "Августа 14-го", "Круга первого" и т.д.). О семье. Об его планах. Сейчас записать все это неспособен.

И весь день – ни одного облачка. Неподвижный, лучезарный, подлинно пасхальный день, весь в вышину и весь как бы отражающийся в бесчисленных озерах... Какое-то стихийное погружение в стихию Солженицына. И с нею вместе – в Божественную стихию жизни жительствовавшей.

Понедельник, 12 мая 1975

Вчера в Syracuse, N.Y., служба, банкет, речь о семинарии и опять – пять часов в автомобиле. Чудовищная усталость от нагруженности всех этих недель – почти подряд: поездка в Европу, Страстная, Солженицын и вот теперь – последнее усилие перед концом учебного года...

Итак, снова четыре дня с Солженицыным, вдвоем, в отрыве от людей. Почти ровно через год после "горной встречи". Эту можно было бы назвать "озерной", столько озер мы видели и "пережили". Постепенно мысли и впечатления приходят в порядок. На днях "на досуге" постараюсь "систематизировать". Сейчас (8.30утра) нужно опять уезжать – в New Jersey на собрание духовенства. Но спрашиваю себя – если бы все выразить формулой, то как? Думаю, что на этот раз сильнее, острее ощутил коренное различие между нами, различие между "сокровищами", владеющими сердцем ("где сокровище ваше..." (Мф.6:21)). Его сокровище – Россия и только Россия, мое – Церковь. Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае, – нет. И все же остается эта "отчужденность ценностей".

Продолжаю после обеда. Какой же все-таки остается "образ" от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна?

Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности – несомненно. Из него действительно исходит сила ("мана"). Когда вспоминаешь, что и сколько он написал и в каких условиях, снова и снова поражаешься. Но (вот начинается "но") – за эти дни меня поразили:

1) Некий примитивизм сознания. Это касается одинаково людей, событий, вида на природу и т.д. В сущности он не чувствует никаких оттенков, никакой ни в чем сложности.

2) Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживаться в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к ним.

3) Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив, первый подход: недоверие, подозрительность, истолкование с дурной стороны.

4) Невероятная самоуверенность, непогрешимость.

5) Невероятная скрытность.

Я мог бы продолжать, но не буду. Для меня несомненно, что ни один из этих – для меня очень чувствительных – недостатков не противоречит обязательно "величию", литературному гению, что "качества" (даже чисто человеческие) могут быть в художественном творчестве, что писатель в жизни совсем не обязательно соответствует писателю в творчестве. Что напротив – одной из причин, одним из двигателей творчества и бывает как раз напряженное противоречие между жизнью и тем, что писатель творит. Меня волнует, тревожит, страшит не трудность его в жизни, не особенности его личности, а тот "последний замысел", на который он весь, целиком направлен и которому он действительно служит "без остатка".

В эти дни с ним у меня все время было чувство, что я "старший", имею дело с ребенком, капризным и даже избалованным, которому все равно "всего не объяснишь" и потому лучше уступить ("ты старший, ты уступи...") во имя мира, согласия и с надеждой – "подрастет – поймет...". Чувство, что я – ученик старшего класса, имеющий дело с учеником младшего класса, для которого нужно все упрощать, с которым нужно говорить "на его уровне".

Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некая соборная личность, некое живое целое ("весь герой моих романов – Россия..."). У нее было свое "выражение", с которого ее сбил Петр Великий. Существует некий "русский дух", неизменный и лучше всего воплощенный в старообрядчестве. Насколько можно понять, дух этот определен в равной мере неким постоянным, прямым общением с природой (в отличие от западного, технического овладения ею) и христианством. Тут больше толстовства, чем славянофильства, ибо никакой "миссии", никакого особого "призвания" у России нет – кроме того разве, чтобы быть собой (это может быть уроком Западу, стремящемуся к "росту", развитию и технике). Есть, следовательно, *идеальная* Россия, которой все русские призваны служить... "Да тихое и безмолвное житие поживем". По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к "другому" – к Западу, например, – является соблазном. Это не нужно, это "роскошь". Каждый народ ("нация") живет в себе, не вмешиваясь в дела и "призвания" других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же сам глубоко болен. Но, главное, *чужд*, чужд безнадежно, онтологически, Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это ее расплата за интерес к Западу и утерю "русского духа". Ее исцеление в возвращении к двум китам "русского духа" – к природе как "среде" и к христианству, понимаемому как основа личной и общественной нравственности ("раскаяние и самоограничение"). На пути этого исцеления главное препятствие – "образованщина", то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо поработанная Западу и, что еще хуже, "еврейству". Наконец, роль его – Солженицына – восстановить правду о России, раскрыть ее самой России и тем самым вернуть Россию на ее изначальный путь. Отсюда напряженная борьба с двумя кровными врагами России – марксизмом (квинтэссенция Запада) и "образованщиной".

Отсюда "дихотомия" Солженицына: "органичность" против всякого "распада", а также против техники и технологии. Не столько "добро" и "зло", сколько "здоровое" и "больное", "простое" и "сложное" и т.д. Петербургская Россия плоха своей сложностью, утонченностью, отрывом от "природы" и "народа".

В эту схему, однако, не вмещаются, ей как бы чужды: утверждение какого-то "внутреннего развития" (взамен внешнего – политического, экономического и т.д.), таким образом – некий пиетет по отношению к "культуре" и, что гораздо важнее, утверждение христианства как единospасающей силы. Меня поразили его примечания к моей статье "Таинство верных": "Это для меня совершенно новый подход..." Тут он сам еще, следовательно, в *искании*

Из запомнившихся разговоров:

– нелюбовь к Тургеневу (о других писателях не говорили, о чем теперь жалею: так хотелось узнать об его отношении к Достоевскому и Толстому);

– "я сейчас Америку наказываю...";

– Израиль сейчас наш союзник. Насколько нужно бороться с "еврейским" духом нашей интеллигенции, настолько же важно поддержать Израиль;

– страшно понравилась Франция. Никогда не думал, что это такая пустая (в смысле – безлюдная) и тихая страна и всюду в ней хорошо;

– "платоновщина" (синоним неправильного, ложного подхода к России – Андрей Платонов);

– про отдельных людей в России: "Это мои, те не мои...";

– в свободной России я буду в стороне от дел, но руководить ими "направляющими статьями". В этом – то есть в призвании руководить и направлять – ни малейшего сомнения;

– семья, дети не должны мешать. "Что это вы все женам звоните?";

– с эмиграцией – каши не сварить;

– Николая Второй – преступник (отречение). "Ну да, его расстреляли, но разве его одного расстреляли?";

– Солидаристы – "провинциальны";

– нужно крепить "Вестник" (я его укрепил финансово...);

– план русского университета в Канаде – до слез наивно: "агрономы" и вообще всякие деятели для будущей России... Париж 20-х годов!..

Вторник, 13 мая 1975

Усталость. Желание – лишь бы дотянуть до конца учебного года, а эти полторы недели до конца кажутся бесконечными. Сколько еще заседаний! Споров, церемоний, ответственности. "Покоя сердце просит".

Великое утешение – дрящаяся Пасха в церкви...

8.20 утра: "il faut tenter de vivre" – лекции, заседания, малый синод, и так – до вечера...

Среда, 14 мая 1975

Весь день вчера – заседания ("внешние сношения", малый синод, правление...). Эмпирия церковной жизни, все ее мелочи, дразги, трудности. Пишу это безо всякого "уныния", ибо мне давным-давно стало ясно, что человечность Церкви – меньший соблазн, чем "псевдодуховность", чем все попытки развоплотить ее. Вот именно этим бесконечным трением друг о друга, как камешки у берега, этим смирением перед буднями, этим приятием повседневности и тяжелой работой в конце концов сохраняется Церковь в истории, и подлинная церковность состоит в том, чтобы не соблазниться о ней. "И блажен иже не соблазнится о Мне" (Мф.11:6).

Вечером ужинают у нас владыка Сильвестр и С. Трубецкой. Сильвестр еще весь полон своей "солженицынской" авантюрой в Монреале.

Сегодня за утреней – опять как бы "укол" счастья, полноты жизни и одновременно мысль: "И нужно будет умирать". Но поразительно то, что в этом, таком мимолетном, дуновении счастья неизменно "собирается время", то есть одновременно не то что вспоминаются, а присутствуют, живут все такие "дуновения" – та Великая Суббота на Clichy и множество таких же "прорывов". Не означает ли это, что "вечность" – не прекращение времени, а как раз его воскресение и собирание, что "время" – это фрагментация, дробление, падение "вечности" и что к нему тоже, и, может быть, прежде всего, относятся слова Христа: "чтобы ничего не погубить, но все воскресить в последний день" (Ин.6:39). В каком-то смысле это и есть воскресение "плоти".

Правда Пруста: искусство призвано к восстановлению времени. Трагический тупик Пруста: совершая это, искусство свидетельствует о Боге, о возможном "прорыве". А у него нет этого прорыва и воскрешенное искусством потерянное время есть свидетельство о смерти и пропитано тлением. Нету этого удивительного бунинского прозрения:

*"Как будто все, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья..."*

Жажда одиночества, тишины, свободы – это и есть жажда "освободить" время от загромаждающих его мертвых тел, сделать его тем, чем оно должно быть, – вместилищем, чашей вечности. Литургия: претворение времени, наполнение его до конца вечностью. Несовместимость двух "духовностей": той, что стремится к освобождению от времени (буддизм и всяческая ориентальщина – индуизм, нирвана и т.д.), и той, что хочет освободить время. Пафос неподвижность. Но в "подлинной" вечности все *живет*. Предел и полнота: в каждом моменте *все* время и *вся* жизнь... Но тут вечная проблема: а "злые" моменты? "Злое" время? Предсмертный страшный ужас тонущего, убиваемого, летящего с десятого этажа, чтобы через секунду разбиться о мостовую? "Слезинка" мучимого ребенка?

Четверг, 15 мая 1975

После обеда вчера, вернувшись из семинарии, пытался засесть за работу, кончить статью "Об общении в таинствах" для "Вестника". Полная невозможность. Перечитал и эту статью, и "Иерархию ценностей", и переднюю главу из Литургии ("Таинство приношения") и ощутил полную неспособность работать. Это знакомое чувство, когда все кажется ненужным, поверхностным, когда нет внутренней убежденности в том, что пишешь, и в самой нужде писать. Чувство – а для чего? Когда сразу видны все возможные возражения и невозможность все равно по-настоящему сказать то, что хочешь ("мысль изреченная есть ложь"). Всегда в такие минуты поражаюсь людям, которые пишут себе и пишут, "ничтоже сумняшеся". Это бессилие у меня происходит, кроме всего прочего, из внутреннего убеждения, что последняя правда по любому вопросу, в конечном итоге, состоит в совпадении противоположностей ... Эфемерность "статеек". Вот кончил вчера третий том переписки Bremond-Blondel. Какие бури! Споры, волнения – и что от всего этого осталось? Подстрочные примечания каких-то "бремондистов"... Все – разрозненные части, но тогда нужно писать так, чтобы каждый "фрагмент" светился отражением "целого", а это-то и составляет трудность, перед которой опускаются руки...

Пятница, 16 мая 1975

Вечером ужин со студентами в семинарии, а потом два часа по TV старый, когда-то очень мне понравившийся детективный фильм. На письменный стол даже не смотрю и ложусь спать такой усталый, как если бы весь день колол дрова...

Кончилась уже короткая нью-йоркская весна – все распустилось, все заполнилось "luxuriant"-ной зеленью, и, в сущности, наступило мокрое и душное лето.

Понедельник, 19 мая 1975

Все та же занятость, та же суета. В субботу посвящение в диаконы Сережи Бутенева. Действительно светлое и радостное торжество – и он сам, такой простой, серьезный, светлый, сосредоточенный... Потом прием у Бутеневых, всеми так очевидно ощущаемый свет этого дня. "Слава" у Кесича. Всенощная.

Вчера, в воскресенье, длинная поездка с Л. сначала в Wappingers к дочери Ане (где мы наслаждаемся маленькой Александрой), потом – маленькими дорогами, наперекос – в Kent. Солнечный весенний вечер, красота цветущих деревьев, цветов, совсем еще молодой – "сквозящей" – зелени... Длинный разговор с Л. о Солженицыне, о Виноградовых, об его мечте "русской общины". Как ни переворачиваю все это в своем сознании, вся эта мечта продолжает казаться мне "ложной", ненужной. Это подчинение творчества "русской жизни", искусственно насаждаемой, я ощущаю как какой-то порок в солженицынском мироощущении. Рассказ об его ответе кому-то в Монреале: "Вам нравится наша Канада?" – "Мне нравится *только* Россия..." Вот это "только" и есть ограниченность, "червоточина" солженицынского величия, его отрицание, пожалуй, лучшего в России – ее "всемирности", ее – "нам внятно все...". А теперь на страницах "Вестника" ему вторит Вейдле (по поводу "Глыб") – "*только* в Россию можно верить...". Мое внутреннее отталкивание от всех этих *только*. Противоречие: если каждому свойственно жить *только* своим, то не за что бранить Запад в его равнодушии к русской трагедии... Говорят (Никита): "Да, но он – С. – *почвенен, народен...*" Что же, тем хуже для него, ибо от "почвы" и от "народа" как таковых – свету не воссиять...

Последняя неделя семинарии – начинаю ее, как страшное усилие и бремя...

Вторник, 20 мая 1975

Вот она – тяжелая, сырая нью-йоркская жара. Почти весь день за чтением кандидатских сочинений, часовая запись на ленту – для греческого священника – мыслей о "духовном возрождении", диктовка Ане и т.д. Но хотя бы чувство такое, что "взял быка за рога", начал ликвидацию бременем на совести лежавшей кипы дел.

Сегодня рано утром моя последняя утренняя этого учебного года: двадцать четвертого в семинарии! Еще год, и будет четверть столетия в Америке... Думал вчера по пути из Патерсона – не пора ли подводить итоги, уступать место молодым (как этого "требует" Солженицын)?

Вся культура и все в культуре – в конце концов – о Царствии Божиим, за или против. Ибо культура состоит из "реализаций" сокровищ сердца ("где сокровище ваше..."). Только "секулярист" выпадает из культуры, и с секуляризма начинается ее распад. И еще неизвестно – что хуже и страшнее: секуляризм религиозный или безбожный... Один приводит к другому, порождает другой. Религиозный секуляризм – это отрицание мира как таинства, это превращение Бога в идола. Но идолопоклонство всегда политеистично. Если Бог – идол, то и все остальное постепенно становится идолопоклонством. В том-то и все дело, однако, что Бог не "идол", а полнота наполняющего все во всем, жизни Податель и Сокровище благих, что "трансцендентное" – не нечто "в себе", а метафизическая основа, корень и цель всего сущего. Секуляризм состоит в отрицании не Бога (напротив, он целиком идолопоклоннический), а твари. И борьба с ним состоит не в проповеди "религии" (которая при секуляризме сама становится идолопоклонством, даже когда она облечена в христианские одежды), а в раскрытии "твари" как творения. Современная "апокалиптика", современная "духовность" – лучшая услуга секуляризму... "Всю тварь хочу радости исполнити".

Среда, 21 мая 1975

Чудовищное количество книг, прочитанных мною либо более или менее случайно, или по необходимости (в школе, для лекций, для книг как "материал" и т.д.), или же просто для развлечения и "баланса".

В русской литературе: 1) Толстой, причем читал и перечитывал всегда с наслаждением, во-первых, "Анну Каренину" и, во-вторых, "Войну и мир". Остальное не перечитывал. 2) Достоевского прочел, но за исключением "Братьев Карамазовых" не перечитывал, не тянуло никогда. 3) Чехова могу и хочется перечитывать почти всегда. 4) Тургенева – кое-что перечитал, но с ленцой и случайно. 5) Пушкина – перечитывал, особенно "Капитанскую дочку" и "Повести Белкина". 6) Гоголя – перечитываю всегда с новым наслаждением. 7) Набокова тоже (ради именно почти физического наслаждения). 8) Бунина и т.д. Лермонтов, Розанов, поэты – почти все (не люблю Гумилева и всех "народников", все отдающее "люли, люли...").

Во французской литературе: Мориак, Жюльен Грин, Жид, Пруст.

Английскую и немецкую не знаю совсем.

Ужасно люблю биографии, дневники (Paul Leautaud).

Вот и весь мой "багаж", в сущности.

"Психоанализируя" себя в этой плоскости, прихожу к следующим выводам:

Я не люблю "идейной" литературы: философии, богословия и т.д. Не люблю потому, думаю, что ощущаю ее ненужной мне, моему видению жизни и религиозному опыту. Идеям и идеологиям предпочитаю конкретное, живое, единичное. Так, всю жизнь читал о французских модернистах, но интересуют меня они как люди, а не их идеи. Что означало для Loisy, с его идеями, служение мессы? Ношение сутаны? Убеждение, что никакие "общие идеи" не объясняют реальности и потому, в сущности, не нужны...

Воскресенье, 25 мая 1975

Вчера: выпускной акт, окончание учебного года (двадцать четвертого в семинарии, тридцатого, считая шесть лет в Богословском институте!). Все эти дни – суматоха, без передышки и, наконец... все прошло хорошо. Очень радостная Литургия вчера, с владыкой Сильвестром. Посвящение в диаконы одного студента. Жара. Солнце. Церемонии сошли благополучно... Еще три недели и – в Labelle! Страстное желание не столько отдыха, сколько – именно работы (мечта закончить летом книгу о Евхаристии).

Вторник, 27 мая 1975

В Тихоновском монастыре вчера на Memorial Day. Поездка рано утром, в одиночестве, по очень любимой мной дороге. В монастыре обычная толпа. Проповедовал о патриархе Тихоне. На обратном пути – страшные заторы на дорогах.

Письмо сегодня от Никиты Струве. "А.И. нужен Европе, и ему нужна Европа... где идет духовная борьба". Насчет последнего пункта – не знаю (где там борьба?). А насчет того, что Никита называет "реставрационно-пасторальными" планами, согласен.

Семинария кончилась, но все тот же "завал дел". Солнце, жара, желание отдыха и безработности.

Среда, 28 мая 1975

Преполовление. Ранняя Литургия. Чудный солнечный день.

Ровно год тому назад я сегодня вечером улетал в Цюрих на "горную встречу" с А.И.

Пишу это перед уходом на заседание Православного богословского общества. С тоской и скукой. Все очевиднее становится тщета такого рода обществ и деятельности. Если у человека есть что сказать, он скажет это лучше без всяких "обсуждений". Если нет – то все равно ничего нужного и важного не скажет. Творчество возможно только в одиночестве, а мы живем в эпоху ужасающей болтовни, в том числе и религиозной. Как хорошо сказано, "молчание – тайна будущего века..."

Четверг, 29 мая 1975

Опять день, который страшно начинать из-за наполняющих его забот – богословское общество, потом лекция, потом финансовые заседания с В. и снова общество, и так – до вечера. Счастливы люди, умеющие "себя поставить". Что до меня, то я живу в настоящей паутине – обещанных звонков, встреч, разговоров, да еще окруженный безостановочными обидами. Все это где-то камнем лежит на сознании. И просыпаешься уже от всего этого с отвращением...

Вчера после такого дня – "вырвались" с Сережей, Ваней и Машей в Нью-Йорк. В лучах заката город выглядит потрясающе. Ужин в уютном армянском ресторане Dardanelles.

Пятница, 30 мая 1975

Поездка в Шарраqua, лекция группе священников. Удовольствие, как всегда, от поездки, от одиночества, от солнца.

С утра сегодня – один за другим – студенты со своими проблемами... как у дантиста. Все это приводит в такое состояние, что, когда наконец освобождаешься, как вот сейчас, – уже не знаешь, что делать и за что браться...

Суббота, 31 мая 1975

Сегодня утром длинный разговор с Л. о Солженицыне. Попытка уяснить, чем была бы моя "третья" статья о Солженицыне, теперь уже с учетом опыта, вынесенного из личных встреч с ним.

Первые две ("О Солженицыне" и "Зрячая любовь") заключали в себе определенное *чтение* солженицынского мировоззрения, основной направленности и также и вдохновения солженицынского творчества. Основное утверждение: христианский писатель (триединая интуиция сотворенности, падшести, возрожденности), русский писатель (обращенность к России – "зрячей любовью", и это значит – правдой, ниспровержением мифов) и, наконец, в "Архипелаге", пророческий разрушитель "идеологизма" как основоположного идола и, значит, *зла* современного мира.

Вопрос: остается ли все это в силе в свете "опыта" после годичного общения с ним? Было ли это "чтение" ошибкой?

Прежде всего, для меня несомненно, что если в целом мое первое "чтение" остается верным – по отношению к последней глубине солженицынского творчества, то внутри этого "целого" лежат непереваженными "опухолями" довольно-таки страшные соблазны, так что вопрос может быть поставлен так: что возобладает в Солженицыне – та "глубина", что и вызвала восхищение и внутреннее согласие и сделала его чем-то очень "судьбоносным" как в духовной истории России, так и в мире

вообще, или же "соблазны", глубину эту, именно как рак, разлагающие и "метастазирующие"? Это, еще раз, столкновение творца, "пророка" с очень сильной, очень яркой личностью, которой именно из-за ее силы и яркости оказывается невыносимым "дар тайнослышанья тяжелый".

Ясно, что человек-Солженицын и Солженицын-творец не только не в ладу друг с другом, но второй просто опасен для первого. Мне кажется, что до сего времени "человек" смирялся перед "творцом", находил в себе силы для этого смирения, которое одно и делает возможным "пророчество". Но мне также кажется, что сейчас творчество С. на перепутье, и именно потому, что в нем все очевиднее проступает "человек" со своими соблазнами. Я так воспринял уже "Теленка" и многое в "Из-под глыб". Что-то здесь уже не "перегорает", не претворяется, не отделяется от творца и потому не становится "ценностью в себе".

Поэтому так важно, я убежден, разобраться в "соблазнах", определить опухоли.

Первая и, наверное, самая важная из них – это его отношение к России, качество его "национализма". Это не "мессианизм" Достоевского ("призвание России"), увенчивающий всю русскую диалектику 19-го века. Это не народничество Толстого, хотя "толстовство" Солженицыну ближе, чем Достоевский с его метафизикой. И у Достоевского, и у Толстого их "национализм" имеет какое-то религиозное и, следовательно, "универсальное" значение, они его так или иначе оправдывают по отношению к тому, что считают высшей истиной или правдой: мессианское призвание России в истории у Достоевского, "правда жизни" у Толстого и т.д. У Солженицына все эти "ценности" заменяются одной: русскостью. Эта русскость не есть синтез, сочетание, сложный сплав всех аспектов и всех "ценностей", созданных, выношенных в России и, даже при своем противоречии, составляющих "Россию". Напротив, сами все эти ценности оцениваются по отношению к "русскости". Так отвергаются во имя ее – Пастернак, Тургенев, Чехов, Мандельштам, Петербург, не говоря уже о всей современности: Платонов, например, и т.д. Цель, задача Солженицына, по его словам, – восстановить историческую память русского народа. Но, парадоксальным образом, эта историческая задача ("Хочу, – говорит он мне в Париже, – написать русскую революцию так, как описал 12-й год Толстой, чтоб моя правда о ней была окончательной...") исходит из какого-то радикального антиисторизма и также упирается в него. Символ здесь: влюбленность – иначе не назовешь – в старообрядчество. При этом теоретическая суть спора между старообрядцами и Никоном его не занимает. Старообрядчество есть одновременно и символ, и воплощение "русскости" в ее, как раз, неизменности. Пафос старообрядчества в отрицании перемены, то есть "истории", и именно этот пафос и пленяет Солженицына. Нравственное содержание, ценность, критерий этой "русскости" Солженицына не интересует. Для него важным и решающим оказывается то, что, начиная с Петра, нарастает в России измена русскости – достигающая своего апогея в большевизме. Спасение России – в возврате к русскости, ради чего нужно и отгородиться от Запада, и отречься от "имперскости" русской истории и русской культуры, от "нам внятно все...". В чем же тут соблазн? В том, что С. совсем не ощущает старообрядчества как тупика и кризиса русского сознания, как национального соблазна, а Петра, скажем, как – при всех его трагических недостатках – спасителя России от этого тупика. "Русскость" как самозамыкание в жизни только собою и своим – то есть, в итоге, самоудушение... В примате национального над личным. В "ипостазировании" России в одном из ее "воплощений". В антиисторизме, отрицающем возможность развития самого "национального", оказывающегося какой-то сверхвременной "данностью".

Вторая "опухоль" – все возрастающий, как мне кажется, идеологизм Солженицына. Для меня – потрясающей и глубочайшей правдой "Архипелага" было (и остается) обличение и изобличение идеологизма как основного, дьявольского зла современного мира. Марксизм есть, в этом смысле, завершение всех идеологий, идеологии как таковой, ибо всякая идеология отрицает свободу, личность,

всякая приносит человека в жертву утопии, истине, оторвавшейся от жизни. Идеология – это христианство, оторвавшееся от Христа, и потому она возникла и царствует именно в "христианском мире". "Пророк" в С. показал, явил это с окончательной силой. Человек в нем все больше и больше "идеологизируется". Идеология – это отрицание настоящего во имя будущего, это "инструментализация" человека (какова польза его для моего или нашего дела). Это переход с "соборования" на полемику. Это – определение от обратного, от отталкивания. Это решетка отвлеченных истин, наброшенная на мир и на жизнь и делающая невозможным *общение*, ибо все становится тактикой и стратегией. "Идеологизм" Солженицына – это торжество в нем "борца", каковым он является как "человек" (в отличие от творца). Это ленинское начало в нем: разрыв, окрик, использование людей. Это – "средство", отделенное от "цели" (в отличие от Христа, снимающего как страшную сущность демонизма различие "средства" и "цели", ибо во Христе – цель, то есть Царство Божие, раскрывается в "средстве": Он Сам, Его жизнь...). Солженицыну, как Ленину, нужна в сущности *партия*, то есть коллектив, безоговорочно подчиненный его руководству и лично ему лояльный... Ленин всю жизнь "рвет связи", лишь бы не быть отождествленным с чем-либо чуждым его цели и его средствам. Лояльность достигается устрашением, опасностью быть отлученным от "дела" и его вождя. И это не "личное", не для себя, только для дела, только для абсолютной истины цели...

Третья "опухоль" – в области религиозного сознания. Творец приемлет "триединую интуицию" (Творение – Падение – Спасение). Человек сопротивляется ей, сопротивляется, в сущности, Христу. Ему легче с Богом, чем с Христом. К Богу можно так или иначе возвести наши "ценности", Христос требует их "переоценки". Всякая иерархия ценностей может быть "санкционирована" упоминанием Бога, только одна – абсолютно отличная от всех – возможна со Христом. Религия Бога, религия вообще может даже питать *гордость* и *гордыню* ("Мы русские, с нами Бог"). Религия Христа и Бога, в Нем открытого, несовместима с гордыней. С Богом можно все "оправдать", во Христе – то, что не умрет, не оживет (1Кор.15:36. Ин.12:24). Все христианство: "Если любите Меня, заповеди Мои соблюдете... (Ин.14:21)". И дальше: "Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге..." (Кол.3:3)

Среда, 11 июня 1975

Отдание Пасхи. Чудная обедня в солнечной церкви.

Сегодня в журнале Newsweek заметка о том, что "по слухам" Солженицын поступает в монастырь!

Просто не верится, что завтра мы уезжаем в Labelle!

Labelle, вторник, 17 июня 1975

Уже пятый день в Labelle. В четверг Вознесения выехали из Crestwood'a. Почти всю дорогу под дождем. Ночевали у Ткачуков в Монреале. В Labelle приехали около 11.30 ночи. В субботу убрали дом, я приводил в порядок церковь. В воскресенье – обедня, пять человек. Днем – страшнейшая гроза. Вчера полдня за покупками. Только к вечеру все вошло в норму. Гуляли на закате по дороге, в чудном освещении: первая "встреча" с Labelle...

Со вчерашнего дня засел за работу.

Разговор вчера с Л. о Православии, почему оно – истина. Потому что в нем не предано ни одно из основных "измерений" творения: ни *мир* (космос), ни *человек* в его единственности (антропология), ни *история*, ни *эсхатология*. Все сходится в целом, но так, что не повреждена ни одна из частей. В

Православии не меньше отступничества и измен, чем в католичестве и протестантизме, но ни одна из них не "догматизирована", не провозглашена истиной.

Понедельник, 23 июня 1975

Один за другим – лучезарные дни, как написал бы Andre Gide. Но сегодня – уже почти невыносимая жара. На прошлое неделе – в среду и четверг – в Нью-Йорке, в суматохе заседаний, встреч, трепки нервов.

Пятидесятницу отпраздновали хорошо и солнечно...

Страшное желание засесть за работу: только что подсчитал, что на программе (летней) у меня не больше и не меньше, чем девять заседаний!

Воскресенье, 29 июня 1975

Целая неделя солнца, жары, света, блаженства! Кончил главы для юбилейной книги ОСА (о времени митрополита Леонтия, о начале Ириней), теперь с радостью засел за "Евхаристию". Сегодня воскресенье всех святых. Обедня и длинное кофепитие на веранде Апраксиных. Потом – на веслах – через озеро с Л. Озеро – прекраснее, чем когда бы то ни было...

Среда, 9 июля 1975

Дни за днями – все то же солнце, то же счастье от озера, гор, зелени, света... Записывать, собственно, нечего. Утром – до двенадцати – работа, не сегодня-завтра кончу главу о приношении (третий draft!). После обеда длинные прогулки с Л., каждый день новая, и безостановочное наслаждение. Вечером почти всегда "что-то" у "кого-то": Трубецкие, Апраксины, Мортон, Мейендорфы...

Правда, совесть почти всегда скребет что-то недоделанное: неотвеченные письма и т.д. Но это стало уже привычным состоянием. Но лета такого как будто никогда еще не было!

Воскресенье, 13 июля 1975

Письмо от владыки Александра (Семенова-Тянь-Шанского) от 3.VII.75:

"Дорогой о. Александр! Это письмо будет длинным. Ваш брат только на днях принес мне Вашу книгу "Of Water and Spirit". Может быть, напишу о ней для *Вестника*, а пока что хочу Вам сказать, что я давно так не просто читал, а всем нутром переживал и переживаю эту книгу. Начал со Spirit, а Water еще буду понемногу читать. Читая, прежде всего представил Вас как некое целое – духовно. *Понял*, что с ранних Ваших лет Вы переживали антиномию отвержения и приятия мира, антиномию, которую Вы так и оставили как антиномию. Я также, может быть, уже долго, если не с юности, это переживаю. Вот почему Ваша книга так уязвила меня. Беда, да это все же не беда, в том, что очень трудно, а может быть и невозможно, до конца разделить мир падший, отверженный и мир принимаемый, благословляемый. Одновременно с Вашей книгой читаю Исаака Сирина – очередную аскетическую книгу (какую-либо из таких книг по очереди читаю постоянно и думаю: это и надо всем отрывками читать как часть молитвенного правила). Вот одновременное чтение этих двух книг еще больше обострило антиномию. У Вас проблема особенно обострена там, где Вы говорите о sex'e. Это, конечно, особенно задевает меня, так как здесь я знал и всю озаренную светом высоту, и, к сожалению, и темную сторону. В общем от Вашей книги, в которой указанная антиномия обнаруживает, что она есть действительно нечто важное для Вас, остается впечатление, что какая-то боль, вероятно, у Вас не

изжита, есть она и у меня. Так легко, отсекая недолжное, задеть и прекрасное, и, наоборот, прославляя мир Божий, прекрасный, прихватить и прославить недолжное...

У меня это всегда может случиться, так как я не только монах (полуфиктивный, ибо не жил в монастыре), но все же и поэт, и художник. "Отцы-пустынники" иногда (так кажется) отсекают слишком многое, а мы многие, и, пожалуй, частично и Вы (уже вряд ли сейчас), как будто склонялись к принятию больше, чем нужно. Было время, в других книгах казалось, Вы несколько больше, чем нужно отталкивались от многого монашеского. В новой книге... Вы, может быть, и приблизились к золотой середине, которая все же остается антиномией, что для нас, тварных существ, драматично.

Но этот явленный Вами драматизм и есть то, что делает Вашу книгу живой, в конце концов прекрасной. Некоторые ее страницы восхищают, то есть возносят. А почему слова могут возносить? Потому что само Воплощенное Слово вознеслось на небо, чтобы и нас возносить.

Все, что пишу, хотя и конкретно, но недостаточно конкретно. Как я понимаю Ваше желание, жажду оживить литургическую жизнь! Конечно, эта жизнь и есть жизнь настоящая...

...я привык хвалить Ваши книги, а эту хвалить не хочется, потому что переживаю ее внутри себя. Она стала частью моего духовного содержания или выразила многое, что во мне было всегда, и, конечно, лучшего, но и драматического..."

Письмо от *Никиты Струве* (8.VII.75):

"Спасибо за обстоятельное письмо. Что же, эмпирический облик А.И., вероятно, не раз заставит нас страдать и недоумевать. После декабрьского визита я ведь тогда вроде как бы заболел от его непонимания ситуации в целом и обостренного его страха быть "использованным". В этом отношении с ним нужно быть сугубо осторожным. Тяжка его манера писать "неприятные" письма. Такие письма я получал, а особенно – телефонные звонки..."

Его непонимание сути карловчан меня огорчает. Я думаю, нам нужно продолжать его медленно, но упорно просвещать – прямо или через *Вестник*, который он читает. Что людей он часто не понимает, вернее, ошибается в них, я тоже неоднократно замечал. Но что он "мечется", мне понятно: увы, выкорчевать такую глыбу из почвы не могло остаться без последствий. Вот он и ищет, где "найти почву", и мечется... За него страшно, ему бы теперь где-то осесть и опять засесть за писание, там, "где он неуязвим". Ведь он в путешествии с апреля месяца, не понимаю, как он выдерживает... И все же он – у России единственный, и рядом с ним от Шрагина до Максимова все – пигмеи...

Очень радуюсь Вашему пристрастию к *Вестнику* и жду продолжения Литургии... Благодаря, в частности, Вам, А.И., нашим московским друзьям, *Вестник* как будто действительно приобрел некое значение... Только что приехавший один Мишин друг из Москвы, К.Великанов, очень милый молодой математик и церковник, подтвердил, что *Вестник* читают не только церковные круги, но и шире вся демократическая интеллигенция и он как бы выполняет миссионерскую функцию..."

Понедельник, 14 июля 1975

Кончил в пятницу свою главу "Евхаристии" о *приношении*. Как всегда, при переписывании и перечитывании – кажется "не тем"... Теперь пускай рукопись поспит в ящике.

В субботу 12-го храмовый праздник в Монреале. Архиерейская служба, "трапеза", чудный хор... С детства люблю храмовые праздники. Еще думал во время Литургии: что в жизни давало мне самую чистую радость – косые лучи солнца в церкви во время богослужения.

С сегодняшнего дня засел за сборник своих статей. Перечитывал, выбирал.

Послезавтра – приезд Андрея.

В Монреале накупил книг. Читаю (в связи с размышлениями о "правом" и "левом") "Зерно и солома" Франсуа Миттерана. Хотел проверить, пересмотреть свою, как мне казалось, "правую" нелюбовь к его "левизне". Нет, не нравится и не убеждает, хотя и несомненная "личная искренность". Но в книге и искренность кажется пронизанной насквозь расчетом.

Понедельник, 21 июля 1975

Для памяти:

В среду 16-го: солнечное, жаркое утро, наполненное ожиданием Андрея. Как я люблю эти счастливые *ожидания*, эту наполненность времени приближающимся. Смотрим из здания аэропорта, как садится его аэроплан. Радость свидания. Радость – с тех пор – его присутствия, его поразительной доброты, такта и тоже его очевидной радости быть с нами...

Вчера: храмовый праздник, с обычной суетой, но хорошей и радостной. Обедня в тесном алтаре с архиереем, крестный ход, общая трапеза. Вечером – очень удачный ужин вшестером с владыкой Сильвестром и Трубецкими.

Сегодня, после недели перерыва, засел о статью о Hartford'e (к 1 августа).

Солнце. Счастье.

Среда, 23 июля 1975

Чудные дни с Андреем. И все то же изумительное, в солнце и свете "плавающее" лето.

Смешно, но в сущности – всегда тот же единственный вопрос: *что* нужно?

Суббота, 26 июля 1975

"Северный день": ослепительно ясный, ветреный, весь – изнутри – праздничный. Один из тех дней, когда от этой красоты, от этого солнца, света, блеска делается почти больно: "о чем это?" и "как этим пользоваться?".

А. и Л. уехали за покупками в соседний город. Я один, несколько часов тишины. Все эти дни – чудные прогулки втроем, но работать не успеваю, и это создает фон некоторого недовольства собой. Очень веселые ужины – вчера с Трубецкими, позавчера – с Мейендорфами и т.д. Веселье, радость Андрея, так очевидно наслаждающегося всем этим.

Сегодня ночью – странный, мучительный сон о Солженицыне. В этом сне С. совсем другой, поверхностный, властный. И почему-то – попытка В.Рудинского(!) убить нас обоих...

Чтение "Воображаемые пространства" Клода Мориака. С одной стороны, раздражает этот французский эгоцентризм, придавание мирового значения разговорам в парижских барах и салонах. С другой – подлинность этой сосредоточенности на внутренней жизни: одной, неповторимой у каждого человека, этой попытки – всегда! – вернуть время, зафиксировать счастье, этой печали о текучести, об уходе всего...

Воскресенье, 10 августа 1975

Все эти дни грусть об отъезде Андрея (в прошлое воскресенье, 3-го). Поездка втроем в Нью-Йорк чудовищной, неслыханной жарой. Прогулка по раскаленному, расплавленному Нью-Йорку. Прощанье в аэропорту Kennedy. Потом после трех очень занятых дней в семинарии – возвращение вдвоем сюда. Дождь. Поломка автомобиля. Ночевка в Saratoga. Вечером – прогулка по этому городу.

Тут все то же солнце, тот же свет и жара. Освещенные солнцем белые березы на фоне синего-синего озера. Дети... Все время в какой-то "лирической волне", в светлой печали, точно в созерцании всего того, "что было и прошло...". И не уходит, а живет, наполняя сердце все более и более блаженной тяжестью...

Все это сегодня утром пережил особенно сильно, идя в церковь, а потом – исповедуя на воздухе, за алтарем с этим удивительным видом на озеро, леса, холмы. Август – "как желтое пламя"... Прочел Жан-Франсуа Кана "Каждому свой черед", продолжаю Claude Mauriac'a, удивляясь "созвучности".

Перечитал вчера, по фотокопии, главу "Таинство приношения". Совсем не знаю, совсем, совсем – хорошо ли это или же плохо, нужно или не нужно. Одно знаю – это то, что я чувствую и думаю. Простая, по-своему освобождающая мысль: если то, что я чувствую и думаю, не нужно, или же уже давно всем известно, или слабо, поверхностно – ну что ж, тогда все это писание канет в небытие, и дело с концом. Писать, однако, стоит только свое....

Желание вернуться к "Иерархии ценностей": это, в сущности, внутренний диалог с Солженицыным, да и с другими... Если каждое воскресенье лежит на моей ладони причастие жизни вечной, то рассуждать о проблемах, о России, о чем угодно так, как если бы этого не было, невозможно, или же тогда с нашей верой произошло что-то чудовищное.

Все это лето: "царство радостных грез".

"Опиум для народа":

– А. после смерти жены. Разговоры на "религиозные темы". Но "интересует" его в религии только смерть. Если про Бога – ему скучно, это его не интересует. И вот от священника требуется, чтобы он немедленно "давал ответы" и "утешал". В церкви – свечка на "заупокойный" столик, записка с именем жены. Что это – я чего-то так и не смогу никогда почувствовать в этой "религии" или же и впрямь все это не имеет никакого отношения к христианству...

– В гостинной у Трубецких слышу разговор старушки Т.Л. с Мариной Апраксиной. Обсуждают какую-то "очень интересную книгу о загробном мире и покойниках". Старушка с возмущением: "Это совсем не православная книга. Он (автор) пишет, что покойники с нами всегда, а ведь Церковь учит, что только сорок дней..." Сажу и думаю о том, что все это вообще значит и каков смысл в подобных разговорах...

– Летом в Labelle всегда острее чувствую ужасное несоответствие между "собой" и тем, чего от меня ждут, хотя, требуют как от священника. В общем – чтобы все было, как привыкли. Тоска от всего этого.

Воскресенье, 17 августа 1975

Книги, прочитанные за лето: Лионель Груль "Мемуары", том IV; Клод Мориак "Воображаемые пространства" (Неподвижное время), II; Франсуа Миттеран "Солома и зерно"; Роже Гароди "Слова

человека"; Жан-Франсуа Кан "Каждому свой черед"; Симон Лейс "Китайские тени"; Андре Глюксманн "Кухарка и людоед".

Сейчас дочитываю книгу Leys о Китае. Невероятно, уму непостижимо. Главное то, конечно, что из этого "маоизма" – тупого, ужасного – и то ухитрились сделать мечту, надежду, откровение.

Сегодня освящение озера – уже в двадцать четвертый раз!

Ужин с Анюшей в лабельском ресторанчике. Прелесть летнего, душевного вечера в этом Богом забытом городишке. Радость от этого контакта с самой бесхитростной жизнью после стольких сложных рассуждений о ней. Иногда чувство: "... и я прочитал все книги ⁸⁶".

Все эти дни – работа: статья о Хартфорде, которую, запутавшись, отложил на время, "Иерархия ценностей", тезисы о литургическом богословии, письма.

Письмо маме по случаю ее восьмидесятилетия, заставившее вдруг снова остро пережить ее присутствие, ее огромное место и значение в моей жизни. Писал действительно "от души"...

Вторник, 19 августа. Преображение

Преображение. Ясно и холодно. Чудная служба. До Литургии много исповедников. И такое ясное чувство: что все – и грехи, и сомнения наши – от измены внутри себя свету и радости, тому, что составляет всю суть этого удивительного праздника. "Земля вострепета..." Чувствовать этот "трепет" во всем: в словах, в вещах, в природе, в себе – вот и вся христианская жизнь, или, вернее, сама жизнь, христианством дарованная и даруемая.

Как всегда в этот день, так отчетливо "поминались" на проскомидии: митр. Евлогий, о.Киприан, о.С.Булгаков, о.В. Зеньковский, о.М. Осоргин, о.С. Четвериков, все те, кто, так или иначе, дали мне этот "трепет" почувствовать – "о нем же" все "мое" богословие. О радости, "которой никто не отнимет от вас"... (Ин.16:22)

Пятница, 22 августа 1975

Все эти дни – за писанием "Иерархии ценностей". Как всегда, то, что кажется простым в замысле, оказывается бесконечно трудным в исполнении. Мне кажется, что я всегда испытываю то же самое: а именно, что трудность от того, что статья, в сущности, уже *готова* (все готово, остается только написать, как говорил Расин о "Федре"), но "воплотить" ее, разгадать – трудно, почти невозможно.

Суббота, 23 августа 1975

Длинный разговор с Алешей Виноградовым о Солженицыне. Разговор полезный, потому что пришедший как раз тогда, когда я впал в уныние от невозможности "выразить" "иерархию ценностей" и уже готов был бросить ее, как на прошлой неделе бросил Hartford. Теперь буду снова пытаться.

На дорожке в лесу, после обеда ("весь день стоит как бы хрустальный"⁸⁷) – разговор с Л. о... старости и смерти. Я говорю ей, что мне иногда кажется, что я уже получил от жизни все, что хотел от нее получить, узнал то, что хотел узнать, и т.д. Начало старости – и вот думается, что это должно было бы быть временем приготовления к смерти. Но не в смысле сосредоточивания на ней внимания, а, наоборот, в смысле очищения сознанием, мыслью, сердцем, созерцанием – "квинтэссенции" жизни.

⁸⁶ Первая строка стихотворения С.Малларме "Плоть опечалена, и книги надоели..."

⁸⁷ Из стихотворения Ф.Тютчева "Есть в осени первоначальной"

той "тайной радости", из-за которой душе уже "ничего не надо, когда оттуда ринутся лучи."⁸⁸.

Молодость не знает о смерти, а если знает, то это "нервоз", как было у меня в пятнадцать лет. Смерть не имеет ко мне отношения, а если вдруг получает его, то это возмутительно, и в этом возмущении затемняется вся жизнь. Но вот постепенно – уже не извне, а изнутри – приходит это знание. И тут возможны два пути. Один – все время заглушать это знание, "цепляться за жизнь" ("еще могу быть полезным"), жить так – мужественно. Как если бы смерть продолжала не иметь ко мне отношения. И другой, по-моему – единственно верный, единственно подлинно христианский: знание о смерти сделать, вернее, все время претворять в знание о жизни, а знание о жизни – в знание о смерти. Этому двуединому знанию мешают заботы, сосредоточенность жизни на жизни...

Современная "геронтология" целиком сосредоточена на первом пути: сделать так, чтобы старики и старухи чувствовали себя "нужными" и "полезными". Но это одновременно и обман (на деле они не нужны), и самообман – ибо они знают, что не нужны. В другом плане, однако, они действительно нужны, только не для тех же "забот", в которых раздробляется и уходит вся жизнь. Нужна их свобода, нужна красота старости, нужен этот отсвет "лучей оттуда", в них совершающееся умирание душевного тела и восстания духовного...

Поэтому аскезу старости, это собирание жизни нестареющей нужно начинать рано. И мне все кажется, что мой срок настал. Но сразу же встает столько "забот" и "проблем"...

Прибавлю еще: потому, что молодость не знает о смерти, не знает она и жизни. Это знание тоже приходит "видевше свет вечерний...". И был вечер, и было утро – день первый (Быт. 1:5)... Молодость "живет", но не благодарит. А только тот, кто благодарит, знает жизнь.

"Это сладостное царство земли..."

Воскресенье, 24 августа 1975

Сегодняшний апостол (1 Кор.3:10-15):

"Каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы – каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня..."

Это прямо об "иерархии ценностей".

⁸⁸ Из стихотворения А.Блока "Все на земле умрет – и мать, и младость..."

Тетрадь III (август 1975 – май 1976)

Labelle, 27 августа 1975

Увлекательная книжечка Морис Клавель "Кто отчужден?", которую два года тому назад я начал и не кончил и которую теперь прочел с огромным интересом (потому что в связи с размышлениями этого лета о "правом" и "левом" и со статьей об "иерархии ценностей").

28 августа 1975 , Успение

Вчера с Л. [в соседней деревушке] La Minerve, на кладбище. Тишина, солнце, вечность...

Успенская всенощная, вся удивительная, ни с чем не сравнимая радость именно этого праздника, смысл которого, конечно, в том, что он светится "зарей таинственного дня".

Сегодня служили втроем – с о.И.Мейендорфом и о.Леонидом Кишковским. После обедни "заседание" вчетвером (с Томом) у Мейендорфов. Впервые за лето, в Labelle, погружение в "церковные дела". Чувствовал почти физически, как от этого "убывает праздник".

Разговор вчера за ужином у Лопухиных о старости (Зишка служит в доме для престарелых на Reed Farm). Ужас этих домов, куда сгоняют стариков и где они в полной власти социальных работников с их теориями.

Последние дни Labelle – и уже "отрешенность" от него. Уже он переживается, как прошлое. Ясность и красота этих – здесь уже первых осенних – дней, ярко-красных кленов. Очевидная для меня "одушевленность" природы, только совсем не "пантеистическая", а вся целиком состоящая в откровении именно Лица, Личности. И это так потому как раз, что природы нет "самой по себе". Она "становится" каждый раз, когда из-за нее, в ней, благодаря ей происходит встреча личности с Лицом, совершается "эпифания".

Crestwood. Среда, 3 сентября 1975

Вчера весь день под проливным дождем за рулем – вдвоем с И.М.. Возвращение из Labelle домой. И сразу же – шумный, энергичный визит Давида [Дриллока]. Лава проблем, дел, забот – лава, словно уже захлестывающая сознание и жизнь.

Сейчас утро: 8.30. Только что кончил скрипт для радио "Свобода". Впереди семинария, а потом – заседание церковной администрации. Слава Богу, солнечно и прохладно. Тут, в отличие от Labelle, все еще зелено, все по-летнему.

В последние дни в Labelle прочел любопытный роман Мишеля Турнье "Пятница, или Преддверия Тихого океана"; попытка написать Робинзона Крузо в "перспективе" нашего времени и наших "проблем".

Также четвертый выпуск "Континента": в нем сто пятьдесятстраниц Виктора Некрасова, которого я никогда не читал, – "литература", то есть то, что – говоря парадоксально – с такой силой отсутствует у Солженицына.

9 часов. "Крепчает ветер! Значит – жить сначала!".

Четверг, 4 сентября 1975

Семинария. Syosset. Все утро вчера в суматохе, всегда предшествующей началу учебного года, привычной и даже радостной.

Пятница, 5 сентября 1975

Вчера в "Свободе" В.Р. слушает мой "скрипт", потом говорит: "Прекрасно, о.А., прекрасно, но почему Вы говорите о "библейских", а не просто "христианских" истоках учения о личности?.." Наши "бытовики" и защитники "истинного Православия" не подозревают о подспудном сопротивлении в нашей Церкви – Ветхому Завету...

Воскресенье, 7 сентября 1975

Два дня в Hartford'e, на втором собрании "хартфордской группы". Сегодня утром месса, которую служит о.Avery Dulles и на которой все (восемнадцать) участников, кроме одного меня, – причащаются, хотя большинство из них – "консервативные" христиане других исповеданий. Но если так, в чем же тогда разделение Церкви и какого единства еще искать? Вообще, несмотря на дружественную атмосферу, сильно чувствовал свое внутреннее "православное" отчуждение от всех этих дебатов, от самого их духа. Православие очень часто в плену у зла и греха. Христианский Запад действительно в плену у ересей – из коих ни одна в конечном счете не проходит безнаказанно.

За чтением сильной и увлекательной книги Мориса Клавеля "То, во что я верю".

Среда, 10 сентября 1975

Начало учебного года. Суматоха. Новые студенты (до сорока!), заседания и – сегодня – первые лекции. И хотя я начинаю тридцатый год преподавания (или даже тридцать первый – с осени 1945 года!), знакомое и радостное чувство подъема, надежды, что из всего этого выйдет что-то хорошее, веяния духовного "присутствия".

Работа (довольно мучительная из-за срочности) над "хартфордской" статьей. Беседы для "Свободы" ... уже ни минуты времени, но пока что без уныния и отчаяния от этого пленения "делами".

Четверг, 11 сентября 1975

Вчера вечером у Ани в Wappingers Falls – [ее] именины. Маленькая Александра, ощущение ее теплого тельца на коленях...

Через два дня – пятьдесят четыре года!

Пятница, 12 сентября 1975

Пасмурно, сыро, дождь. Опять осень. Льяна начала работать – и, слава Богу, с успехом – в ее новой должности (dean of the faculty). Опять будильник в 6.30; утренняя – в уже полутемном храме. Я всегда любил "порядок" и "ритм", через которые только и можно воспринять "дары, которых мы не ценим за неприглядность их одежд"⁸⁹, то есть в сущности – саму жизнь. "Освобождение от..." совершается только через "приятие"...

⁸⁹ Из стихотворения И.Ф.Анненского "Что счастье?": "В благах, которых мы не ценим / За неприглядность их одежд?"

Воскресенье, 14 сентября 1975

Вчера – день рождения: пятьдесят четыре года. Разговор по телефону с Андреем. В Париже опять трагедия: гибель в автомобильной катастрофе старшего мальчика Рунге.

Вечером – торжественная, радостная всеношная: Воздвижение Креста. Сегодня – такая же Литургия с огромным числом причастников. Масса исповедников. Проповедовал о Кресте. После обедни у нас – Трубецкие, Алексей Шидловский, Алеша Виноградов, Сережа и Маня с детьми. Изумительный прохладно-солнечный день...

Письмо от Никиты [Струве] с "церковной" статьей С. олженицына – которая, по словам Никиты, "вся рядом, нецерковная и в итоге – бессмысленная...". Много думал об этом и о том, как на это реагировать.

Вторник, 16 сентября 1975

Из-за отъезда в пятницу – в Париж и затем в Финляндию – ужасно суматошные дни в семинарии и дома, где только сегодня, встав в пять часов утра, закончил, наконец, несчастную статью о Хартфорде.

Запомнить: в воскресенье вечером с Сережей и Маней на Mulberry Street на празднике св. Января. Лучше чем в Италии! Какой удивительный город Нью-Йорк!

Визит вчера некоего Харитонов – диссидента из России, желающего поступить к нам в семинарию. Очень светлое впечатление. На мое сомнение – не учиться ли ему лучше в Париже, где преподавание хотя бы отчасти по-русски, его ответ: "Да нет, у нас там молва-то о Вашей академии..." Но вот, все впопыхах, ни на что не хватает времени.

Пятница, 19 сентября 1975

За несколько минут до отъезда на аэродром – в Париж и в Финляндию. Весь день впопыхах – лекции, трехчасовой совет профессоров, последние письма, напоминания...

Вчера Алеша Виноградов показал письмо от Солженицына: упреки, что "в телефонном разговоре упомянул Вермонт! – Теперь КГБ все знает и будет там до нас... Надо годами учиться конспирации...". Господи Боже мой! Что это – ребячество или психоз? В обоих случаях за него страшно... Как будто, если он переедет в Вермонт, КГБ не узнает этого, как и мы, грешные, просто из газет!

Новые студенты, новые лица. Всегда тот же вопрос, та же надежда: сколько из них окажутся "настоящими"?

И опять, в который раз, тот же опыт: читаешь лекции самому себе, прежде всего учишь себя – и потому только они и могут быть чем-то...

Париж. Суббота, 20 сентября 1975

Ночной полет через океан, на полупустом аэроплане Finnair. Пересадка в Амстердаме. В десять утра в Париже. Солнце, совсем тепло. Завтрак с мамой, Андреем и всей его семьей. В пять часов дня – чудным, совсем летним вечером – [племянница] Елена подбрасывает меня на St. Germain des Pres – мой вечный парижский "исходный пункт". Тихая двухчасовая прогулка по любимейшим во всем мире местам – Rue de Seine, Pont Royale, Tuileries... Деревья чуть-чуть тронуты ржавчиной осени.

Удивительное освещение, словно все блаженствует в этом теплом свете. Удивительное, высокое парижское небо. Совершенное счастье.

Потом захожу за Андреем и вместе едем ко всеобщей. Вечером ужинаем вдвоем в "Le Colisee" на Елисейских полях – дружно, близко.

Воскресенье, 21 сентября 1975

Литургия на Olivier de Serres. Кофе на углу в cafe с Никитой Струве, но серьезные разговоры – о "письме в редакцию" Солженицына – откладываем на завтра...

Днем на подворье свадьба двух братьев Ребиндеров на Соне Лопухиной и Наташе Розеншильд. Первое "свиданье" с подворьем. Все разворочено. растёт трехэтажное здание. Но если встать к этому спиной – все тот же дряхлый профессорский домик: окно о.Киприана, окно о.Сергия Булгакова. Чувство совсем такое, как в "Соррентинских фотографиях" Ходасевича: все просвечивает прошлым, для меня – сквозь толпу молодых – реальны наполняющие это место дорогие тени... Одиннадцать лет жизни!

Вечером втроем: мама, Андрей и я – по [нашей улице] Lecourte. И каждый раз мысль: не в последний ли раз?

Понедельник, 22 сентября 1975

Рано утром – в восемь часов утра – прогулка с Андреем и [его дочерью] Наташей по Булонскому лесу. Чудное солнечное утро. И снова тот же свет, в котором я блаженствую весь день. Андрей довозит нас до rue Jacob. Наташа идет на службу. А я начинаю опять свое "приобщение" Парижу, ставшее для меня настоящей потребностью, – погружение в это медленное движение по городу, который каждый раз мне что-то открывает – не внешне, нет, а именно внутренне. Словно встреча с самим собой на глубине.

По rue Bonaparte до Сены и направо по набережной. Все больше и больше разгорается солнечный день. Уже "ритуально", не думая, захожу в Notre Dame . Торжественная месса – с органом – какого-то немецкого паломничества. Оттуда – на ile St. Louis и по Quai de Bourbon до Pont Marie, Quai Henri Quatre – до Gare de Lyon, где в 10ч. у меня свидание с Mother Mary из Bussy... В одиннадцать часов, кончив разговор с ней, опять пешком к Сорбонне, где у меня завтрак с Никитой и Машей Струве.

Никита дает мне письмо Солженицына. Гораздо хуже, чем я думал. Долго обсуждаем с Никитой – как быть? Решаем так: он будет ждать ответа на свое письмо, в котором он умоляет Исаича взять письмо обратно. Если не возьмет – писать ответ "начистоту" в том же номере.

Гельсингфорс. Вторник, 23 сентября 1975

Весь день путешествую... Выехал в 7:30 утра, после кофепития с Андреем. Бесконечное ожидание на Bourget. Затем – полет в Амстердам и там – новое ожидание, полета в Гельсингфорс, с получасовой остановкой в Гамбурге. Но я в сущности люблю эти "пустые" аэропланые дни, это совершенное одиночество в толпе.

Весь день солнце, но в Гельсингфорс спускаемся через тучи и на земле – пасмурно, ветрено, темно. Меня встречают оо. Veikko Purmonen (учившийся у нас в семинарии) и Мстислав Могилянский. "Закуска" у Purmonen'a, с обеими женами. Но я так устал, что, несмотря на чувство дружбы, простоты,

чувство "дома", мечтаю остаться один. Везут меня в гостиницу университета. И, наконец, один... Завтра начало очень загруженной финской недели.

Странное чувство: я сижу на расстоянии получасового полета от места, где я родился: от Ревеля, могилы [сестры] Елены. И так близко от России...

С годами – все труднее, все мучительнее каждая разлука с Льяной.

Еще забыл: посещение вчера St. Etienne de Monts: могилы (вернее, места могил) Паскаля и Расина.

Среда, 24 сентября 1975

Утром – короткая прогулка в одиночку по ближайшим кварталам. Но это новые кварталы – все чисто, все обычного скандинавского типа. Чудная погода, солнечно, но не жарко.

В 10.30 заезжает за мной о.Вейкко Пурмонен, и мы едем в приходской дом. Первая встреча со старым Гельсингфорсом. Желто-белые с колоннами здания, петербургский ампир, памятник Александру II-му. Огромный безвкусный Успенский собор "имперского" стиля, Троицкая церковь (1850-х годов) – все снова кругом того же ампирического стиля. Как будто прикосновение к невиданному мною, "папиному" Петербургу.

Завтрак в ресторане с настоятелем прихода о.Александром Корелиным и о.Вейкко. Их рассказ о своей церкви, о религиозном положении здесь.

Русские кладбища. В три часа дня чай и лекция в лютеранском миссионерском центре. Встреча с переводчицей на финский язык моего "For the Life of the World".

В газете "Herald Tribune", купленной на вокзале, – новое покушение на президента Форда!

Сейчас еду в университет – на лекцию.

Завтра – отъезд в Куорю.

10.30 вечера. После лекции в университете и ужина в необычайно роскошном ресторане с канцлером и тремя профессорами. Некая европейская торжественность, но и море добродушия и благожелательства. Сердечно приглашают сюда на год или на полгода – "приглашенным лектором"/

Всегда после такого вечера спрашиваю себя: что есть в Европе, чего определенно нет в Америке, что есть в Америке, чего определенно нет в Европе? Или, по-другому, более лично и экзистенциально: что из Америки меня тянет в Европу, а из Европы – в Америку? Я чувствую, что обычный, ходячий ответ: Европа – это культура, корни, традиции, а Америка – это свобода, но и некультурность, и беспочвенность, и т.д., – неполный, односторонний, упрощенный, а потому, в сущности, и неверный. Я бы сказал – неуверенно! – так: в Америке есть все, что есть в Европе, а в Европе нет почти ничего из того, что есть Америка. И тянет, собственно, не столько в Европу, сколько из Америки, потому что в Европе духовно легче, есть всегда к чему прислониться почти физически, а Америка духовно трудна. Люди веками бегут в Америку для более легкой жизни, не зная, что жизнь там – на глубине – гораздо более трудная. Во-первых, потому, что Америка – это страна великого одиночества. Каждый – наедине со своей судьбой, под огромным небом, среди необъятной страны. Любая "культура", "традиция", "корни" кажутся маленькими, и люди, исторически держась за них, где-то на глубине сознания, подспудно знают их иллюзорность. Во-вторых, потому, что это одиночество

требует от каждого экзистенциального ответа на вопрос "быть или не быть", и это значит – усилия. Отсюда столько личных крушений. Здесь даже падающий падает на какую-то почву, там – летит в бездну. И потому – такой страх, такой ужас...

Но именно это – встреча с личной судьбой – и тянет в Америку. Вкусив этого, уже кажется невозможным быть только "финном" или даже только "французом", быть, иными словами, раз и навсегда детерминированным. Уже совершилось болезненное освобождение от этого. Но и "освободившегося" рано или поздно тянет в иллюзорную устойчивость Европы, в сон и мечтание. И тянет тем более, что сон приходит к концу, что почва распадается, что Европа превращается постепенно в карикатуру Америки (острое чувство этого на аэродромах: Charles de Gaulle, Hamburg, Amsterdam...), никогда не смогушую стать "оригиналом", а тем самым – и карикатурой на саму себя с отречением от своего собственного "оригинала". Ходя по Парижу, чувствую, что Notre Dame, перспектива rue de Seine, place de Vosges, то есть все то, что я так болезненно люблю, – иллюзорно, ненужно, не имеет никакого отношения к Франции Жискара, Миттерана и "Le Monde", то есть к реальной Франции. Она *хочет* стать Америкой, но так же, как Америка не может стать Францией, так и Европа не может стать Америкой (кроме как карикатурой)... Только вот Америка и не хочет стать Европой, и потому она подлинна, а Европа с каждым днем теряет свою подлинность. И потому, что Америка подлинна, – она есть постепенное рождение традиции. А потому, что Европа отреклась от своей "подлинности", в ней распадается традиция... "Аще не умрет, не оживет" (1Кор.15:36). Европа "родила" Америку из своей мечты и в ней умирает как Европа, тогда как Америка из этого умирания и родилась, и развивается...

Киорио. Четверг, 25 сентября 1975

В университетской "guesthouse", где я прожил эти полтора дня в ожидании отъезда в Куопио. Все эти разговоры о Православии и Западе, о Православии на Западе, разговоры, раздумья, в которых я буквально прожил всю жизнь, неизменно приводят к вопросу, обращенному уже к самому себе: что же за всеми словами, за "незабудками, здесь помещенными для шутки", что остается за вычетом всего того, огромного, что так очевидно мешает Православию и его искажает? Что несомненно, вечно и составляет сущность того, о чем, в сущности, я говорю, что проповедую и что защищаю всю жизнь? Иными словами, что не относительно, а *абсолютно*? И всегда тот же вывод: во-первых, некое *видение, опыт* Бога, мира и человека – о которых лучшее в православном богословии, но с которыми оно не совпадает просто ("Отцы" об этом, но сами "Отцы" превращаются в объект какого-то мелкого, интеллектуального и скучного культа). Богослужение об этом, но опять-таки если оно само не есть предмет нездорового любопытства. Духовная традиция об этом, но только если не частью, заменяющей целое, рецептом для безнадежных искателей "духовности". И, во-вторых, *Таинство* – в самом глубоком и всеобъемлющем смысле этого слова, ключ и критерий которого в Евхаристии. Все остальное не только относительно, но и по самой своей природе – преходяще. Но любят православные и потому абсолютизируют почти только "преходящее". Отсюда – все растущая православная "шизофрения"... И только *пророчество* и неизбежно связанное с ним "мученичество" (отвержение, одиночество, осуждение) могут, должны эту шизофрению исцелить. А этого никому (мне, во всяком случае) ужасно не хочется. А надо сказать в сущности приблизительно так: православный "традиционализм" обратно пропорционален сегодня верности Преданию, и это без всякого парадокса и преувеличения. Православие запуталось в прошлом, обожествленном как предание, оно буквально задыхается под его грузом. А так как подлинное, живое и животворящее Предание приходит к нам из прошлого, через него, в нем действительно заключено и потому что "жаждущие и алчущие" находят все время куски хлеба, подлинной пищи в нем, то и задача бесконечно усложняется. И решить ее можно, по-моему, только при полной укорененности в *настоящем*, тогда как первый соблазн православного – бежать из него, идти *обратно*. Именно тогда, однако, прошлое, переставая быть

Преданием – передачей в настоящее, делается мертвым грузом и умиранием... "Всякий, положивший руку на плуг и озирающийся назад..." – эти слова можно отнести к эмпирическому православию: все оно – либо ностальгическое и романтическое, либо паническое и истерическое "озирание назад". Все православные какие-то "эмигранты" в современности, какое-то "харьковское землячество", суется в случайной парижской или нью-йоркской зале. Развесили портреты, расставили флаги – ну совсем "уголок России". Так и все православие в современном мире какой-то "уголок"... А вот с кафедры лютеранского университета утверждаешь – искренне! – что без православного видения не исцелить миру своих страшных ран и не выйти из тупика...

Одиннадцать часов вечера, в резиденции архиепископа Павла в Куопио. Весь день – то есть пять с половиной часов – вчетвером в машине. Оо. Пурмонен, Могилянский и Кирилл Гундяев, утром приехавший из Ленинграда. Осенний, ясный, но с облаками день. Сосны, березы, озера, пустынно – необыкновенно похоже на наши [холмы] Laurentides в Квебеке.

Центр Финской Церкви: архиепископия, правление, семинария – ультрамодерная постройка. Все блещет чистотой, все вылизано. Архиепископ Павел, которого я уже знаю по Аляске, – то же светлое впечатление. Ужин с ним и о.К.Гундяевым. Потом всенощная под Иоанна Богослова в семинарской церкви. Классическая "русская" всенощная, только по-фински. Но этот язык, в котором гласные доминируют над согласными, – красив и удивительно хорошо подходит к нашим мелодиям. После всенощной – прием и чаепитие в семинарии, ректор которой "наш" Матти Сидоров, переводчик моих книг... Все очень дружно и трогательно: студент играет на флейте, другой поет. Все красавцы-блондины...

Под конец прогулка по мокрой, пустой улице с о.Кириллом. Разговор о Церкви в России, о диссидентах. Гундяев – "никодимит" (ему двадцать девять лет, и он уже архимандрит и ректор Академии!), то есть умница и "clever". Но то, что он говорит и как, кажется мне и искренним, и правильным.

Пятница, 26 сентября 1975

Утром архиерейская Литургия, чинная, строгая, вся несущая на себе отпечаток архиеп. Павла. Все "тайные молитвы" читает вслух, во всем смысл, продуманность. Чудная служба.

Потом весь день лекции, так что совсем выдохся. За окнами дождь и туман. Атмосфера – очень дружная, не замечаю никаких подводных течений. Духовенство – почти сплошь молодое и чем-то похожее на наше, в его положительном выражении. Нет "игры в православность", надрыва. Они у себя дома, на своей почве, им не нужно себе и друг другу все время что-то доказывать, как в эмиграции и ее беспочвенной тоске по почве. Насколько мне это ближе всякого показного "духопосничества"...

Вечером, после ужина, часовой визит к лютеранскому епископу. Все очень "цирлих-манирлих". Лютеранство тут – массивное присутствие...

Потом финская баня с Владыкой и о.Кириллом. Когда мы втроем сидели голые и парились, я подумал: вот бы снять эту фотографию и послать кому-нибудь. То-то был бы фурор... Удивительно, как такой человек, как арх. Павел, который весь светел, весь светится миром и святостью, продолжает так же светиться и голым. То, что грубо, смешно, неприлично в "плотном человеке", в "духовном" – преображено! Я был потрясен этим настоящим для себя откровением...

Конец вечера у милейшего о. Матти. Легко и радостно.

Суббота, 27 сентября 1975

А все-таки пресловутая "финляндизация" чувствуется. При слове "Солженицын" наступает мгновенное молчание и переводят разговор. Гундяева явно пригласили для того, чтобы "уравновесить" меня, и это не то что подчеркивается, но очевидно для каждого – "правила игры"... Сам архиепископ очень твердо держит эту линию. Финская Церковь, как и сама Финляндия, мужественно отстояла свою свободу, но и платит за это постоянным "самоограничением".

11.30 вечера. Не знаю, как выдержал! Целый день лекций и дискуссий, разговоров, напряжения. Вечерня в соборе. Чай в приходе – с... моей речью. И, наконец, вечер с православной молодежью в каком-то ресторанном подземелье...

Вечерню служит архиепископ с четырнадцатью священниками в дореволюционных, парчевых, с Валаама вывезенных облачениях! Храм маленький, построенный в начале века для какого-то русского полка, здесь почему-то стоявшего. Русская Империя, русское владычество, о котором стараются делать вид, что его вообще не было! Тщета всех этих потуг.

Вечером молодежь поет карельские песни. Они уже все родились на "чужбине", после исхода 1940г., – но рана жива и кровоточит... Безумие нашего мира и несмыаемый позор для России.

Мне поднесли за чаем – подарок (карельскую скатерть) и наговорили массу милых слов...

Речь сегодня о.Типани Репо – полуюродивого, двенадцать детей, но с таким удивительным лицом; видно, как он изранен окружающей его духовной грубостью. Явный неудачник. Он говорит, все смеются. А это – единственное живое слово! И талантливое, и тонкое. Как несколько нот Моцарта под шум барабанов. И сразу чувствуешь всю красоту, подлинность – единственную подлинность – такой неудачи.

Завтра: архиерейская служба в соборе, банкет и еще какой-то "экуменический" вечер. Мне нравится Финляндия, мне хорошо в Финской Церкви, но вот уже тянет неудержимо домой...

Воскресенье, 28 сентября 1975

Литургия в Соборе – и опять то же впечатление большой литургической культуры и подлинности, исходящих, очевидно, от арх. Павла. Пение прекрасное – выдержанное, цельное от начала до конца, без "номеров". Без всякого преувеличения: лучшая архиерейская служба, на которой мне довелось быть. В какой-то момент службы – блаженный прорыв вечности: наслаждения "странствием владычным". Белый владыко, возносящий молитву, десять иереев, а за алтарем – золотые, осенние березы. Остановка времени, прикосновение к высшему, вечному, над чем время безвластно.

Потом чай у настоятеля, потом бесконечный, трехчасовой банкет (пятидесятилетие союза священников). Речь архиепископа Павла – о моих лекциях: христоцентричны, пастырски практичны и эсхатологичны. Compliment от него мне особенно радостен.

Совсем осень: низкие тучи, летящие листья, воскресная пустота улиц и площадей. Близкий моему сердцу север.

Понедельник, 29 сентября 1975

Совсем особенный день. В 7 утра выезжаем с вл. Павлом на Новый Валаам. Погода, бывшая

все эти дни дождливой и серой, проясняется: холодное, солнечное утро, пустынная дорога, золото осенних берез и изумительные, высокие сосны. Через полтора часа въезжаем в монастырские ворота, и вот – словно возврат на сто лет назад! Древние, древние монахи. Игумен о.Симфориан(!) – копия преп. Серафима на известной картине, где он изображен маленьким, сгорбленным стариком с посохом. Валаамский монах с 1906г.! Его рассказ о своей судьбе, его тон, выражения, весь его облик абсолютно непередаваемы. Это явление из другого, безвозвратно ушедшего мира. Молебен перед Коневской иконой Божией Матери. Трапеза с монахами. Осмотр монастыря. Все это вызывает целую бурю мыслей, которых сейчас записывать не буду, ибо в них нужно разобраться.

Потом, все тем же золотым днем, мимо сосен, берез и озер, едем в женскую обитель, а оттуда – в "келлию" вл. Павла, на острове среди озера... Какой удивительный человек!

В 4.30 снова уже в Куопио. Осмотр – быстрый – города с о.Матти. Русские казармы, русская уездная площадь (ампирные одноэтажные дома, "присутственные"...) – вперемежку с американскими универмагами.

Осмотр с Владыкой церковного музея, совершенно невероятных сокровищ, вывезенных со старого Валаама, от которых пестрит в глазах. Какое же это было *чудовищное* (во всех смыслах!) богатство...

Опять сауна, опять мы втроем голышом – и все тот же свет льется из этого хрупкого, прозрачного, светозарного человека, память о котором останется в сердце такой чистой радостью, таким праздничным подарком!

Но ко всему этому нужно будет вернуться. А сейчас нужно укладываться: завтра отлет в Гельсингфорс, послезавтра – домой... Думая об этих днях, особенно же о вл. Павле, хочется закончить эту запись стереотипной формулой: "Слава Богу за все..."

Crestwood. Четверг, 2 октября 1975

Дома, перед уходом в семинарию. Летел вчера весь день и порядком устал.

Во вторник рано утром вл. Павел отвез нас – о.К.Гундяева и меня – на аэродром, и уже в 8.30 мы были в Гельсингфорсе. Чудный солнечный день. Утром же заехал в славянский отдел библиотеки университета, где, как и в музее в Куопио, глаза разбегаются от хранящихся в ней богатств. Потом с о.Мстиславом [Могилянским] по городу... В двенадцать часов на молебне (Вере, Надежде, Любви) – в русском приходике, сверхтипично эмигрантском. Завтрак у настоятеля с кучей стареющих русских дам. Затем прогулка, опять с о.Мстиславом, по взморью, по площадям этого маленького Петербурга. В пять часов у В.А.Зайцева – одного из последних в мире "кадровых" семеновцев – по просьбе [брата] Андрея. В шесть часов – всенощная в Успенском соборе, поразившая меня своим имперским великолепием: хором, облачениями и т.д. Но после *подлинности* служб в Куопио все это кажется уже искусственно сохраняемым, музейным, неоправданным. После всенощной – прием у митр. Иоанна, ужин у Могилянских, и все это приводит меня в состояние уже крайней усталости...

И вот опять дома, и финский опыт уже претворяется в прошлое и требует осмысления, включения в целостное восприятие судьбы Православия. Сейчас, однако, нужно погружаться в свои обязанности. Чувствую всегда неслучайность всех этих, на поверхности раздробленных, опытов: эмиграция, Америка, Греция, Солженицын, теперь – Финляндия, неслучайность в том смысле, что все это так или иначе ставит вопрос о "синтезе", о преодолении страшной фрагментарности, раздробленности Православия в пространстве и времени, в уходе его во множество ручейков, в

исчезновении общего потока. Чего стоит одно посещение Валаама, это погружение в другой мир! И эта всенощная в Успенском соборе, и т.д. "И лишь порой сквозь это тленье...". Трагедия в том, что каждый фрагмент выдает себя за целое, за православное все и отрицает – страстно! – другие. Каждый только своим опытом, своим видением воспринимает Христа, а не наоборот – в Христе осознает свою ограниченность, свою относительность... И свое призвание я вижу в том, чтобы опрокинуть этот подход, все эти фрагменты соединить и тем самым – претворить из тления в жизнь в "опыте" Христа. Надо без устали повторять себе: "Греми лишь именем Христа, мое восторженное слово...". Я *должен* – потому что это Истина, и я *могу* – потому что изнутри и нутром понимаю эти фрагменты и могу себя отождествить буквально с каждым из них.

Пятница, 3 октября 1975

На Валааме, как я уже писал, правит и царствует игумен Симфориан, восемьдесят шесть лет, в монастыре с тринадцатилетнего возраста. Ревностно, почти фанатически и уж во всяком случае героически "хранит предание". Что же это за предание: общий стиль – та мешанина благочестивых, но и безвкусных олеографий, плохих и хороших икон, что присуща русскому православию второй половины XIXв. Семь часов богослужения подряд, начиная в три часа утра с молебна(!). Убежденный "мужицкий стиль". Разговаривая с о.Симфорианом, чувствуешь, что этот стиль для него (как и для десятков тысяч валаамских монахов до него) – органичен, спасителен, что он действительно давал святых. Но столь же очевидно, что продолжать его невозможно, что с исчезновением "последних могикан" он делается искусственным, "реставраторским", какой-то надрывной игрой, – и именно эту трагедию я особенно ясно ощущал на Валааме. Обрыв традиции внешней (революция, иссякновение этого "мужицкого" монашества и т.д.) породил в Православии вот именно этот надрывный, "реставраторский" пафос – им с самого начала была пронизана эмиграция, он – на Валааме, на Афоне, всюду... То, что было органическим стилем, становится стилизацией, духовно бессильной, калечащей людей (самоубийство молодого монаха на Валааме, брак другого...). Тут сейчас главная проблема Православия: его скованность "стилем", неспособность этот стиль пересмотреть. Трагическое отсутствие в Православии самокритики, проверки "преданий старцев" Преданием, в конце концов – любви к Истине. Усиливающееся идолопоклонство.